

Н О В Ы Й

М И Р

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ

И

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ

Ж У Р Н А Л

К Н И Г А

В Т О Р А Я

Ф Е В Р А Л Ь

М О С К В А

1 . 9 . 2 . 7

Главлит № 80231.

Зак. № 1192.

Тираж 2500.

1-я Образцовая типография. Москва, Пятницкая, 71.

СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Стр.</i>
1. Вяч. ШИШКОВ. — Пурга, <i>повесть</i>	5
2. Бор. ПАСТЕРНАК. — Лейтенант Шмидт, <i>поэма</i>	29
3. Ф. ГЛАДКОВ. — Старая секретная, <i>повесть</i> , продолжение	34
4. Ник. ТИХОНОВ. — Из „Туркестанских стихов“	68
5. И. СОКОЛОВ-МИКИТОВ. — Танакино счастье, <i>рассказ</i> . .	69
6. Петр ОРЕШИН. — Три стихотворения	76
7. Я. ШВЕДОВ. — На вечерке, <i>стихотворение</i>	78
8. Н. НИКАНДРОВ. — Знакомые и незнакомые, <i>повесть</i> . .	79
9. Павел ДРУЖИНИН. — Ярмарка, <i>стихотворение</i>	126
10. В. АЛЕКСАНДРОВСКИЙ. — В старь, <i>стихотворение</i> . . .	127
11. Иван ЕВДОКИМОВ. — Борки и Овражки, <i>рассказ</i>	128
12. Сергей АЛЫМОВ. — Порог Китая, <i>стихотворение</i>	140
—	
13. И. ИЛЬИНСКИЙ. — Новый закон о семье и браке	146
14. Карл РАДЕК. — Лариса Рейснер	161
15. Вяч. ПОЛОНСКИЙ. — Критические заметки. О рассказах Сергея Малашкина	171

Т Р И Б У Н А.

16. А. ЛУНАЧАРСКИЙ. — Ревизор Гоголя-Мейерхольда	187
17. А. БЕЗЫМЕНСКИЙ. — На чистоту	196

Д О М А И З А Г Р А Н И Ц Е Й.

18. В. ФРИЧЕ. — Искусство Мамоны	202
19. А. ДЕРМАН. — Замечательная книга	205
20. Фрол СКОБЕЕВ. — Литературный ларек	211
21. Н. КАРЖАНСКИЙ. — Под часами	214
22. Б. КУШНЕР. — Берлин	221

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ.

	<i>Стр.</i>
В. ГОЛЬЦЕВ. — К. Шильдкрет „Скованные годы“	233
Г. ЯКУБОВСКИЙ. — П. Иванов „Сухая гильотина“	234
А. ШАФИР. — П. Низовой „Крыло птицы“	234
А. Р. ПАЛЕЙ. — Л. Гумилевский „Харита“. Его же „Черный яр“	235
Б. АНИБАЛ. — Жид „Фальшивомонетчики“	236
Б. ГОФФЕНШЕФЕР. — Дж. Харгрев „Редактор Харботл“ .	237
С. БАСОВ-ВЕРХОЯНЦЕВ. — Б. Савинков „Воспоминания тер- рориста“	238
Г. РЫКЛИН. — „Центросибирцы“	239

П У Р Г А

П о в е с т ь

В Я Ч . Ш И Ш К О В

Посвящается *Вл. Бахметьеву*

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Белая, мгlistая, в тихом сне лежала тундра. По белой глади едва ползет темная точка. Это человек. Низкое серое небо, белая, бескрайная равнина да человек. Куда идет, что ищет здесь?

Один.

Одинок ли он? Нет, с ним—мечта.

В его глазах торжествующая улыбка. Он выковал в себе радость жить в этой жуткой стране смерти.

Петр Лопатин—зверолов, рыбак, Петр—на все руки. Вот уже месяц он в тундре. Поселок Край, последнее жилое место, далеко остался позади. Покосившаяся на бок деревянная церковка, десятка два хибарок, укутанных сугробами до самых крыш, да его новая просторная изба—и весь поселок. Один, вот этими железными лапами, срубил Петр избу. Когда затаскивал наверх грузные бревна, мужики разевали рты, качали головами:

— Ну, конь!..

Теперь живет в ней кузнец Филипп, его друг по ссылке.

Сильный, бодрый Петр, бывало, говаривал приунывшим товарищам:

— Эх, вы, мелюзга! Ссылка? Ну, что ж, плеваты!.. Человеку—
везде дом. Чего боитесь? Тундры-то?

Но в ответ слышались вздохи, жалобы:

— Вам, товарищ, можно рассуждать. Вы, товарищ, из скалы высечены. Поглядите, какая у вас грудь. А ручищи!..

Перебирая в мыслях все, что осталось позади, Петр подводил итог:

— Мелюзга! Человечки!

* * *

В кармане у Петра компас, за плечами винтовка, сзади—огромный воз: на высоких копыльях нарта с припасами.

— Чудак, Филя!..—вспоминает Петр и улыбается.—Возьми, говорит, лошадь, а то надорвешься... Ха! Чудак человек! Да разве лошади под силу такой путь?

Он до изнеможенья шагает целый день по плотному насту, сам с собой говорит, читает вслух стихи любимых поэтов, а чаще импровизирует и поет, придумывая напевы тут же сложенных арий.

Голос у Петра—сильный бас: если крикнет, в избе—дребезжат стекла, а здесь голос ограничен простором, открыт душе. И вместе с песней ему мерещится желанная картина: вот расстилается под ногами мурава, пахнет сеном, шумит кудрявый дубняк, встали в небе толпы звезд. Иногда он так увлечется, что перестает отделять явь от сказки: то не ветер воет, швыряясь снегом, ворчит-кряхтит его старая няня, он—пятилетний карапуз, звездная же ночь с северным сиянием—голубой полог кровати, сквозь который просачивается дремотный лампадный свет.

А то накатится вдруг тоска: и грызет, и чавкает—некуда податься. Тогда Петр достает флягу и отпивает добрый глоток спирту.

Петр шел теперь прямо на север, к океану. Он хотел встретить там рыбачью артель и все разузнать о промысле.

— Ерунда!.. Обман! Какой я, к черту, рыбак! Для брюха это.. Ерунда!—раздумывал он, глядя под ноги на скрипучий снег. Потом вдруг вскидывал голову, срывал шапку и дико орал, улыбаясь:

— Здорово, богиня приполярных стран... Так потягаемся, говоришь? Ну, ну... Люблю я это!..

На его нарте лежат шкуры настрелянных в пути песцов, лисич. И чем дальше он углубляется на север, тем больше видит зверья, непуганного, доверчивого.

Он, утомленный, кончает свой путь поздно вечером.

Когда ночь тихая—спит в двойном, из оленьих шкур, мешке прямо под открытым небом, но при ветре—лучше поставить легкий из брезента, чум.

По субботам бреется. Садится у костра и, посматривая, как в зеркало, в широкий клинок кинжала, говорит:

— Ишь, оброс! Чисто цыган! И до чего глуп волос: зимой вся растительность умирает, а он прёт, да и никаких! Чудно!

Побреется и вновь в клинок:

— Пригож, ей-богу, пригож! Чисто Еруслан Лазаревич, сказала бы нянька. А росту в тебе—без трех вершков сажень. А лицом упрямым, чист. А глазыньки у ты на выкате, черные, орлиные. А брови у ты—соболиные. А годков-то те...

Он встряхивает плечами:

— Сила! Ух, и сила ж...

Ему иной раз хочется пройтись колесом вокруг костра или побарахтаться с парочкой медведей.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Чем ближе к океану, тем короче день: солнце в розоватом тумане едва выползло из-за горизонта, и над тундрой дремали сушки.

Петр знал, что это—начало длительной полярной ночи. Он чувствовал, что его душа начинает тосковать, постепенно во все тело прокрадывается лень, голову одолевают мрачные мысли. Но он не дает померкнуть духу:

— Посмотрим... Кто кого...

Стояли морозы. Но вот подул с севера ветер, поползли от океана лохмы туч, мороз сломился, хлопьями стал падать снег.

Петр начал готовиться к пурге, страшному бичу тундры. Однако опасения не оправдались: снег к утру кончился, туча проплыла на юг, и пред его глазами, на прояснившемся горизонте, замутнели, как призраки, едва намечавшиеся цепи поседевших гор.

— Вот оно что, день, другой и...—бодрым голосом сказал Петр и пошагал к горам.

Сугробы задерживали путь. Как лось, напрягал он сталь мускулов и лишь на десятые сутки, к вечеру, очутился между скал.

Хорошо развитый слух его уловил странный, непонятный шум, словно где-то вдали плескалось море, шуршали льды.

Ночь протекла в томительной тревоге. Но Петр все-таки сказал себе:

— Я победил пространство.

* * *

День встал серый, как предвечерний час.

Сквозь ущелье Петр вышел на берег. Пред ним лежали безбрежные ледяные поля, засыпанные снегом. Кой-где бурели полыньи, над ними плоским облаком плавали туманы. Местами виднелись ледяные бугры. Небо серое, низкое.

До темна, до крайней усталости Петр шел без отдыха, когда же остановился на ночлег, небо над ним заколыхалось. Петр привык к „сполохам“—как называли здесь северное сиянье. Сгустившаяся тьма стала озаряться трепетным голубоватым светом, как от длительной далекой зарницы. Петр зорко всматривался в кайму берега, который необходимо ему завтра осмотреть, и во что бы то ни стало отыскать людей; запасы пищи требовали пополнения, надо наловить рыбы—обратный путь далек.

А главное...

— Люблю, все-таки, людишек! Ей-богу, люблю... Хоть бы какого обормота отыскать, да парой слов перекинуться... Найду! Не может быть...

Однако двое суток он тщетно искал какой-либо признак чужьей жизни. А сколько было обманных радостных минут. Нашел! Вот чернеет в белом берегу изба, курится дым.

— У, проклятая!..

Это черный обломок скалы торчит из сугроба, снежный вьюнок, вихрясь, шалит, как дым.

Злоба рвалась бомбой, растекалась унынием. Но бодрость брала верх:

— А все-таки найду!

* * *

На третьей сутки утром, когда стало рассветать, Петр сидел, согнувшись, у костра и ворошил в котелке упревшую кашу. Его как будто позвали. Он быстро обернулся. Тихо, никого нет. Он приподнял голову и внимательно водил взглядом по карнизу скалистого берега. Ага! закопченный дымом снег. Да, несомненно, жилье! Бросил ложку, побежал. Хорошо проторенная тропинка—звериный след. С камня на камень она вползала вверх, к жилью, и на ровной площадке заворачивала за серый выступ скалы. Очевидно, жилище без людей, заброшенное рыбацье зимовье. Сердце Петра испугалось.

В зимовье, за дверью—отрывистое тьяканье, звериный визг и грызня.

— Песцы!—Петр кинулся к вросшей в берег избе, рванул дверь и ввалился в сенцы. Грызня смолкла. Полумгла сеней за клубилась серым клубком, с'ежилась, припала к полу. Петр кровожадно смотрел в испуганно-хитрые следящие глаза зверей.

— У-у, черрти!..

Приседая на задние лапы, попятились, встопорщились, глаза блеснули желтым.

— Человека жрут!—крикнул Петр, сгреб двух песцов и грохнул об стену.

С урчащим шумом вся свора стегнула вон.

— Так и есть... Человек...—неприятно дрогнул Петр и обнажил голову. На полу, окруженный клочьями изорванной одежды, лежал скелет. Безглазый череп с присохшими волосами откатился прочь, хрящи ребер обглоданы.

В углу—открытый мешок муки, и возле мешка—другой мертвец. Этот лежал на правом боку, скорчившись, с зажатым в белой руке самодельным, из чурки, подсвечником. Человек, очевидно, умер недавно: звери успели обглодать лишь его лицо и вырвать в свалке бок ватного пиджака. Опрокинутое с мукой блюдо. Мучная дорожка от мешка к двери в избу, и кругом рассыпанная мука.

Петр весь нервно встряхнулся и открыл дверь в жилье. Оттуда густо пахнул на него нестерпимый смрад. Петр отшатнулся.

— Кто?.. Смерть ли, добрый ли... чело...век?—колыхнулся хриплый, булькающий шопот.

Ослепленный белым снегом, Петр ничего не мог различить в темной избе. Он чиркнул спичку и приник к заскрипевшей кровати. На ней—двое рядом. Ноги женщины лежали на подушке, возле головы мужчины.

— Не бойтесь... Я вам помогу.

— Ба... тю...ба... ба...

Петр нагнулся, стараясь разглядеть их: страшные, с бурями, вскаленными лицами, глаза закрыты. У Петра кружилась голова. Из правой руки его капала кровь. Он промыл спиртом рану от зубов пещера и стал разжигать печь. Сухие дрова ярко вспыхнули, загудел огонь, воздух начал очищаться.

„Должно быть, цынга“, — подумал Петр, соображая, как подвезти больных на ноги. Он был несведущ в медицине, но знал, что лук и спирт делают чудеса.

„Кровь... еще горячая кровь зверей!“

В натопленной, согретой избе рыбаки крепко спали. Петр ночью напоил их чаем, накормил жидкой кашей; они жадно схватились за очищенные головки лука, но не могли откусить: желтые зубы шатались, из вспухших десен сочилась сукровица. Рыбаки заплакали. Петр накрошил лук мелко. Рыбаки, громко чавкая и урча от наслаждения, жадно ели, из полузакрытых глаз катились от боли слезы.

— Где Андрей с Михайлой?—спросил рыбак.

— Не знаю,—ответил Петр.

— Должно быть, ушли,—равнодушно сказала женщина.

Петр дал им по глотку спирту. Они выпили, повалились на постельник и сразу захрапели.

Было два часа ночи. Петр лежал на полу. Завтра он примется наводить порядок. Он долго не мог заснуть. В нем разгоралась энергия.

— Спасу людишек, спасу!..

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Через три дня умирающие очнулись, но Петр не решался утешать их расспросами. Он ждал, что рыбаки разговоятся сами.

Действительно, когда подал им горячей похлебки, рыбак спросил:

— А ты откуль, кормилец?

Петр сказал. Он с удивлением смотрел на их побуревшие, с печатью тления, лица, на запавшие мертвые глаза, на угловатые, уродливые костяки с припекшейся кожей, и мрачно думал:

„Мертвая тундра... Два обглоданных зверями мертвеца... И двое этих ждут смерти. Занятно, чорт возьми!..“

Петра было охватил малодушный страх, но сознание, что он должен их спасти, что он поборет смерть, зажгло его глаза огнем молодого задора:

— Ничего, братцы! вот немножко, и—на ноги!..

Поддерживаемые Петром, они поочередно глотали пищу, и во всех их движениях было что-то неживое, отталкивающее. Ни слова не сказав, не поблагодарив его, рыбаки повалились на постельник.

Петр пошел набивать котел снегом, чтоб согреть чай, и надолго задержался. На глаза попала нарта. Он заботливо, с некоторой тревогой осмотрел оставшиеся запасы:

— Маловато.

Ему надо заняться промыслом, надо быть сытым, чтоб не захворать. Хорошо бы убить белого медведя и попить горячей крови, говорят—отводит. Ну, да рано еще.

— Чорт, как темно!..—он достал часы, но стрелок рассмотреть не мог. Привычным глазом он отыскал Большую Медведицу — „Сохатого“, и сообразил, что времени около трех дня.

— Да, наступает полярная ночь... Здесь она длинная, говорят, три месяца... Филипп, дружище!..

Он вспомнил своего товарища, вспомнил уютную свою, там, под Туруханском, срубленную из кедрача, крепкую избу. Стены и пол ее покрыты пушистыми шкурами, у потолка—лампа, на полке—книги, ярко топится печь, бородатый Филипп раздувает самовар и бросает отрывистые фразы. И Петру захотелось туда, в родной уют. А тут еще полезли в голову разные думы. Ну, что ж, можно и помечтать...

— Помечтай-ка, брат, помечтай,—насмешливым голосом сказал Петр и, улыбнувшись, вздохнул.

— А ну ты к чорту!—крикнул он и, притворяясь беспечным, пошел между скал, к океану.

* * *

— Эй, ты... Хведор...—толкнула баба своего мужика локтем.— Ты умеешь, толкуй... у меня болит... болит...—Она говорила, растягивая слова, неясно, будто во рту жвачка.

— А?.. Чего?..—очнулся Федор.

— Не слышишь? Спрашивает он. Ох, господи! Дальние мы, бабтюшка, расейские... Хведор, говори!..

— Мы сами дальние...—ответил Федор.

В избе трепыхался свет: вспыхнет, поколышется и вновь темно.

— Пожар, что ли?.. Ишь!.. — прохрипел рыбак и закашлялся, пуча глаза.

— Сполохи, а не пожар,—кто-то поправил его. Тогда он вспомнил, что у студеного моря живут по ночам сполохи, что небо огнем горит. Ему рассказывали об этом в Красноярске, в пути, купец-хозяин, все. Рассказывали работники, Андрей да Михайло... Где они? Ах, вот чего!.. Должно—убежали. То ли убежали, то ли умерли...

Федор хотел перекреститься, но онемевшая рука не слушалась.

— Мы, кормилец, дальние... расейские...

Мрак дрогнул, всколыхнулась печь, подпрыгнуло висевшее на стене решето, окошко замигало голубоватым зорким светом. У печки, на чурбане, сидел он... тот, как его?.. Он сидел на сутунке, согнувшись, шевелил локтями, словно дратвой сапоги тачал.

Рыбак прищурился на странного чужого человека, но вот голубое оконце погасло, и все исчезло, заключилось в тьму.

— А?—спросил рыбак,—да, да... забыл хвямиль-то... Красноярский купец. Он и нанял... Ну, мы, значит, вчетвером: я со старухой, да Андрей с Михайлой, рабочие...

— Какие мы старики... мы не старики,—глухим голосом забулькала, засопела женщина.—Мне сорок два, а хозяину моему сорок...

— Вот, вот, сорок мне... Это болезнь так перевернула. А? громче кричи, я не слышу! Седой, говоришь? Ну, знамо, зацынжали вовся... Цынга заела... Говорят—цынга. Мы сами-то не знаем—впервой здесь. Да ты где, кормилиц? Эй, ты...

Рыбак сделал усилие, приподнялся, упираясь руками о постель, и стал всматриваться в тьму, где маячил он... тот, как его...

Вновь хлынул в избу неверный свет. Человек на сутунке все еще сидит, лицо у него большое, белое, безглазое. Он улыбается, подплясывает, что-то шепчет, указывая рукой на окно.

— Идет?—спросил рыбак.—Кто же идет-то? Не знаю я... А ты чего смеешься-т?.. Ты не смейся, пожалей...

— Мы дальние, кормилец, расейские,—пожалей, мол.!

— Идет...—тихо сказал рыбак, повалился на спину и застонал.

* * *

Вскоре за стеной, действительно, послышались поскрипывающие шаги, кашель. Отворилась дверь, вошел Петр.

В зимовье тихо. Спят, охают, бредят.

Он зажег лучину, затопил печь. Лучина давала мало свету. Он отыскал в чулане большой кусок сала.

„Тюлень, что ли?“

Разогрев его в черепушке, он соорудил светец. На светильник пошла скрученная куделя из его собственных запасов. „Эх, керосинцу бы сюда, да лампочку хоть плеваю...“

— Электричество бы!.. Люстру бы свечей в пятьсот!..—сказал он, горько улыбаясь.—Да музыку бы... симфонический оркестр.

Он уселся возле печки на сидунок и дал волю мечтам.

Ему вспомнилась радостная неделя, проведенная в Петербурге.

Из лесов архангельских он выехал тогда в столицу по делам партии. После лесной бедной деревушки, где был учителем, после малолюдного тихого города шум и грохот столицы поразили его. В первый день он чувствовал себя диким самоедом и ходил, разинув рот, по площадям и оживленным проспектам, а вечером попал в театр. Сцена, музыка, блистающий поток огней окончательно раздавили его, он еле добрался до номера гостиницы и всю ночь мучился бредовым, тяжелым сном.

Дрова в глинобитной низенькой печи весело потрескивают, обдавая Петра теплым светом, у стены скоргочут зубами больные, за окном полыхает сполох.

— Да! Здесь и там... Какая громадная разница!.. — сквозь дрему рассуждает Петр.— Два мира, два полюса. Культура, свет человеческий и эти огненные небесные столбы—свет природы. Что же выше, значительнее? Перед чем человек должен преклониться? Что должен восславить? Себя, свое творенье, или вот эту 'нерукотворную красоту?— Он повернулся к окну и ждал. Небо утихало. Богиня севера прятала свои огнистые покровы в ледяной хрустальный гроб.

— Два чуда... Одно из другого рождается и взаимно дополняет... Какое счастье жить, чувствовать, познавать!.. Что чувствовать? — Он согнулся, подпер руками голову, закрыл глаза.

„О, скалы грозные, бушуя, плещет море...“—коснулось его уха.

— Ах, да, музыка!—мысленно воскликнул Петр, его глаза грустно улынулись.

„Чувствовать... познавать... жить... Да-да!“

Огни чуть мерцают где-то вверху, затихают, гаснут... Занавес вздрагивает, вот-вот взлетит. Льются радостные волны звуков, кончается... как ее... прелюдия? Нет!.. Ну, как же, как? Увертюра? Да, да, да! Увертюра кончена. Занавес взвился. Древний Новгород. Господин Великий вольный Новгород, частокол бревенчатых стен, мачты кораблей, шумная веселая толпа... И среди них—Садко. Вот он, русский баян с гусями, наш, русский, наш Садко! Он собирается в путь, в страны заморские, на оснащенных кораблях. Сказка, седая старина русская, вымысел крылатых душ. А кто-ж это плачет, кто сидит на камне, поет и плачет?.. Жена Садко... Любава, Купава? Как же?... Где ж Садко?.. Зачем плачет Любава? Зачем поет и плачет?.. И это не жена Садко, это Наташа, его, Петра, невеста... Она прижалась к Петру, шепчет:—„Музыка, какая дивная музыка!.. Зачем ты, Петр, плачешь?“ Петр гладит ее волосы:—„Наташа, милая!.. Как хорошо жить на свете!“—„Не плачь,“—говорит Наташа и заглядывает в его глаза бережно и нежно. А гость веденецкий, гость варяжский!..

Мечи булатны, стрелы остры

У варягов...

Кругом вырастают серые гранитные скалы, волны бьют в них, плещут и с воем отскакивают прочь... „Угrrrrюмо мо-о-оре!..“ во весь сильный голос подтягивает Петр. — „Что ты, что ты!“—вскрикивает Наташа:—„Я со стыда сгорию... Слышишь?! Сгорим, сгоришь!“

— Сгоришь! Эй ты, как тебя? Милай!

Петр открыл глаза, боднул головой и, крикнув, осмотрелся. Пахло гарью.

— Сгоришь, мол... Эк, заснул!

Петр сорвал с себя тлевший пиджак и притоптал ногой.

— Задремал,—сказал он смущенно.—Устал маленько, назябся... Уголек скакнул...

Все еще полный грез, он поворошил в печке. По углям переливалось золото, играли янтари и аметисты, и в этом движении Петру чудилась музыка

— Однако завтра встану,—сказал рыбак.—А то—пролежни у меня.. тяжелехонько.

— Что?

— Экой ты человек дорогой!.. и откуда ты взялся, андель божий?—растрогалась женщина. На измученном, все еще безобразном, лице ее показались слезы.

Петр подумал:—„Кажется, можно поговорить.“ Он спросил;

— Откуда ж вы? Как сюда попали?

— Мы ведь тебе сказывали.

— Когда?

— Сказывали, сказывали... Недавно, быдто... Ты на сутунке сидел, обулки тачал дратвой.

— Я только что пришел.

— Сказывали, сказывали!

— Ага! Ну, хорошо,—поспешно согласился Петр.— Я и забыл. Верно...—А сам подумал:—„Галлюцинация, возни с ними будет порядочно“.

Он подошел к ним со светцом и присмотрелся. Вялые, сонные, болезненные лица. У женщины голова тряслась, ввалившиеся щеки подергивались, словно она подмигивала. В их одежде, в волосах кишели паразиты. Шел тяжкий запах, и нельзя было проветрить, уничтожить его, избыть: дух тления жил в них самих.

— У вас гребень есть?—спросил он.—Погодите еще денек, я вам устрою баню.

„Эх ты, чорт, живут же люди!.. Ну, ну!“ — брезгливо и больно шевельнулась мысль, и он вздохнул.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Проснулся ровно в десять. Болела голова, позванивало в ушах.

— Воздуху,—сказал он,—на простор!!

Напоив чаем рыбаков и плотно подкрепившись, он пошел к океану рубить из сушняку дрова. В сенцах лежали мертвецы. Петру сделалось неловко, сумно. Он проворно отворил наружную дверь,—хлынул серый свет. Петр огляделся. Мертвецы лежали, как тогда — труп в одежде и обглоданный костяк.

— Ну-ка, вот сюда ложись, брат, рядышком... Вот так...—сдвинул их друг к другу.

На шесте висела дерюга. Снял, покрыл ею мертвецов.

— Теплей будет... вот так... Ничего, лежите, Андрей да Михайло. Ничего!—Он тужился бодриться, глаза его улыбались, чтоб прогнать робость, но сердце вздрагивало и обливалось холодной жалостью.

Он шагал к океану твердо, с лицом суровым, окаменевшим, думал:

„Вот она жизнь... Молодые; видимо. Жили, радовались. Эх, кабы внять, где кончишь жизнь! И когда ее кончишь...“

— Зачем?—громко спросил себя Петр, и не знал, как ответить.

Небо в рыхлых облаках, меж которых бледно голубела высь, на севере тяжелым свинцом лежали тучи, восток окрашивался розовым.

— Знаю, не обманешь! — остановился Петр и повернул лицо к востоку.—Я тебя, солнце, еще не видал здесь... Вряд ли поднимешься. Обленилось...—Он снял большую с наушниками шапку и отер покрасневшее лицо. От вспотевшей головы струился пар.

— Да, скоро полярная ночь... Ну, что ж, посмотрим!—вызывающе воскликнул он, и пред его глазами встали больные беспомощные рыбаки.

На отмелем берегу бухты, среди наковерканных глыб льда, чернел целый залом прибитых бурей деревьев. Петр сбросил рукавицы, поплевал на ладони и принялся. Щепки с воем летели во все стороны, и по льдине кувыркались желтые поленья. Петр без усталости взмахивал топором с каким-то ожесточенным раздраженьем. Он не знал, откуда пришло, но чувствовал, что оно растет и крепнет в нем.

— Ерунда, вали!—вскрикивал он и, прикрыв, богатырскими взмахами крушил сушняк.

— Стоп!

Он распахнул оленью парку с широкими, как у рясы, рукавами, достал бинокль и начал щупать даль. Бинокль ожог глаза. Мертво, лениво, пусто. Льды, кой-где взбугренные, белой равниной уходили к горизонту и тонули в сизой туманной мгле. Местами чернели полыньи, и над всем простором навис какой-то угнетающий сумрак. Полнейшая тишина. Спит океан, дремлет воздух. Хоть бы тюленей где увидеть, или белого медведя! Даже песцы попрятались, и не видно птиц.

Смерть кругом, безмолвие.

— А я-то, я!.. Живой я или мертвый?..—громко зовет Петр, голос его раскатывается и насмешливо прыгает меж скал.

„Песню, что ли, запеть?“ Но сердцу не хотелось песен. Было два часа. Он закурил трубку и провел по небу взглядом. Там висели лохмы зловещих туч.

„А ведь солнце-то не показалось“.

* * *

— Милостивец наш, как тебя звать-величать? — прокричал рыбак.

— Петром.

— А меня Хвёдором, а ее Марьей, старуху-т мою... Вот, будемте знакомы, коли так. Ох, грехи, грехи!..

Дрова весело горели, хлопотливо лопоча огненными языками и распространяя колеблющийся свет. По ослизлым заплесневевшим стенам скакали тени от торчавшего в углу ухвата, от суетливо сновавшего Петра. Он был в одной рубахе с засученными рукавами и всюду попевал. Принес корыто, стал его оттаивать, а после обеда

принялся за стирку. Грязное белье рыбаков жмыхало под его руками, от мыльной воды вздувались радужные пузыри и летали по избе. Рыбаки во все глаза следили за Петром и за пузырями, как дети.

— А как же тебя, милостивец звать-величать?—вновь прокричал Федор.

— Я ж сказал, что зовут меня Петром.

— Так-так-так...—откликнулась Марья и завозилась.—Петрован, батюшка,—сказала она,—а где мой Мишка, не повстречали ты мово Мишку, племянника мово, родного племянничка, сестры Степаниды сынка? Чуешь? Ушел и ушел.

— Ну, Андрюха-то померши,—подхватил Федор,—он чужой, пёс с ним! Царство ему небесное. Мишка говорил—померши... в сенцах быдто бы. А вот где Мишка-т?

— Ушел и ушел,—простонала Марья и что-то зашептала.

Петр подумал и сказал:

— Михайло тоже помер. Андрей и Михайло умерли.

— Ну?!—воскликнули рыбаки и закрестились.—Царство небесное, привечный покой...

Марья засморкалась, завсхлипывала:

— Петрован, батюшка... покажь ты мне его. Проститься бы напоследочки.. Ради Христа, голубчик!

Петр оторвался от корыта и посмотрел на рыбаков:

— Я их похоронил.

— Врешь!—крикнула Марья.—Врешь! Зачем врешь!.. Он седни приходил... темно было... стучался... Он живой, врешь!.. врешь! Убить его, видно, хочешь?!—Она закрылась с головой шубой и завyla толстым голосом.

— А ты, дура, не реви,—остановил Федор.—Чего ты, полудурок?: Живо-ой, приходи-и-л!.. Знать во снях пригрезилось.

Марья замолчала, успокоилась. Молчал и Федор.

— Чорт знает, что за чушь!—нёрвно проговорил Петр, и с еще большим ожесточением стал стирать и жмыхать.

ГЛАВА ПЯТАЯ

„Придется похоронить. Что ж это я?..“—с такою мыслью проснулся поутру Петр.

Управившись с делами, взял ружье, топор и вышел. Подымалась непогода: в сенцах крутились белые вьюнки, пробивавшиеся в щели.

Петр открыл дверь. Мертвецы лежали смиренно, только дерюга у края пошлепывала от наплывавшего с воли ветра. Сердце Петра забилось короткими толчками. Тень страха проползла перед ним. Он нервно шагнул к мертвецам и откинул дерюгу.

— Ты, что ли, ходишь-то? Который Михайло-то?—твердо сказал он, но сердце не согласилось, заставило голос дрогнуть.

Петр громко кашлянул, по сенцам пошел гул. В стену раздался стук. Петр прислушался. Постучали покрепче. Петр вернулся в избу.

— Ты с кем это разговор ведешь?—лениво шевеля губами, спросила Марья.

Петр смущенно улыбнулся:

— Ни с кем.

— Как так, ни с кем, врешь!—рассердилась Марья.

— Да сам с собой, себя ругал—забыл дверь в сенцы припереть—снегу намело.

— Так-так...—откликнулся Федор.—Куда ж ты собрался, желанный? Ты, слышь, не убегай далеко-то.

* * *

Петр шел быстрыми шагами, чем дальше, тем быстрее, словно боясь погони, но вдруг остановился:

— Ха-ха! Страх! Сегодня же лягу с ними спать!.. Страх!

Смех, ложно прозвучав, растаял. Кругом завихаривали белые вьюны, над головой низко висели тучи, волоча сизой шерстью по земле.

Петр тревожно стал прислушиваться к себе, что-то назревало внутри, укреплялось, пускало корни.

„Вернусь, тяпну спирту“.

Он оглянулся. Вихри, игриво бесясь, застлали зимовье. Он не знал сколько отошел; может, версту, может, пять шагов.

Ноги увязали выше колен, снег скатывался с меховых длинных лунтов, не попадал за голенища. Вскоре он почувствовал усталость, заныли крыльца, задрожали колени.

— Что за чорт!—вырвалось из груди.—Кажется, захварываю. И зачем я залез в сугроб?

По укатанному ветром снегу, вихрь, скользила низом метелица.

— Поземок начался. Пурга будет.

Он вышел к берегу океана. Там, в белой мгле, тоже завихаривал поземок. Седой, косматый, он полз низом по всему необозримому простору, обшаривал снежные суметы, впадины, взлетал на горы льда, вздымался крутящимися вихрями и, подкравшись к Петру, стегал в лицо снежной пылью. Петр взобрался на скалу, черным камнем спускавшуюся к океану, и недвижимо встал на ней, как истукан. Ему любя ожившая природа: смерть кончилась, взметнулся ветер, скоро разразится пурга. О, пурга! Страшный бич всего живого, гибель оплошавшему в тундре человеку. Но здесь, когда под боком пристанище, где можно отсидеться—она только любопытна.

— Го-го-го!..—заорал во всю глотку Петр,—гой, ты! Иди, брат, старуха, иди!—и, как помешанный, замахал руками:

— Да здравствует жизнь, движенье, суматоха!

Ему не раз доводилось отсиживаться в тундре в яме, как ореху в снежной скорлупе, он сам тогда вызывал на бой пургу, мерялся с ней силами и всегда торжествовал победу. А вот теперь...

— Ну, и хорошо же, чорт ты ешь, жить на свете!.. Люблю!— воскликнул Петр, наблюдая пляску вихрей, и сам удивился, что прежде него радостного порыва в сердце не было, и иссяк в голосе металл.

— Да здравствует пурга!..

Ветер шел толчками—то стихнет, то ударит. На горизонте, где океан, копились белые облака, тучи давили землю, и полдневный час казался вечером. Вихри все чаще и чаще вздымались впереди. Словно белые привидения, они таинственно толпились по сумрачному простору, раскачивались, падали плашмя и вновь всплывали, насакивали друг на друга, сшибаясь лбами, как шаловливые козлы. Или, схлестнувшись в кучу, крутым винтом взвивались вверх и, шумно бурвя воздух, бесследно исчезали. А им на смену спешили другие, такие же неумные чудодеев, чтоб снова сцепиться в бесовский хоровод и мчаться и нестись, куда попало.

Петр растерянно стоял, наблюдая их игру.

— Покойники,—вдруг неожиданно для себя уронил он слово. А за словом родился образ, те двое, Андрей да Михайло—мертвецы.

Он почувствовал, как весь дрожит: вихри забросали его снегом, позёмок навил возле ног сугроб, ветер распахнул парку, знобил тело.

„Андрей да Михайло—вихри—покойники...“ бессвязно толкалось в голове.

Он подумал про могилы. Здесь вечная мерзлота, землю ломом не пробить, кремень. Надо в пещеру. Вот сгинет пурга, уляжется ветер, умрет простор, тогда Петр отыщет хорошую пещеру в расселине скалы и замурует их, двух братьев по судьбе, Андрея да Михайлу—мертвецов, снаружи поставит огромный крест, пусть смотрят звезды. И если увидят, что они скажут, что подумают?

„Надпись надо“.

Да, Петр напишет на кресте твердые слова. Он напишет кратко, значительно. Он поведаст о том, как побеждают сильные и гибнут слабые духом.

„А что ж, на самом деле, скажут звезды?“

Чтоб согреться, Петр надбавил шагу и, налегая грудью на ветер, спешил домой. А вот и зимовье. Петр деловито осмотрел его снаружи: плотно прижатое к скале, оно казалось несокрушимым. Закрыв ставни окон, крепко приперев жердями. Нарту вдвинул в щель меж скал. Валявшиеся кадушку с ведром и рыболовные снасти: сеть, подсеток, сак—втацил в сенцы.

Огляделся по сторонам. Ни темнело, ни светлело, все тот же стоял сумрак.

Поземок без усталости мел белой пылью. Влекомый по насту снег шелестел, как песок, ровным шелестом. Вьюнки что-то лопотали и едва внятно повизгивали. Все так же, порывами, толкался в скалы ветер.

Где-то вдали, очевидно, за каменным кряжем, шумел океан, шуршали и потрескивали, ломаясь, льды.

* * *

Разогретый движением, он ощущал во всем теле приятную истому и с удовольствием сел на сутунок к камельку, чтобы выкурить трубку.

— Чего-й-то чижало... должно гроза будет,—грустно сказала Марья.

— Гроза-а-а! тоже ляпнет полудурок! — огрызнулся Федор.— Ну-ка, подвинься, что ли... Чего ты на меня прёшь?.. Ко-оло-да!

Слова рыбака грубые, корявые, но в переливах его голоса наблюдательное ухо Петра уловило оттенок сострадания.

— Холодно мне,—и Марья зябко подскочила на кровати.

— Э, чтоб те пятнало!—крикнул рыбак.

Петр накрыл ее овчинным тулупом и от безделья стал резать из полена человека.

— Мишкин тулуп-от... Его и есть...—заговорила больная тихо, проглатывая слова, как в бреду.—Когда-то некогда пришел он и говорит, быдто... Это Мишка-т, племянничек-то мой. А я, брат, девка, жениться хочу... Ну-к что, баю, женись... Гляжу, птичка взлётыват... всё взлётыват, да взлётыват, так, не великонька, с рукавицу будя. Что же ты, баю, птичка, все взлётывашь?

— Замоло-ола!.. Ох, ты, ох!..—простонал Федор.

И Марья застонала.

Федор плачущим голосом сказал:

— Была силушка, а где она? Нету!—И умолк надолго, должно быть, заснул. Только Марья стонала, жалуясь на поясницу, и все звала Михайлу, злясь, что нейдет, не откликается.

* * *

Острый нож поблескивал в руках Петра, из полена выходила болванка, стала намечаться голова.

„Эх, напрасно сюда пришел“,—вдруг подумалось ему. И тотчас же за работой позабылось, словно кто другой подумал, не он, не Петр Лопатин.

Чрез закрытые ставни дневной свет не проникал, в избе темно, как ночью, только горящий камелек освещал колени Петра, его руки и лицо, когда он наклонялся.

„В сущности, зачем я здесь?“

Петр отложил болванку, пропустил меж колен сомкнутые руки и, согнувшись, уставился на огонь. И точно в клубящемся пламени вычитал, вдруг ясно осознал то, о чем тайно думал. Губы сами собою пролепетали:

— Расхвораюсь... Смерть тогда.

Эти слова гвоздем засели в голове, что-то отлило от сердца. Петр просидел в оцепенении несколько мгновений.

„Нет, этого не может быть! Не позволю!.. Не подчинюсь“.

Откуда-то со стороны выплыл неясный призрак белого медведя, выплыл и остановился, как в тумане. Петр раздраженно отвернулся и стал думать о другом, об архангельских лесах, вспомнил загадочного друга своего, мужика Ваську, вызвал в памяти его вечно улыбавшееся чернобородое лицо. Но странный призрак белого медведя, как ни старался отодвинуть его Петр, забыть о нем, все неотвязней лез в глаза.

„Да, конечно!.. устукать его надо“, — подчинился Петр, и все также, глядя на огонь, увидел перед собою далекий снежный ландшафт, льды, полынью со свинцовой водой и над ней — медведь. „Да, хорошо убить его и попить горячей крови“...

„Крови? Почему?“

„От дѣнги помогает, возвращает жизнь. Ну, что ж, это ничего, это хорошо, хорошо, хорошо, да, да... хорошо, Петр быстро подымет на ноги Федора и Марью“.

„И себя“...

„Себя? Почему себя?“

По лицу Петра скользнула хмурая тень. Он весь встряхнулся и раздраженно кашлянул.

„Нет, стой!.. не то, не то!“

Он вторично напряг волю и круто повернул мысль на веселое, желая подбодрить упавший дух. Размашисто шагнул памятью все в те же архангельские дебри, в родное свое село, мысленно рванул ручку двери и очутился среди гульливой пирушки друзей: пропивали товарища, женили на красе-девице. Песни, хохот, пляс. „Вали, Алеха, веселей!“ Петр крутится в присядку. Алеха во всю растягивает горластую гармонь.

— Хорошо!.. эх, чорт!.. — пробормотал Петр, и вдруг ощутил во рту вязущий, приторный вкус крови. Он почмокал губами: — „Кровь...“, и сплюнул на пол. Отвел от огня утомленные глаза и уставился в темный угол над кроватью. Во тьме мутно засветлело огненно-желтое пятно, вот оно обратилось в медведя, медведь лежал на боку, хрипел, из бока струилась кровь, а Петр жадно пил ее, припав к ране.

— Тьфу! — сердито сорвался Петр с сутунка, вскрикнул: в поясницу стрельнуло, и острая боль змейкой взметнулась по спине к затылку, но тотчас улеглась.

— Чорт!.. нет, это не того... дрянь.

Шагая взад-вперед и брюзжа, Петр не мог отделаться от вкуса медвежьей крови, злился. Не то чтобы она была противная, эта кровь, пивал же он оленью — бодрит, вливает жизнь, — его возмущало идущее извне насилие над его волей и связанное с этим предчувствие чего-то нехорошего.

— Врешь, не поддамся!

Он достал из походной сумы спирту и отхлебнул два больших глотка.

А за окном уж начиналось: постукивали ставни, скрипела на крыше флюгарка, рождались и таяли злобные шорохи.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Вечером угнетенное состояние духа усилилось. Чувство, похожее на какой-то неопределенный страх, крепло. Где ж начало этого чувства, по каким душевным тропам оно пробирается к сознанию? Боязнь это, или страх сам в себе, страх самодовлеющий, близкий к животному инстинкту? Петр вяло отмахивался от этого вопроса, даже ему было лень продумать причину того, почему именно он не хочет дать ответ. Он только мысленно спрашивал себя, как в бреду:

„Боязнь или страх, боязнь или страх?“—продолжал сидеть перед камельком, рассеянно посматривая на огонь, не в силах сосредоточиться.

— Очевидно, влияние пурги. Любопытно бы сюда барометр. Каково-то давление?.. Вот оно и давит, и давит..

На кровати закашлял Федор, что-то зашептала его жена, и вновь все умолкло, только поуркивало пламя, да ветер пробовал, крепко ли приперты в окна ставни.

Петр поднялся, собираясь что-то предпринять, скрестил на груди руки и в нерешительности вновь опустился на стунок. Ему нужно пережить внутреннюю борьбу, нужно подавить противоречие, мгновенно возникшее в нем помимо воли, надо победить себя:

— А вот возьму, да и пойду! Лягу с ними... Вот те страх!

Он прекрасно знал, что для победы, для укрепления духа необходимо идти напролом, навстречу страху, наперекор зародившейся в душе пурге, может быть еще более опасной, чем та, что грозитя грянуть над мертвой тундрой.

Петр никогда не боялся покойников, ему не страшны ни живые, ни мертвые. Но что же теперь? А может быть, здесь, на океане, когда бушует пурга, человеческий дух иным подчиняется законам?

— Иду!

* * *

Сквозь щели врывался в сенцы ветер, тусклый огонек светца крутился и трещал от падавшего снега.

„Надо завтра смастерить фонарь“,—подумал Петр и поставил светец в тихий угол, на опрокинутую кадучку в головах мертвецов. Колеблющийся свет колыхал смущенный мрак, и Петру сначала показалось, что все предметы в сенцах движутся, переменяя места, о чем-то шепчутся и стонут. Но тотчас убедился, что все оставалось неподвижным и безмолвным, только озорные выюнки кудряво завихаривали из щелей, и выла под крышей набиравшая силу пурга.

„Ничего, ничего... музыка знакомая“,—улыбнулся Петр, чувствуя потребность возможно чаще подбадривать себя. Он нашел в углу свернутую оленью шкуру, служившую постелью, встряхнул ее и бросил на пол между мертвецами и стеной.

„В тесноте, да не в обиде!“—и Петр, не раздумывая, лег, накрывшись заячьим походным одеялом.

„Потушить, что ли?

„Нет, пусть горит“.

От кадушки, где стоял светец, падала тень на лицо Петра и на слегка запорошенную снегом дерюгу, закрывавшую покойников. Огонек то горит спокойно, то вдруг затрепыхает, склонится, вот-вот погаснет, а вместе с ним тревожно заколышется и тень.

„А ведь дерюга-то шевелится“,—подумалось Петру, но он тотчас же поймал себя. „Тень... это тень гуляет“,—и прошептал, вглядываясь в потолок:

— Если поддаться, так покойники разговаривать начнут. А то вылезут, да и...—Он улегся поудобнее и громко сказал:—Ну, братцы, Андрей да Михайло, давайте-ка, други, спать!.. Покойной ночи!

Вьюнки по углам ответили жалобным тихим визгом, на дворе заплакала в голос вьюга, мертвецы вздохнули и придвинулись к Петру.

„Ничего, ничего“,—ухмыльнулся Петр, защурился. На него исподволь накатывал сон — крепко под вьюгу спится — он это знал и нетерпеливо манил к себе забвенье. Вот заснули ноги, засыпала грудь, спина, лишь в голове бродили отблески дум и треволнений: пурга кружилась там, мешала сну... Петра знобило. Он подобрал колени. „Уснул, что ли? Нет, не уснул. Если спрашивает, то не уснул. Но кто же уснул?“ Петр ощущает: кто-то уснул в нем, но не он, и этот некто, уснувший, мешает ему спать.

„Стой, стой... кажется, засыпаю“.

Заснул, только уголек не хочет спать, где-то поместился светлой точкой позади глаз и вихляет, и кружится. Тяжко. Думать? О чем думать? Не надо ни о чем думать... Тогда скорей. Но уголек бешено описывает закорючки; крутится, крутится.

„Крутись, чорт тебя дери, крутись!“

Петр приказывает ему погаснуть, Петр умоляет его, кричит, топает, но не может заглушить вдруг родившиеся в нем два голоса:

„Отверни дерюгу, посмотри!“

„Зачем?“

„Ага, боишься?“

„Не боюсь“.

„Тогда отдёрни, загляни!..“

Петр грузно вздрогнул, кашлянул, по сенцам пошли гулы. Петр открыл глаза. Темно. Погас, что ли? Отыскал взглядом светец. Горит, но не дает свету. Хвостатый огонек мутен, он весь в тумане из мельчайшей снежной пыли.

Глаза слипались, голова валилась к изголовью. Петр загасил светец. Все окуталось тьмой. Он лег, плотно укрылся, приготовился ко сну, но мозг работал и работал.

— Да чорт вас дери!... Я вас не боюсь!—стискивая зубы, шептал Петр.—Вот встану и уйду... Довольно!

И вправду, зачем ему возиться с мертвецами, когда можно лечь в избе, у живого камелька?

Забросаем вишеньем,
вишеньем, калиною...

внезапно врезались в мысль девьи голоса и смолкли. Он и не подумал удержаться их, даже подосадовал, что непрошено явились.

„Действительно,—продолжал он, решив, что сон прошел,—действительно, зачем мне оставаться здесь? Меня интересовала причина страха. Теперь узнал. Во всяком случае, не мертвецы, не эти двое, не соседи. Да и что такое мертвец? Материя, ненужная вещь, клопная шкурка. Душа? Может быть, душа страшна? Ну, допустим, придет, заговорит... Что ж! Только интересно. Интересно и... страшно... А почему? Да потому и страшно—в сущности, не страшно, а опасно,—что души-то нет, в душу-то я не верю, а если она явилась, значит, она в тебе сидит, в твоём воображении, значит, ты спятил с ума, или собираешься рехнуться“.

— Ну, айда в избу!—Петр даже шевельнул ногами, пытаясь подняться, но под одеялом сделалось угревно, все тело обуяла лень. Вот полежит немного и встанет. Он готов был праздновать победу, он победил страх, победил себя.

— Вставай, вставай!

Нашупал спички, чтоб зажечь огонь, еще минута—и встанет. Ах, как хорошо лежать!.. Лежит и прислушивается к звукам ночи. Забавно! Черти по углам сенец насвистывали в кулак и перекликались, снаружи царапали когтями стены, стучали в дверь; то здесь, то там, в неведомой дали кто-то хохотал и плакал, и без умолку тараторили болтливые голоса.

Петр и не заметил, как уснул.

* * *

Часы ночи медленно ползли. Буря крепла. С океана мчались все новые и новые волны урагана. В сенцах хозяйничал ветер, со свистом врываясь в пазы. В стены бухали камни и, как дробь, стучала галька. Вот сорвет крышу, вот по бревну расшвыряет зимовье. Под ударами ветра дрожали стены.

Кто-то идет, шоркает ногами, бормочет. Кто-то крадется, как вор. „Уыы!.. уыыы!!..“—И вдруг тьма сенец сотряслась и задрожала. Пронзительно, дико заорал Петр. Поспешная, невидимая борьба:—Стой! Кто тут?!—Стон, крики, визг, и Петр сразмаху, хватив обеими руками в дверь, вылетел наружу.

С хохотом, свистом пурга враз набросилась на него, закрутила, застегала, заткнула рот, отняла дыханье, приподняла упругим ветром и, как куль, швырнула в мутную бесовскую кутерьму.

— Чорт!.. Что же это?..—едва передохнул Петр.

Он вскочил, но порыв ветра, хлестнув, тотчас же опрокинул, перевернул, поставил на дыбы, сшиб снова и в ошалелых, буйствующих

вихрях сбросил куда-то вниз. Петр припал грудью к земле, закрыл лицо руками и тяжело, надсадисто дышал, жадно глотая воздух. Над ним с воем проносился ветер; снег, крутясь, заметал его, в обнаженную шею стегало, как песком, и холод насквозь пронизывал с головы до пяток. Еще несколько минут, и его сравняет с сугробами. Но ему почему-то вдруг стало весело:

— Вот так сальтомортале... Хорош козел! — и он нервно засмеялся.

А пурга вторила ему, язвительно хохотала:

— Хе-хе-хе!.. врешь, молодчик, врешьшы!

„Я те покажу-жу-жу! Жжж! жуууу!..“—ревела вьюга.

Передохнув, Петр пополз вперед. Он догадался, что его сбросило с каменного уступа, где зимовье, что он ползет круто вверх, как раз к жилищу. Извиваясь и пыхтя, забирал все выше, выше...

„А ведь сбросит... Чорт, как круто!... Нет, не сбросит... Нет, сбросит!“

— Держись!—Петр судорожно уцепился за обнаженный камень. Ветер рванул, хлестнул в лицо, больно ударил по рукам, и он с проклятием закувыркался вниз.

„Жжж! жу-у-у-у!.. жу-жу-покажжжжу!..“—ревела вьюга.

Все так же лежа ничком и согревая дыханием коченевшие руки, Петр быстро соображал, что делать. Жилище тут и есть, над головой, только очень крут откос. Влево, вдоль скалы, идет пологая тропа, но как добраться до нее? Вдруг закрутит, замучает пурга, вдруг подхватит вихрь, сбросит в океан, убьет?

— Ну-ка, Петр, вали!—Сердце забилося полной кровью, кровь ударила в виски, весь он кипел и рвался в бой.

„Ведь тут не тундра... Изба!.. Народ!.. Не пропаду же!“

И он пополз влево, навстречу ветру, к той заветной тропе.

„Неужто пропаду? Неужто пропаду?“

Поднялся, шагнул раз-другой, и снова пал от ударов бури. Какая-то странная, мутная была тьма. Все стонало кругом, злобствовало, и нечем было дышать.

„Задушит...“

Ветер опрокидывал, бил со всех сторон.

— Вздохнуть бы!.. Фу ты!.. — полз-полз и вдруг раздумал. Испугался. Ему показалось, что силы оставляют его. Он круто повернул назад, по ветру и стал тщательно ощупывать следы, но их уже замело, сравнило. Не знал, куда ползет. Руки коченели, дыхание прерывалось, хрипела грудь. Короткое раздумье и острый ужас:

„Что ж, гибель?!“

Позабыв дышать, он заметался из стороны в сторону—следов нет, и сразу понял, что ему грозит неотвратимая опасность. Защищая чужими деревянными ладонями лицо, стал всматриваться в мглу дикой ночи.

Распоясалась, размахнулась, ударила буря во всю мочь: все сотрясалось, грохотало. И рушились, падая в тартар, небеса. По пояс

в снегу, как столб, стоял Петр, крепко обхватив голову. Шевелились, топорщились волосы, выкатывался из глаз последний свет.

Обостренный слух только теперь поймал и довел до сознания всю неопишную массу звуков. Ошеломленный, раздавленный — Петр замер. Это было так ново и величественно, так нестерпимо больно, физически больно: не вмещалось, гнело, потрясало до последнего нерва все существо его. Еще мгновение, и он сам завыл бы, как дикий зверь.

„А рыбаки?“

— Да, да! — крикнул он. — А рыбаки?!

Бурно хлынула откуда-то, удесятерилась сила. Крепко, уверенно он вылез из сугроба, боднул упрямо головой, по-медвежьи рывкнул и, для устойчивости, широко расставляя ноги, прижав локти к бокам, нагнувшись, Петр, как медведь, попер вперед.

— Шутить изволите, богиня!..

Борьба с бурей, которая валила его с ног и не могла свалить, доставила ему обманную быстротечную надежду. Однако надо быть настороже, надо считать каждый шаг, каждый поворот. Ветер бил бешеными толчками, вырывая под ногами большие воронки или вмиг забрасывая снегом по колено.

— Ложись! — он распластался на снегу, переждал пронесшийся шквал — хорошо лежать — и едва поднялся: истомная лень вминала его в сугроб.

„Пережду... В снег заруюсь... Нет!.. Нелепо! Изба рядом... Стихнет, может быть...“ — Но он знал, что пурга держится иной раз целую неделю. Он вновь начал быстро терять силы.

„Эх, спирту бы!“

Он сел и несколько минут был, как в забытьи, с зашуренными глазами. Стало одолевать опасное равнодушие, безразличие, хотелось на все плюнуть и вот так, скорчившись, сидеть и ждать.

„А ведь погибну“, — ударил в душу черный голос: „Погибну“.

Петр выкатил глаза и заорал во всю свою богатырскую грудь:

— Эй, Федор! Федо-о-р!!

В которой стороне изба? Здесь, там?

— Эй, чорт тебя задави! О-го-о-й!.. — голос Петра хрипел и рвался. Пурга как-будто затихала, даже чуть побелела мгла. Но и силы в Петре кончались, роковой круг замыкался, сводил концы.

— Господи, не дай погибнуть!

И лишь взмолился он, неверующий, все в нем бессильно опустилось, все похолодело, замерло.

„Отходная. Конец...“

Он вдруг сорвался с места.

— А ну, чорт тя ешь, а ну!!

Скрутив в пружину волю, он крупно зашагал, наваливаясь со всех сил левым плечом на ветер.

— Вперед!—пружина дрожит в груди, воля надрывается. Все выше по откосу, выше. Ага! Тот самый камень, грань жизни, жизни! Он впился в обледенелый, с острыми ребрами, торчок скалы.

— Держись!—Но застывшие руки скользят, не держат.

— Чуть-чуть!.. Маленько!.. Ну!—И кто-то тянет вниз, хохочет, снегом захлестывает лицо, нет воздуха.

— Федо-о-ор!.. Марья-а-а!..—его отчаянный зык гудит трубой.— Федо-о-ор!..

И чудится — стоят над ним двое — белые, снеговые — шепчутся, скорочут:

— Столкнем, столкнем!..

— Тащите, что ли!.. Черти! Оборвусь!.. Обо-ор!!

Вихрь крутанул, взметнулся и с целым ворохом белой пыли Петра подбросило вверх, на площадку. Оленья парка загнулась ветром на голову. Он тяжело поднялся, шатаясь, словно пьяный, шагнул вперед, припал плечом к избе и радостно, надсадно задышал.

„Я те покажу-жу-жу!.. жжжж! жуууу!“—выла пурга.

Петр скрестил на груди руки и прыгающим голосом ответил:

— Врешь, старуха!.. Дудки! Моя победа, ведьма косматая!..

„Жжж! Жжж! Жу-у-у-у!“—крутились вихри.

Петр по стене пробрался к открытой двери в сенцы. На него напала оторопь. Пугливо озираясь и дрожа, он быстро перебежал мрак сенец и со всех сил рванул занесенную снегом дверь в избу.

— Михайло, Мишка!—вскрикнули спросонья рыбаки.— Мишка, ты?

В печи ярко полыхали только-что подброшенные дрова.

„Кто затопил?“—мелькнула мысль.—„Неужели?..“

Но, до смерти обрадовавшись огню и теплой избе, Петр сорвал с себя обледенелую меховую парка и в одной рубашке, как подкошенный, повалился на пол. Его сразу сковал глубокий, почти обморочный сон, какой бывает у замерзавших и неожиданно очутившихся в тепле.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Пурга свирепела над землей вторые сутки. Петра разбудил крик: — Эй, ты, пронись!

Он поднял тяжелую голову. Холодно, темно. Зажег огонь. Плохо проконопаченные стены слабо сопротивлялись ветру. Струи воздуха разгуливали по избе, колебали пламя светца, покачивали висевшие под потолком снасти. Сильные удары бури все также сотрясали избу. В стены, не переставая, грохало: вихрь, вырывая из поленницы дрова, швырялся. Федор и Марья то вскрикивали, как сумасшедшие, то стояли и охали, осеняя себя крестом.

Под вечер особенно грозно рванул с налету ураган, что-то затрещало кругом, обрушилось. Федор вскочил с кровати и, хватаясь за стол, за скамьи, пал перед образом:

— Господи Суси! Марья! Петрован! Вались на колени, ой, ой! Зажигай, тебе говорят, богову свечку—зажигай!

Марья закричала в голос. Петр бросился к трясущемуся, хлюпавшему в слезах Федору:

— Зачем же ты?! Эх ты, брат!.. Лежи, знай!.. — приподнял его и повел к кровати.

— Свечку-то!.. Господи Суси!.. Погибель!..

Петр отыскал за образом восковой огарок и зажег. Федор с Марьей закрестились. За стенами стало утихать. Искаженное испугом лицо рыбака просияло.

— Петрованушка, — ласково сказал он, — а ты бы перекрестил рожу-то. Нехристы!

Петр молчал.

— Перекрестись!

Петр упорно молчал, словно его здесь не было. Да, он душою там, в сенцах, среди мертвецов.

Рыбаки что-то бормотали, охали, звали Петра, но он одеревенело стоял, прислонясь плечом к стене и посматривал на огонь каким-то незрячим мертвым взглядом.

— Что ж вчера произошло? Да и было ли что? Конечно—галлюцинация, кошмарный бред. Сон.

Петр пытался сосредоточиться, все вспомнить, пережить, перечувствовать, но что-то упорствовало в нем, мешало собрать обрывки снов и мыслей.

— После. Надо одному...—услышал он свой голос. Встряхнулся, окинул недоуменным взглядом черные стены. Потянуло на работу, захотелось отрезвить себя, укрепить дух трудом.

— А нет ли у вас длинной веревки? Дрова таскать.

— Дак ты охапкой.

— Ветром сбросит. Чу—пурга! Я привяжусь.

Он надел парку, опоясался концом веревки и раздумчиво положил руку на скобку двери.

— Вот натаскаю дров, да обед сварю,—крикнул он, хотя кровать рыбаков была возле. Он крикнул громко, ему нужно было крикнуть. И зашагал по избе, как неживой, словно кто водил его из угла в угол.

„Сон! Приснилось...“

В голове вновь все смешалось, перепуталось; торчали незримые хвостики, метались, вспыхивая и угасая, огоньки, кружились точки, змейки, обрывки фраз. И через весь этот рой, как заостренный кол сквозь гущу, выпирало наружу вчерашнее, становилось Петру поперек дороги, разбойно издевалось над ним, мозолило уши:

„Что, голубчик! Сон или не сон?“

— Чего ж ты мнешься? Эй, Петрован! Ходит и ходит...

Петр упорно что-то вспоминал. Зрачки расширились, меж бровями рассекла лоб вертикальная складка. Лицо состарилось

— Слушайте, рыбаки!

Те молчали. Должно быть, сказал тихо или только подумал.

— Слушайте-ка!..

Петр подошел к ним вплотную, чтобы спросить, где ж ночевал он: в сенцах или здесь у печки, на полу? Хотел и не хотел знать. Хотел потому, что тогда все станет ясно и определенно. Но эта определенная ясность страшна... не ему, не Петру Лопатину, а кому-то другому, маленькому и робкому.

„Нет, не спрошу!“

Петр втайне верил, что знает сам все до единой капли, но тот другой, ничтожный и назойливый, подстрекал его притвориться, что он не знает ничего.

„И не надо“,—соглашался Петр,—„а то конец всему, точка“.

И вновь бесплодная мысль Петра стала вилять по закоулкам мозга, угадывая—сон или не сон?

— А ведь с ума можно спятить!.. Чорт!..—Сумрачный, разбитый, все так же ходил он взад-вперед. Половицы скрипели болезненно, серdito: им тяжелы досадные грузные шаги. Веревка плелась змеей у его ног. Он подошел к огню и осмотрел ладони:

„Красные... Ссадина. Кровь... Острый камень... Скала.

— Да, было!.. Помню,—встряхнулся Петр.—Было! Обязательно было!

— Ково? Эй!

— Так... Это я так... Рукавицу ищу.

У Петра шерстяные рукавицы, а сверху огромные мохнатки из собачины. Мохнатки нашел, рукавицу нашел, другой нет нигде. Искал, искал—нету. Плюнул и отворил дверь в сенцы.

* * *

Там снегу не было. Он чиркнул спичку: наружная дверь закрыта на крючок, пол чист, мертвецы под дерюгой тихи. По спине Петра прокатился холодок.

„Любопытно!.. Когда ж это он успел?“—подумал Петр про Федора. И еще подумал: „А вдруг я действительно видел все во сне там, у печки, а не здесь?“

Вновь чиркнул спичку и поднес огонек к пробую наружной двери. Крюк перебит в другое место, а чуть пониже желтело в косяке вырванное с мясом дерево: сомненья нет, это Петр вырвал. Значит, было то нелепое, от чего он с таким ужасом бежал.

„А ну-ка, кадушку осмотрю... где светец стоял“.

Меж стеной и покойниками нашарил ногою место, там должна быть шкура, его постель. Пусто. Шкура стояла свернутой в углу, как и раньше.

— Тьфу!—не выдержал Петр. Глаза засверкали, а холодок полз и полз по спине, будоража кожу. Нога нащупала мягкое, поднял—рукавица.

„Ага, вот оно что!“—путался в догадках Петр.

— Но ведь не мертвецы же это все проделали?

Бормоча что-то под нос, он принес светец и поставил, как в ту ночь, на опрокинутое дно кадушки. Пламя колыхалось, седые вьюнки кудрявились в щелях, за стенами сопела и охала метель.

— Ну-ка, братцы... с ревизией!—Он откинул дерюгу, напряженно улыбаясь.—Извините, братцы!

В этот миг он ненавидел свою душу. Власть над самим собой пропала, все шло вразброд: руки, ноги, сердце—все жило своим маленьким хотеньем, все покорялось одному чувству: трусости.

„Вот он, человек!.. Царь!“—не то про себя, не то про мертвецов с презрением подумал Петр.

Тихие мертвецы жались друг к другу. Впрочем, мертвец был один, в драной одежде, с лицом, обглоданным зверьем. Другой—груда костей, прах, тлен. Только череп скалил на Петра зубы, а в глазных провалах, где стояла когда-то жизнь, колыхались темные вопрошающие тени.

— Похороню, братцы, похороню!.. Потерпите, — сказал, холодея, Петр, накрыл их дерюгой и вышел.

Погода утихала, но ветер все еще в силе. Мутно-белые сумерки попрежнему скорготали и всхлипывали, неугомный снег крутился, замыкал простор.

(Окончание следует.)

Лейтенант Шмидт

БОР. ПАСТЕРНАК

ЧАСТЬ ВТОРАЯ ¹⁾

11. Бегство жителей

Окрестности и крепость,
Затянутые репсом,
Терялись в ливне обложном,
Как под дорожным кожаном.

Отеки водянки
Грязнили горизонт,
Суда на стоянке
И гарнизон.

С утра тянулись семьями
Мещане по шоссе
Различных ориентаций,
Со странностями всеми,
В ландо, на тарантасе,
В повальном бегстве все.

У города со вторника
Утроилось лицо:
Он стал гнездом затворников,
Вояк и беглецов.

Пред этим в понедельник,
В обеденный гудок
Обезголосел эллинг
И обезлюдил док.

Развертывались порознь,
Соплились невпроворот
За слесарно-сборочной
У выходных ворот.

¹⁾ Часть первая напечатана в «Нов. Мире», № 8—9 1926 г.

Солдатки и служанки
Исчезли с мостовых
В вихрях «Варшавянки»
И мастеровых.

Влились в тупик казармы
И—вон из тупика,
Клубясь от солидарности
Брестского полка.

Тогда, и тем решительней,
Чем шире рос поток,
Встревоженные жители
Пустились наутек.

Но железнодорожники
Часам уже к пяти
Заставили порожники
Составами пути.

Дорогой, огибавшей
Военный порт, с утра
Катились экипажи,
Мелькали кучера.

Безмолвствуя, потерянно
Струями вис рассвет,
Толстый, как материя,
Как бисерный кисет.

Деревья всех рисунков
Сгибались в три дуги
Под ранцами и сумками
Сумрака и мги.

Буали паутиной
Топырились по ртам.
Столбы, скача под шины,
Несли ко всем чертям.

Майорши, офицерши
Запахивали плац.
Вдогонку им, как шершень,
Свистел шоссейный хряц.

Вставали кипарисы;
Кивали, подходя;
Росли, чтоб испариться
В кисее дождя.

12. В экипажах¹⁾.

Вырываясь с моря из-за почты,
Ветер прет наощупь, как слепой,
И не ропщет, несмотря на то, что
Тотчас же сшибается с толпой.

Он приперт к стене ацетиленом,
Втоптан в грязь, и несмотря на то,
Трын-трава и—море по колена:
Дует дальше с той же прямою

Вот он бьется, обваривши харю;
За косою рамой фонаря
И уходит, вынырнув на паре
Торопливых крыл нетопыря.

У матросов, несмотря на пору
И порывы ветра с пустыря,
На дворе казармы—шум и споры
Это темной ночью ноября.

Их галдит за тысячу, и каждый,
Точно в бурю вешний буерак,
Разворочен, взрыт и взбудоражен
И буграми поднят этот мрак.

Пахнет волей, мокрою картошкой,
Пахнет почвой, норками кротов,
Пахнет штормом, несмотря на то, что
Это шторм в открытом море ртов.

Тары-бары, шутки балагура,
Слухи, толки, шарканье подошв
Так и ходят вокруг одной фигуры;
Как распространившийся падеж.

Ходит слух, что он у депутатов,
Ходит слух, что едет в комитет,
Ходит слух,—и вот как раз тогда-то
Нарастает что-то в темноте,

¹⁾ Экипажи—морские казармы.

И, глуша раскатами загадки,
И сметая со всего двора
Караулки, будки и рогатки,
Катится и катится ура.

С первого же сказанного слова
Радость покидает берега.
Он дает улечься ей и снова
Удесятеряет ураган.

Долго с бурей борется оратор.
Обожанье рвется на простор.
Не словами,—полной их утратой
Хочет жить и дышит их восторг.

Это об'ясненье исполинов.
Он и двор обходятся без слов:
Если с ними флаг, то он—малинов;
Если мрак за них, то он—лилов.

Все же раз доносится: эскадра.
Это с тем, чтоб братья да с умом.
И потом другое слово: завтра.
Это верно о себе самом.

13. Тяжелая ночь.

Дорожных сборов кавардак.
«Твоя», твердящая упрямо
С каракулями на бортах,
Сырая сетка телеграммы.

«Мне тридцать восемь лет. Я сед.
Не обернешься, глядь—кондрашка».
И с этим об пол хлоп порт-плед,
Продернув ремешки сквозь пряжки.

И на карачках под диван,
Потом от чемодана к шкапу...—
Любовь, горячка, караван
Вещей, переселенных на пол.

Как вдруг звонок, и кабинет
В перекосившемся: о, боже,
И рядом: «Папы дома нет».
И грохотанье ног в прихожей.

Но двери настезь, и в дверях:
«Я здесь. Я враг кровопролитья».
«Тогда какой же вы моряк,
Какой же вы тогда политик?»

Вы революционер? В борьбу
Не вяжутся в перчатках дамских». —
«Я собираюсь в Петербург.
Не убеждайте. Я не сдамся.

Нет. Я об'еду города
И пробужу страну от спячки,
И лишь тогда пушу суда
На помощь всерусской стачке.

Но так,—безумное одно
Судно против эскадры целой.—
Нам столкнуться не дано
Да и не ваше это дело».

Пожатья рук. Разбор галош.
Щелчок английского затвора.
Плывущий за угол галдеж.
Поспешно спущенные шторы.

И ночь. Шаганье по углам.
Выстаиванье до озноба
С душой, разбитой пополам,
Над trebuхою гардероба.

Отказ от планов. Что ни час
Растущая покорность лани.
Готовность встать и согнуться в глаз
И согласиться на закланье.

И, наконец, тоска и лень,
Победа чести и престижа,
Чехлы, ремни,—и ночь, и день.
И вечер, о котором ниже.

(Продолжение следует.)

Старая секретная

Повесть о былом

Ф. ГЛАДКОВ

(Продолжение ¹)

Человек с золотыми крылышками

... За эти одиннадцать дней голодовки наша боевая тишина нарушена была один раз. В этот день в камерах зазвенел смех, а Замятин опять взбунтовал всех своими песнями.

В полдень широким вздохом распахнулась дверь, и в коридор, напором, ввалилось целое стадо. Затопотали перепутанные шаги в сдержанном говоре голосов, раскатисто зазвякали запоры, зашипели двери камер. Топот и голоса проваливались в нутро камней, потом опять выползали, загромождая пустоты новизной и беспокойством улицы. Впереди по-хозяйски заливался молодой тенор. Он был капризен, женственно-певуч и весел до смешливости. Не видя этого человека, я уже знал, что у него — румяное, чисто выбритое лицо с подстриженными усиками, на носу — пенснэ, волосы подстрижены ершиком, а погоны на черной шинели — как золотые крылышки.

— Это ж смешно, господа... не правда ли?.. Раз слабы — надо искусственное питание. Приведите двух молодцов из уголовных и — дело в шляпе. В чем дело?

Как и всегда, наша дверь распахнулась во весь размах квадратной дыры. С неудержимой улыбкой упруго впорхнул на своих золотых крылышках пухлый румяный человечек в пенснэ. Ершика не было, а молодая лысина искрилась шелковым зачесом волос над ушами, и эти шелковые мочки по бокам лысины были тоже похожи на крылышки. Он причесался, вероятно, уже в коридоре.

— Ну, что ж, господа... здрасте!..

Уныло и сердито вошел доктор. У него была длинная черная щетина на голове, а усы и борода стекали клочьями на серую шинель. Он наклонился над Митрей и взял его за руку.

¹) См. «Новый Мир» № 1, 1927 г.

— Умру я, ваш... Что ж это, ваш... Братцы!..

Прахов посмотрел на него быком и забасил:

— А ну-ка, молчать... овца!..

И Митря сразу застыл, как труп.

— Говорят, что у нас — жестокая политика... не правда ли?..

Это ж — смешно... А у самих — диктатура друг над другом... Нам — нельзя, а им — можно... Каково?

И румяный человечек весело засмеялся, оглядывая нас и всю толпу тюремной челяди во главе с Мыррей. А он, Мырря, был слепой и глухой, как бурхан. Дынников стоял впереди Мыри с хмельницей в глазах. Усы необычно спутались на губах. Он дрыгал бровями и часто вздрагивал в нервной судороге.

— Ну, так что ж, господа? В чем дело? Долго ли еще будет эта канитель? Ведь кушать же хочется, не правда ли?

И опять засмеялся с веселой икотой.

Доктор с тем же сердитым раздражением подошел ко мне и протянул руку. От моего окрика он испуганно остановился.

— Доктор, не ломайте комедии. Отойдите прочь.

Он послушно отвернулся и шагнул к Прахову.

— А ну-ка, пошел вон, коновал. Твое дело щупать руки повешенных. Отчаливай.

А румяный человек не мог успокоиться от смеющейся радости.

— Ну, так что ж, господа? Дело получает серьезный оборот, не правда ли? Ведь ничего ж не добьетесь... Смешно... Применим к вам искусственное питание. Не так ли, доктор?

Прахов с черной мути в глазах подошел к нему вплотную.

— Что такое? Вы хотите, чтоб было кровопускание? Вы хотите спровоцировать бойню? Посмотрим, как это вам удастся.

Золотые крылышки затрепетали, и пенснэ блеснули изумлением.

Мырря вывалился бурдюком и запыхтел в борьбе с своей разбухшей тяжестью.

— Господа, надо все-таки, так сказать... Вы же — интеллигентные люди... Господин товарищ прокурора сам пожелал...

У Прахова взметнулись лопатки.

— Я с вами не разговариваю. Следите за своей квашней... только и всего.

Товарищ прокурора весь вспыхнул от восторга.

— Это ж — великолепно. Говорить на русском языке и не понимать друг друга. Это ж — смешно.

Я сел на койке в злобном порыве.

— Да, мы не понимаем друг друга. Наши дела для вас понятнее слов. Убирайтесь к чорту! Вон!

Я свалился от ревущего кашля, но продолжал еще злобно взмахивать кулаком. Доктор опять шагнул ко мне, но я остановил его глазами.

— Но ведь это не может кончиться добром, не правда ли? Это ж— смешно. Вы— староста, да? Вы ж должны понять, что мы будем вынуждены...

Прахов прислонился к столу и, опираясь руками о его край, смотрел на товарища прокурора с невозмутимой уверенностью.

— Попробуйте. Вы можете нас только зверски перебить. Другого ничего не добьетесь. Но имейте в виду, что на другой же день все будет известно во всех уголках. Ведь девятьсот пятый еще не остыл.

— О, нет, господа. Это — не страшно. Мы уже хорошо подковались, и все ваши силы и намерения нам прекрасно известны. Это ж— смешно.

И товарищ прокурора оборвал себя юношеским смехом.

— Это — смешно. Одно дело пугать голодовкой, другое дело кончить голодовку смертью. Мы не будем препятствовать вашему самоуничтожению. Пожалуйста. Но я думаю, что умирать-то вовсе не хочется даже и в этих неприглядных стенах. Не правда ли, а?

Глаза Прахова были неподвижны и тверды, как стекло.

— Мы идем до конца без всякого колебания. Нам нечего терять.

— Ого, значит, — ва-банк? Это — очень азартно.

Товарищ прокурора стал вдруг серьезен и важен

— Доктор, этот — как? слаб?

Он ткнул перчаткой в сторону Митри.

— Да, переносит довольно трудно.

— Тогда — в больницу. Распорядитесь, начальник.

Мырря горой поднял живот и, приложив руку к шапке, издал звук, похожий на отрыжку.

Прахов попрежнему был неподвижен, и в голосе его мычало неподатливое властное спокойствие.

— Нет. Он не будет в больнице.

Товарищ прокурора растерянно махнул рукой и смял зачес над правым ухом. Сразу опомнился и бережно поправил его с девичьей грацией.

— Я не понимаю, господа. Надо же все это кончить. Это — смешно. В чем дело?

— Кончайте. Наше дело — ясное.

— Это ж смешно... это ж смешно...

И с улыбкой досады и тревоги упруго пошел к двери, в гущу своей тюремной свиты.

А Мырря, измятый, мясистый, ворочал белками, и щеки его студенисто дрожали.

— Ах, господа, господа!.. Что вы делаете, что вы делаете?.. Никогда этого не было в нашей тюрьме. Какие неприятности, господа... какие неприятности!.. Ведь вы хотите не тюрьмы, а общежития. Невыполнимые претензии, господа.

— Мы хотим и в тюрьме человеческих условий.

Он был невыносим мне, и я кричал ему в лицо с яростным наслаждением.

— Вы из тюрьмы хотите сделать зверинец и застенки. Это вам не удастся. Никогда не удастся. Пусть мы издохнем, но мы добьемся своего. Если не мы, то другие воспользуются нашей победой. Вы душите людей на наших глазах. Мы этого не позволим. Никогда. Пусть мы — ваши пленники, но мы — не рабы и не скоты. Живыми мы не сдадимся. За нами — тысячи, имейте в виду. Вы очень ошибаетесь, что вы — победители. Рано зашебетали с своей сворой, стервятники.

— Ах, господа, господа! Какие неприятности, какие неприятности!.. Всякие слухи... волнуется весь город... Разве это допустимо?.. Прекратите это, господа... Ведь я тоже человек... У меня — семья... У всякого свои немощи...

Это была хорошая весть. Там, за стенами тюрьмы, наши неизвестные товарищи тревожат обывателя. Там жизнь не умерла, и силы, загнанные в подполье, взрываются и будоражат страхом испуганный покой. Нет в мире стен, которые бы раздавили в своих трущобах огненное трепетание борьбы. Наши стены дрожат, и от них летят незримые волны тревожных призывов.

Я махал над собою перевязанной рукой и смеялся в восторге.

— Вот, вот. Очень хорошо. Превосходно. Об этом заговорит вся Россия, а потом и — Европа. Ваши стены не крепче решета. Bravo!

— Ах, господа, господа!.. Что вы делаете, господа!..

И он ушел, убитый, сырой, неустойчивый в ногах.

Между мною и Праховым лежала непроницаемая тень.

П о б е д а

Мы были в тюрьме, но наслаждались свободой. Не умолкая, гремели цепи, и воздух рассыпался осколками стекла, а ноги ненасытно шагали по длинному коридору. В крови волновался не звон кандалов, а музыка праздничной радости. И я понял впервые, что свобода — не в широких горизонтах, не в том, что открыты тебе все пути и дороги: истинная свобода — в победе. Если бы во время голодовки передо мною открыли двери и сказали: — „Ты — свободен!“ — с презрением крикнул бы тюремщикам: — „Вон!“ Потому что я не нашел бы тогда свободы под открытым небом, на шумных городских улицах: там я замуравал бы себя на веки.

Наши камеры были открыты уже на целый день. Мы могли уже иметь бумагу, чернила, газеты, книги. Я раз в неделю мог видеться с Ольгой. Я мог выходить в коридор и бродить по нему из конца в конец. Мог гулять по двору, мог заходить в камеры товарищей и говорить с ними до пресыщения. Только камера смертников была отодвинута к двери, ведущей в другие корпуса, — камера № 1. Она одна попрежнему была надежно закована железом, и к ней нельзя было подходить.

Утром, ровно в семь, как обычно, дверь распахнулась, и в камеру вошел Дынников. Он был пьян: усы — в клочьях и мокры,

глаза — влажны, безумно тупы, в кровавом наливе. Мизинчик растерянно и беспомощно улыбался у порога, точно его ударили по шее. Он не знал, как держать себя, и сморкался в ладонь.

Дынников прошел к столику, сорвал шапку с головы и бросил на мою койку. Сел на табуретку верхом (нам дали новую табуретку) и с удивлением осмотрел нас всех, точно не признавал, куда и к кому он попал. Смывая слюною слова, он забубнил, торопливо, возбужденно, с едкой насмешкой:

— Поздравляю с победой, фанатики. Ну? Дешево? Подумаешь!.. Грош цена вашей победе, потому что нельзя бороться с судьбой. Ни в какую. Самообман. Ерундистика. Жульничество. А вы тут фило-софствуете — наводите тень на плетень. Тупицы! Куриные башки! Куклы!

Прахов смотрел на него в упор, и глаза у него были мутны.

— Что вы здесь разводите баланду? Что за челуха?

— Хлык... я только говорю о регламентах и правилах. Они же остались ненарушаемыми. Все — попрежнему. И вам — дулю под нос. А вы рады — ухмыляетесь. В этой вашей истории я играл роль не хуже твоей, доблестный боец Чу-гу-нов. Ведь ты же — не Прахов... Какой ты чорт, Прахов? Ерунда. Трусливая шкода. Дрожишь за шкуру свою, как собака. Тьфу! Ты думаешь обмануть судьбу? Дудки, Чугунов! Дудки! Ты передо мною извиваешься глистой. Ты — весь в моих руках. Что хочу, с тобой то и делаю. Хлык, хлык... Трагедия!.. Плевал я на ваши трагедии. Трагедия, это — собственная тюрьма. Дураки! Вы даже этого не понимаете. Курослепы!

Прахов был немного растерян и усмеялся устало. Голодовка покорила его лицо. Оно было синее и жухлое, а под глазами были темные провалы.

— Что ты здесь разоряешься, Дынников? Судьба, это — утка. А ты твякаешь, как дворняжка. Ничуть не страшно. Я ведь, как ты знаешь, не из пугливых.

— Знаю, хлык, хлык... Раз тебе капут и мне — капут. Щишка. Тебя нужно повесить. Я тебя удавлю собственными руками. Вот этими... на!.. Ты — убийца... самый мерзкий убийца... Тебя нужно колесовать... На!

Прахов молчал и пристально улыбался.

Мизинчик в изумлении и испуге смотрел на Дынникова и, оглядываясь на дверь, смущенно шептал:

— Господин помощник, надо бы сделать проверку. Дежурный ждет. Как бы не вышло неприятностей. Опасно.

Дынников встал, браво вытянулся в пьяной готовности.

— Слушаюсь, верный раб. Я гарантирую спокойствие предержавшей власти. Впрочем, ты — бестия... хитрый, мерзавец... Я тебя вижу насквозь... Хлык, хлык...

Он вышел с высоко поднятой головой, и воздух нашей камеры запенился отравой. Прахов с угаром в глазах сидел неподвижно на койке и был чужой и одинокий.

Митря лежал с закрытыми глазами, с пеплом на лице, как мертвец. Губы были черные, сухие, в корках. У меня кружилась голова, и я сел на его койку, дрожа от слабости. Неиспытанная легкость была во всем теле, точно я попал на другую планету. А кандалы были во много раз тяжелее, чем в прошлые дни и дни эти таяли в памяти, как далекие годы.

В коридоре толкались и путались в собственных ногах группы товарищей. Шаги их — слабые, утомленные, шаркающие по бетону. И голоса слабые, но по-ребячьи радостные. Точно не в тюрьме, а — в больнице.

Я откинул одеяло и взял руку Митри. Она тоже была покрыта пеплом — не мужичья.

— Митря, вставай, дружок. Сейчас будет кипяток и свежий хлеб. Праздновать будем.

Он открыл глаза, и в них я не увидел ни радости, ни печали: они были тусклы и оторваны от жизни.

— Не трогте.. Христа ради... Не надо... ничего не надо...

Меня осторожно, почти робко, оттолкнул Прахов, и я молча отошел к двери. Он не взглянул на меня, точно меня не заметил. А мне было и обидно и приятно: пусть — все идет своими путями; — он — сам по себе, я — сам по себе. Мы — бесконечно чужды друг другу.

Он мягко и нежно взял Митрю подмышки и посадил на койке.

— А ну-ка, друг, вставай. Я, брат, тебя одену, обую, умою и тюрькой заморю червяка. Шевелись-ка, осина-борона.

Митря послушно сел и равнодушно отдался во власть Прахова.

— Мне... все тятя... мерещится... покойник... Мерещится и мерещится. И все — издали... цепом машет... Иди, говорит, молотить, Митря...

— Во-во. Значит, Тит, иди молотить — брюхо болит. Помолотили — будет.

— Покойник... тятя-то... нехорошо... не к добру... А время-то, верно, хорошее... гуменное время... Крещенские морозы... Молотить сейчас — гоже... Зернq само просится...

Я вышел в коридор и зашатался: и пыльные окна в решетках, и грязные стены, и пол в щербинах и выбоинах, — все заколыхалось, стремительно падая вниз, как на палубе корабля. Я прислонился плечом к стене — и все вдруг озарилось оранжевым пламенем. Затошнило.

Около меня стоял Мизинчик и трепал по плечу с неумелым участием.

— Ну-ну... ничего... Оклемаешься... отудобишь... Знамо, лихо стит... Ну-ка, сколь ден... кому ни доведись...

И засмеялся, смущенно и виновато.

Я погладил его по плечу со слезной щекоткой в горле: в нем впервые я почувствовал не тюремщика, а просто человека, связанного со мною какой-то неуловимой трепетной нитью.

— Хороший ты мужик, Мизинчик... Спасибо на ласке...

— Ничего, ничего... отудобишь... Свет не клином сошелся... Везде—люди...

Брови его вздрагивали, и глаза увлажнялись собачьей тоской.

— Жратва одолела... жратва... Вот в чем—катавасия... Ежели бы не семейство да не чортова жизнь—разве я здесь торчал бы? Будь оно проклято... За что народ гибнет? За что его заушают? Разве я не чую?.. Разве мне не прискорбно?.. Сам такой же, как все... Чем мне лучше?.. Куда я пойду? Кому я такой нужен?..

Он махнул рукой и угрюмо отошел от меня. Потом вспомнил о чем-то, возвратился и торопливо, украдкой сказал:

— Этот... помощник... как его... малохольный-то... Запил... Неблагополучный человек... Так и жалит, так и жалит... Шли мы сюда, а он: „Давай, говорит, Мизинчик, всю тюрьму взорвем. И сами—в тартарары, в преисподнюю“... А тут еще бабенка ввязалась... Повесилась третьеводни. А в него уж совсем какой-то чорт вселился... С'ест себя человек... Жизнь-то что делает с людьми, ай-а-ай!..

Он пошел от меня вразвалку вдоль по коридору. Валенки были у него тяжелые, как пни, длинные, выше колен, и он никак не мог совладать с ними.

Прахов еще не знал о судьбе Наташи. А в Дынникове он ничего не увидел, кроме алкоголя. Теперь мне было ясно нутро этого нелепого человека: в нем сгорала мертвая Наташа. Почему Прахов не хотел свиданий с нею? Что она такое, эта трагическая Наташа? Почему так скупое говорил о ней Прахов? Почему он так загадочно прятал ее от меня?

Коридор пел и смеялся перебивками голосов. Мимо меня сновали бледные лица, волосатые головы,—все были точно больные, с выздоравливающими глазами. Все пристально, с улыбкой, с детским любопытством вглядывались друг в друга, волновались, сплетались в обнимку и целовались. Кто-то пытался петь, но обрывался от слабости. Вороша толпу и поднимая руки, как крылья, высокий—выше всех—прошагал размашистым шагом Замятин и, глядя сразу на всех, пел в такт своим шагам:

Греми, барабан, и не бойся!
Пляши, маркитантка, скорей!..
Вот смысл глубочайшей науки,
Вот смысл философии всей...

А ему хлопали в ладоши и кричали:

— Bravo, Замятин!.. Загибай ему салазки!.. Да здравствует победа!..

Хромая и скользя по стене от слабости, я пошел к камере Немиловича.

Я слышал его голос, привык к его сияющему глазу в волчке, но я ни разу не видел его лица. Мне он казался худым, высоким и апостольски важным.

Мои обмороженные пальцы на руках и ногах—в струпьях, и уши—в струпьях. Я удивленно смотрел на всех с неудержимой улыбкой, и они тоже оглядывали меня с изумленной радостью. И странно: все они, мои товарищи, были на одно лицо и одного возраста: или мои глаза ослепли от истощения, или голодовка сделала всех одноликими. Колыхались стены и пол и плыли вместе с толпой и вперед и назад.

Я испугался от неожиданности. Меня обнимал мальчик в серой арестантской куртке, в кудрявой шапке волос. Он поцеловал меня три раза, не отрывая губ, и дышал глубоко и восторженно. Губастый рот в оскале зубов сочно искрился мальчишечьей улыбкой. Юноша волновался в нетерпеливой готовности к порыву.

— Вы давно здесь, товарищ? На каторгу? По какому делу? У вас—кандалы. По несовершеннолетию мне—только ссылка, а по уголовному уложению—каторга. Жаль. Ведь у меня—тоже дело. Я ведь по убеждениям—два года, как большевик. Ссылных не закандаливают. А с каким бы удовольствием я погремел по этапам и тюрьмам!..

И сочно сверкал зубами из губастого рта и все ласково ловил мои руки и робко пожимал их.

— Вы хромаете. Дайте, я проведу вас. Вам—куда? Это у вас от карцера? Я слышал и очень интересовался вами. Досадно, что я тогда не мог принять участия. И я был бы в карцере.

Я взял его под руку и прижал к себе.

— Брякать кандалами—удовольствие небольшое, товарищ. Что может быть нелепее железных цепей на человеческих ногах? И карцер не рекомендую: большая мерзость.

Он загорячился и заговорил торопливо, захлебываясь, и видно было, что он хотел убедить меня и заставить почувствовать, как неизбывна его жажда к подвигу.

— Нет, нет, товарищ! Вы не должны говорить так. Вы не можете этого говорить. Вы—революционер. Когда у меня делали обыск, мать и сестра были сами не свои. Ведь я еще учился. А я держал себя удивительно спокойно. Я радовался: вот и я арестован, вот и я буду в тюрьме. Я с наслаждением пошел бы на виселицу тогда. Вот и сейчас. Я тоже голодал, как и все. Даже не хотел пить воды, да уговорили товарищи. И если бы еще столько же—все равно... никак и нипочем... Я даже ждал, что дойдет до агонии.

Мы подошли к открытой камере Немиловича. Там было пусто, и только в зеленой полутьме на одной из коек ползали складки бурого одеяла.

— Я—сюда. К товарищу. Вы не сказали, как вас зовут.

— Архип. В переводе значит—старший конюх. Нелепое имя.

— Почему—старший конюх?

— По-гречески. Ведь я тоже учил эту премудрость. К чорту Византию: она—только кровь и рабство. Наша проклятая родина—такая же Византия. Можно с вами?

— Пойдемте. Тут—Немилович. Только вы его не очень слушайте: у него немножко ум за разум заходит.

— Ах, как мне нужно много учиться! Ведь революционер должен быть подкован на все четыре копыта. Чтобы разрушить буржуазную цивилизацию, нужно овладеть культурой. В руках пролетариата это—самое сильное оружие, а без культуры он—беспомощен.

Мы вошли в камеру, такую же тесную и плесенную, как наша. Немилович лежал на койке, плоский, почти неощутимый, будто только одно лицо бледнело на подушке, а тела не было. Я узнал его по глазам. Они были такие же, как в волчке, где они горели сухим внутренним блеском. Щеки были худые, прилипающие к зубам, и тоже горели рваными пятнами. А лоб был твердый, белый, череповидный, с огромными глазницами. И совсем лишней была длинная борода, узкая, черная, заботливо разглаженная, должно быть, мягкая, хрустящая шелком. Он обеими руками—желтыми и прозрачными—женственным перебором длинных пальцев чесал ее, разглаживал и играл волосами. И как только я увидел его, такого,—с маленькой головой и большой бородой,—мне сразу стало скучно: он показался ненужным здесь и настоящим.

— Ну, вот, Немилович. Я вас еще не знаю. Пришел поглядеть на вас.

Он засмеялся, как обычно, по-воробыному, со вздохами, и небрежно с изломом в кисти протянул мне руку.

— Мы с вами, Угрюмов,—давнишние друзья и спорщики. В столкновении и переплетении внутренних человеческих энергий завязываются узлы новых ощущений, и комплексы элементов мира раздвигаются, сливая нас с бесконечностью. Это хорошо. Это—чудесно. Это—невыразимо прекрасно. Я немножко ослабел физически от этой голодовки. У меня, видите ли, пошаливает туберкулез. Тюрьмы. Ведь я три года до этого провел в тюрьмах. А теперь, вероятно, тоже надолго.

— Вот вам и закон объективных фактов, Немилович. Вы ведь отвергаете примат объективных фактов. Ваша философия расплзается по всем швам.

У него захрипело и захлюпало в груди, и смех его захлебнулся в клочкущей пене. Но он, не переставая, чистил длинными пальцами свою шелковую бороду.

— О, нет. Это—закон первобытного примитива, ибо закон так называемых объективных истин есть следствие основного закона чистой относительности. А я—только звено в бесконечной цепи свершений: я—во всем и я—все. И весь мир—только моя сказка, мое творчество, причудливый трепет сгущенной энергии.

Мне казалось, что он безнадежно отравлен чем-то вроде алкоголя или морфия. Он был далек от нашей действительности и создавал какой-то свой, несуществующий, непонятный мне мир. И то, что он говорил—и говорил только один, не давая говорить мне,—утомляло меня, опустошало душу: точно этими хрипыми, липкими словами он

плевал мне в лицо, и эти густые плевки тягуче рассасывались по жилам, останавливали кровь и мозг мой покрывали слоем слизи. Меня неудержимо потянуло в коридор, на морозный открытый воздух, звенящий солнечными нитями, утонуть в хороводной толпе товарищей и слушать богатырские крики Замятина, который был роднее и ближе всех.

Архип внимательно и жадно слушал Немиловича и не сводил с него широко открытых глаз. Он стоял около меня и тянулся к нему с восторженным самозабвением юнца, который впервые в жизни услышал необычные слова, полные сказочной красоты и глубокого значения. Очарованный, он робко, осторожно сел на край койки Немиловича и пролепетал стыдливо:

— Товарищ, могу ли у вас остаться, чтобы послушать вас и поговорить с вами?

— Я очень рад, милый юноша.

— Вы скоро умрете, Немилович. И это будет лучше для вас.

Эти мои слова потрясли его, как сильный электрический разряд. Он застыл, окаменел и стал еще больше похож на мертвеца.

Архип тоже с пристальным испугом смотрел на меня и вздрагивал от волнения.

— Зачем вы говорите мне эти мерзости? Я не хочу этого слушать.

— Закон объективных фактов, Немилович.

Архип протянул ко мне руку и лепетал растерянно и гневно:

— Это—жестко, товарищ Угрюмов. Я не ожидал от вас...

А лицо Немиловича уже дрожало от нутряной улыбки, и глаза смотрели на меня женственно кротко и радостно.

— Можно ли так говорить о вещах, которых вы не знаете, Угрюмов? Вы говорите так потому, что боитесь тех слов, значение которых вам непонятно. Что вы мне говорите о смерти, когда это—только особая форма жизни, как холод есть особая форма теплоты. Разве в ней меньше глубоких переживаний, чем в том, что мы называем жизнью? Голубчик мой! вы никогда не будете революционером, если не произведете революции в себе. Тогда революция внешняя согласованно пойдет по принципу наименьшей траты сил. Внешняя революция без внутренней—вульгарная, мещанская утопия.

Я махнул рукою и захромал к двери.

Весь этот день был пьяный и беззаботно-пустой. Камеры были открыты, и в коридоре плавала пыль, как жидкий сизый дым. Люди были слабы и глупо-праздничны. Встречались в коридоре, заходили в чужие камеры, не знали, что говорить, ухмылялись, опять уходили и бездельно слонялись, не находя себе места. Ели мало, а когда ели, на лицах корчились гримасы отвращения. Митря сел большой ломоть хлеба и мучился животом. Он лежал на койке и стонал, нудно и глухо, по-телячьи.

Было скучно и тоскливо от пустых расстояний: все были чужие, далекие, и не было слов для дружеского общения. Однообразно звучали в разных местах только одни надоевшие слова:

— Вы—из какой камеры?

— А вы?..

— Ну, как?..

— Ничего...

И было странно и непривычно от этой внезапной свободы. Что-то нужно было делать, произвести какой-то переворот в нашей жизни, но все бродили по коридору и по камерам, натыкались друг на друга и глупо улыбались. И в лицах, и в движениях было недоумение, разочарование и сконфуженность. Уже к полудню коридор был пуст: все громоздились по своим камерам, и эхо голосов перекатывалось встречными волнами, лениво и скучно. В прошлые дни мрачные стены камер давили нас, и мы задыхались в этих склепах, а теперь эти стены вдруг стали ближе, роднее, уютнее и успокаивали душу своей каменной устойчивостью и молчанием.

Черная тень

Я ждал, что Ольга первая вызовет меня на свидание. Мне хотелось испытать ее. В чем? В любви? В желании быть около меня? В товарищеской привязанности? Я жил только одной мыслью: вот войдет надзиратель и крикнет мне издали:

— Угрюмов,—на свидание.

Каждый день кто-нибудь получал письма. Некоторые уже виделись с женщинами, с которыми сидела Ольга. А я упрямо сидел и ждал.

И дьяволом ухмылялся Прахов. Его слова забываемо ныли в памяти и мучили меня до отчаяния:

— У ней—пустые глаза, и лицо—пустое. Она никого не любит. Ты ее любишь, а я не подпустил бы ее на версту к партийному делу.

Она стояла передо мной, как живая: вот она чуть-чуть сутулится в постоянном стремлении бежать куда-то по неотложному делу, чуть-чуть склоняется голова в глянцевых волосах на висках, и глаза—широко распахнуты, непроницаемы для меня, вспыхивающие далеким огнем полупонятного намека. Вспоминались ночные часы торопливой любви. Это была азартная игра под зоркими глазами жандармов.

Однажды, когда я уходил от нее воровской тенью, я взглянул в ее немного пьяное лицо в загадочно скрытой улыбке, и мне на миг показалось, что я ее совсем не знаю, что она непроницаема для меня, что она, Ольга,—только маска, и этой маски она не снимет никогда.

— Ольга, ты не думаешь, что нас в два счета могут схватить, как птенчиков? Надо переменить квартиру.

Она взглянула на меня вызывающе и засмеялась маленькой девочкой.

— Вот. В этом—вся острота любви. Меня не привлекает мерзость мещанского сластолюбия. Я и в любви приемлю только риск.

Она обняла меня и сразу же оттолкнула.

— Надейся на меня, голубчик, и верь. Ни один жандарм не может ворваться сюда. А если ворвутся, мы сумеем уйти за тридевять недостижимых расстояний.

Она отдернула по шнуру белую в прошивках занавеску на кровати от ножки к ножке и нагнула мою голову;

— Смотри.

Я заглянул под кровать, в темное нутро. Там было пусто, чисто (когда она успевала следить за чистотой?), немного пахло пылью, только около стены валялись стоптанные башмаки.

— Я ничего не вижу, Ольга.

— И никогда не догадаешься. Тут — ход в подполье, а из подполья—в сад, а в саду—худые заборы.

— И все это сделано твоими руками?

— В этих теснинах совершались большие дела. И будут совершаться еще. На случай обыска все предусмотрено, и я еще ни разу не опростоволосилась. Будь спокоен, дорогой: у меня здесь — пардусово гнездо.

Нет, у нее, Ольги, не пустые глаза.

По ночам я смотрел на сонного Прахова, и сердце мое обжигалось ненавистью к нему. И где-то в глубине черепа плелась неотвязная мысль:

— А ведь Прахов—provokator. Это он нарочно смущает меня туманными загадками насчет Ольги. Это—для того, чтобы мое недоверие к нему перенести на Ольгу и любовь мою отравить убийственным подозрением. Несомненно, так может поступать только provokator.

И мне казалось, что он тоже не спит и следит за мною сквозь дрябло закрытые веки. В один из таких бессонных часов он нечаянно взглянул на меня, и на мгновение я увидел в его помутневших глазах несдержанный испуг. Что это: боится он меня или чутко сторожит каждое движение? Почему бы не встать ему с койки в тот миг, когда я незаметно теряю сознание и погружаюсь в сон? Это—дело секунды: навалиться на меня, задушить, а потом симулировать мое самоубийство. С этих пор я уже не знал больше ночного сна.

Однажды утром, за чаем, он через прищурку спросил меня быковато:

— Почему ты не спишь по ночам?

— А почему ты знаешь, что я не сплю? Следишь за мной, что ли?

— А почему бы и не последить за тобой?

Он ухмылялся и посматривал на меня с насмешливым презрением. Он издевался надо мною, а я едва сдерживал свое бешенство.

— Из-за трусости или из иных побуждений?

— Дурака ты валяешь, приятель. Я знаю, чем дышит каждая твоя ноздря.

Он встал и пошел к двери, твердый и уверенный в себе, с широкой, неломкой спиной. А я, изуродованный ненавистью, брякнул кандалами и вскочил с табуретки. Мне хотелось раздавить его, ошеломить страшным ударом, от которого он согнулся бы и стал жалким и опустошенным. Он обернулся и, не вынимая рук из карманов, молча устоял на меня в ожидании скандала.

— Я тебе не прощу, Прахов... Твое подлое отношение к девушке и ко мне... Ты знаешь, о чем я говорю... Это мною оценено по достоинству. Я теперь понял, с кем имею дело. Поэтому я скажу тебе с особым удовольствием...

— Ну, кончай, чорт бы тебя с'ел... ну?

— Твоя Наташа...

— Что—моя Наташа?..

Я хватался за остатки своей силы, чтобы оборвать себя или расколоться легкомысленной шуткой. Если бы я улыбнулся Прахову и посмотрел ему в глаза с дружеским смущением, все кончилось бы сердечным примирением, и мутная тень, которая колыхалась между нами, растаяла бы, и мы бросились бы друг другу на шею. Но я летел в пропасть, и никакая сила уже не могла меня спасти. Слова вырывались уже сами собою.

— Так вот знай же... Дынников—прав... ты—эгоист, трус и убийца...

— Ова! Бей оглоблей по воробьям, чорт подери...

— Да, я бью тебя... с особым удовольствием... Твоя Наташа повесилась... Воц.

— Что-о? Да я тебя, сволочь, задушу, как поганого щенка...

Я не знаю, почему он не убил меня в эту минуту. Я ждал, как неизбежного: вот он бросится на меня, и мы будем кувыркаться с ним по полу, как остервенелые псы, рычать, грызть друг друга и плевать кровью. Но было тихо и пусто. Прахов сел на койку и посмотрел на меня синим угасшим лицом.

— Ты это... откуда?.. Кто тебе сказал?.. Разве этим можно шутить?.. Это тебе сказал Дынников?

Потом встал, боязливо оглянулся вокруг, опять сел и поперхнулся. Опять встал и рыхло вышел из камеры.

Разбитый и обессиленный, я вдруг остро почувствовал, что я—один, что вместе с Праховым исчезла и моя связь с людьми, которая завязалась давно через стены камер и через волчки, живые от глаз. Удар, который был направлен в Прахова, обрушился на меня самого. Стены стали ближе и тяжелее, и бурой плесенью в них выросла безнадежность.

Митря лежал на локте и смотрел на меня жадными, обалделыми глазами. Он улыбался застывшей очарованной гримасой и часто глотал обильную слюну.

— Ых, галманы, мордоплюи, осина-борона!.. По усам текло—в рот не попало... Пахорукие губошлепы!.. Разве так дерутся?.. Ведь срамота одна...

Он брезгливо сплюнул и лег, обиженный и унылый.

В этот день я не был в своей камере (невыносимо было чувствовать стены) и не видел Прахова до проверки. Когда заперли камеру, он лег на койку, повернулся ко мне спиной и застыл без дыхания, без движений, без дремотных судорог. Мне было больно и стыдно, а где-то под черепом дымилась дурною кровью мстительная радость: а все-таки я проучил Прахова—сделал его беспомощным и жалким. И в то же время мне неудержимо хотелось подойти к нему, склониться над ним и сказать задушевно:

— Прахов, я был к тебе несправедлив. Забудем об этом и по старому будем друзьями.

Но я был во власти какой-то силы, в которой я утопал, как пылинка. Бороться с нею я не мог, и вырасти из нее было невозможно. Почему я не переживал этого раньше, когда был в подполье, в открытой революционной борьбе, в моей маленькой личной жизни, богатой сплетением живых связей с людьми?

Это — отравная плесень тюрьмы, это — гарпии, живущие в камнях.

Может быть, не нам, а нашим потомкам удастся открыть эти погребки и узнать свойства этих живущих в них сил, и они оправдают нас за наши недостойные поступки и преступления против себя и других.

Свидание с Ольгой

В комнате свиданий, огромной, сумеречной, с низким сводчатым потолком, с грязными потоками на стенах, пустой в этот час, затканной двумя полотнами проволочных решеток, меня встретил Дынников и грубо ткнул рукою на скамью.

— Честь и место. Можете признаваться в любви и вести брачные разговоры. Очень амурная обстановка.

— Это вас не касается, господин Дынников.

Он щелкнул каблуками и осовело уставился на меня.

— Чорта с два! Меня это касается. Вы — в моей власти. А вот над собой власти у человека нет. Нет у меня над собой власти. Над вами есть, потому что я ваш тюремщик, а моя судьба показывает мне язык. Извольте не расхаживать. Сядьте! Вы — в тюрьме, а не в кабинете.

— Не орите, пожалуйста: не страшно.

— Знаю. Вы — тупицы, потому что фанатики. Мне — чорт с вами. Но мне — страшно. Моя тюрьма — мерзее вашей.

— Ну, и удирайте из своей тюрьмы. Кому вы нужны?

— Именно. Хлык, хлык... к чорту в глотку...

— Куда угодно. Хоть повесьтесь.

— Это—мое дело. В советах не нуждаюсь. А вас я бы всех перевешал.

Он зашагал широкими взмахами ног, вздрагивая головою, точно его душило, и раз за разом ухмылялся и мычал что-то неопределенное в звуке.

Ольга вошла уверенно и твердо. Глаза ее были такие же голубые и широко открытые, но в них было что-то новое для меня: они были сухие и отвердевшие, будто роговые. Она улыбнулась с судорожной натугой, и эта улыбка была не своя и сейчас же угасла. С мимолетным любопытством скользнула по моему лицу чужим взглядом и молча села около меня на скамью.

— Ну, здравствуй, Ольга!

Она опять мертво улыбнулась и, насилуя себя, протянула мне руку.

— Здравствуй!

Потом опять с удивлением взглянула на меня, как человек, который видит меня впервые, и чуть-чуть отодвинулась.

Дынных мотылял около нас и гнусаво квакал, как лишенный ума:

— Хлык... хлык...

— Мы давно не виделись с тобою, Ольга.

Она не ответила и смотрела в пол. Только улыбка дрогнула на лице отраженной судорогой.

— Ольга, я все время думал о тебе. Почему ты мне ничего не писала?

Она быстро взглянула на меня с упреком и изумлением.

— К чему этот сентиментальный разговор?

И отвернулась, точно хотела скрыть от меня свое лицо. Она тяготилась мной и ждала той минуты, когда кончится наше свидание. Прежняя Ольга ныла в душе тоскливой болью: эта Ольга—не Ольга. Та Ольга умерла и стала недостижимой. Это был чужой человек, которого я не знаю, и нутро которого спрятано за стеклянными глазами куклы. Так бывает только в кошмарах, когда ждешь, что близится что-то огромное, бесформенное, непонятное, которое не подчиняется никаким физическим законам—оно скрыто в глубинах, куда не в силах проникнуть сознание. И потому, что оно непостижимо и кромешно,—оно страшно в своей неотразимости.

— Скажи мне что-нибудь, Ольга. У тебя есть, что рассказать.

Она зябко ежилась, вздрагивала и напряженно думала о чем-то своем,—мучительно думала, будто на нее обрушилась какая-то беда, и она, раздавленная, барахталась только в узелках своего мозга.

— Да что ж говорить? Я тебе уже все сказала. Полный разгром. Кроме Гельчеров, никто не избежал расправы. Каторга, ссылка. Я еще до сих пор не оправилась от этого удара.

Она опять взглянула на меня оледеневшими глазами и опять улыбнулась. И, когда я опять увидел эти глаза, мне показалось, что

комната стала темнее и ниже, и со стен и потолка сползала угрюмая тень.

Ее глаза были пустые.

— Ну, а ты, Ольга?.. Ты ничего не сказала о своей участи.

— Моя участь?.. Я, право, не знаю...

— То-есть, как не знаешь? Ведь ты же приговорена?

— Нет, я не была на суде.

— Как же это? Ведь организация тебе многим обязана...

И опять блуждающая улыбка в пустоту.

— То же самое говорят и другие. Это должно вызвать подозрение, не правда ли?.. Супруги Гельчеры и я...

— При чем тут подозрение? Я просто интересуюсь...

— Меня направили в административную ссылку.

— Куда же?

— Не знаю. Куда-нибудь ближе к Якутке.

Внезапным вывертом руки, как актер, Дынников уткнул в Ольгу дрожащий палец, и лицо его исказилось брезгливой гримасой.

— Она лжет, каторжанин. Не верь ей... Впрочем, любовь построена на глупости и нелепости. А легковерие—из этого порядка... Хлы... хлы... Она на-днях отправляется к своим пенатам.

Ольга медленно подняла голову и взглянула на него с холодным недоумением.

— Да? В первый раз от вас слышу.

— Ну, и больше ничего. Довольно! Шагом марш по своим клеткам! Священное слово—тюрьма. Это надо понимать... хлы... хлы... и чувствовать смак...

Ольга поднялась сразу, будто обрадовалась, и торопливо сунула мне руку откуда-то из подмышки. Я тоже поднялся и ждал, что она взглянет на меня и скажет на прощанье какое-то свое, наболевшее слово. Но она ушла быстро, обычным бегущим шагом и ни разу не оглянулась.

Дынников засмеялся, глухо, с хрипотцой, и глаза его налились слезами.

— Поздравляю... с трагическим браком.

— И вас также...

— Ш-што-с?

Он дико вытаращил на меня угарные белки, и усы задрогали в растерянной улыбке.

— Надзиратель!

Слепые дни

Стены камер раздвинулись, но воздух был такой же застойный и грязный, как и в прошлые дни. В длинной воронке коридора целыми сутками дымилась вонючая муть. Она пакостно вползала в камеры, царапала горло, растворялась в крови, осаждаясь в мозгу неугасимыми головными болями.

Однажды вечером надзиратель притащил пузатый тюк махорки и спичек, и ночью секретная задымилась навозными кучами. И долго, до самой полночи, камеры смеялись и пели своими утробами, и уже не было той строгой, ушедшей в себя тишины, которая недавно сгущала тьму раздумным самоуглублением. Тогда ночные стены и эта подвальная тишина были полны смутных предчувствий и тревожных томлений. Тогда каждое мгновение, разбухало в часы, и мы растворились во времени до потери сознания.

Теперь время играет и плещет потоком. Оно застаивается только в ночных необитаемых углах и закоулках. И хороводные голоса, и взрывы хохота, и вспыхивающая цыгарка в зубах у Митри, и растянутые спутанные спирали дыма в камере, и зеленый туман в коридоре,—все это превратило тюрьму в вагонную сутолоку. Все стало обычно, скучно, буднично, однообразно.

Каждый день, с утра до вечера, камеры теряли свою обособленность: двери широко распахивались, и стены смахивали застойную пыль. Камер не было, и коридор сливал их в одну общую казарму. И люди стали тусклы, с маленькими словами, неотделимыми от их платья, от сна, от еды, от их привычных движений. Курили до одурения, играли в коридоре в чехарду, писали письма, читали газеты, коченели над шашками. Замятин орал песни по целым дням. Бродил по коридору из камеры в камеру, как бездельник, брякал кандалами и выл:

— Хорошая песня, друзья, это—крепкий, надежный винт для жизни. Ежели бы не было песни, половина наших героев издохла бы без всякой славы. Песня, это—хорошая отдушина в недобрый час невзгоды. В дни наших побед и завоеваний мы отведем песне и музыке самое почетное место.

Он всегда был полон здоровья и бодрости, всегда был шумный и размашистый, всегда ворошил и будоражил всех своей неуемной силой и лошадиными легкими.

И мечты его о будущем тоже были насыщены здоровой кровью. В его взревах через кандальный звон эти мечты были ощутимы, как настоящее.

— Други мои, аскеты и скопцы! У вас нет радости жизни, потому что в вас нет трепетанья будущего. Вот я имел вчера свиданье с анархистками, с юными бунтующими девами, а вы меня облаяли ёрником. Лицемеры! Как истинный революционер, исповедывающий единую реальную цель—железную диктатуру пролетариата,—я высоко ценю и возвожу в культ великое творение природы—прекрасную женскую любовь. Новая античность, это—здоровое тело, могучий мозг, любимый труд, обнаженная гомерическая любовь, творящая искусство. Вот оно—будущее. Разве я не могу создавать гимны будущему в стиле несравненного Уитмэна? Чорт вас подери, это я доказываю вам каждый день. Вы—тупицы и бездарь, потому что не можете оценить по достоинству моих талантов.

На дворе уже не было бессмысленного и казенного хождения гуськом по квадратному периметру около палей. Пышный снежный сугроб был вспахан множеством ног и теперь был уже грязный, комкастый, льдистый и не искрился радужной пылью. Только воздух по-прежнему хрустел морозом и высекал искры на солнце. Надзиратель стоял уже около стены секретной, у входных дверей, и был дремотно-рыхлый, глухой, слепой и безгласный, как чучело.

Замятин, как всегда, первый выбегал в одной арестантской блузе рвал кандалы и будоражил снег огромными опорками. Он с ревом бегал по двору и, комкая снег в широких ладонях, встречал нас белыми бомбами, которые сочно рвались у наших ног и на стене секретной. Начиналась всеобщая ералашь, хохот и толкотня. И—кучи человеческих тел, засыпанных снегом, свалка, оскаленные лица, пьяные от крови и воздуха, обжигающего легкие.

Каждый день я подходил к палям и смотрел на дворик женской тюрьмы. Там тоже была снежная свалка, и визг женщин волновал нас и ломал этот гнилой забор, который отделял нас от них тонкими трухлявыми бревешками. И каждый день мы гурьбой толкались у палей и кричали лающим призывом, как голодные самцы:

— Товарищи женщины!.. Сюда!.. Женщины, сюда, к нам!.. Женщины!..

Забор трещал и шатался от напора, и наши крики и крики женщин сливались в общий гам: мы осызали друг друга в запахах и дыханье, жадно ловили пальцы, просунутые в прорехи. Мы не могли видеть лиц и фигур, но мы чувствовали их близость и уносили с собою случайные прикосновения их рук и их голоса, которые звучали чудесной музыкой.

Несколько раз я один подходил к этому забору и смотрел на двор, живой от птичьего смеха. Я хотел хоть на миг увидеть Ольгу. Ее не было в их крылатой толпе. Она, вероятно, была или в камере или сидела где-нибудь около стены, одинокая, нелюдимо-строгая, ушедшая в себя. И оттого, что я потерял ее, и она растаяла в моих дневных впечатлениях,—я тоже отчужденно бродил по двору, и мне было больно, что я—один с своей тоской, что никто из этой ералашной артели не поймет меня. Я избегал товарищей и в коридоре и боялся только одного, как бы не подошел ко мне кто-нибудь из них и не оглушил меня шальным и назойливым словом. Некоторые из них смотрели на меня пытливо, исподлобья, лорывались встряхнуть меня вопросом, но не решались.

И, как всегда, по-юношески тепло подошел ко мне этот широколицый, губастый Архип.

— Что с вами, товарищ Угрюмов? Вы не больны?

И не мог сдержать молодой радости. Она дрожала в его глазах, и жизнь играла в нем, как родник в солнечный день. Тюремные будни цвели в его душе весенним праздником, и потому, что он считал себя узником за дело революции, он был счастлив и трепетал от гордости и восторга.

— Если вы нуждаетесь в помощи, товарищ Угрюмов, я—с радостью...

— Видите ли, Архип... бывают моменты, когда человеку важно остаться наедине с собою. Есть вопросы, которые зарываются только в нутро. Так вот, я переживаю именно такой момент.

Он сразу загорячился, и глаза у него стали совсем младенческими и прозрачными. Его мысли вспыхивали в зрачках ярче, чем его слова, и я видел их скорее, чем они воплощались в звуке.

— Вам ли это говорить, товарищ Угрюмов? Вы—боевой революционер. На ваших плечах—годы каторги, а на ногах—кандалы. Вам ли унывать и уходить в себя? Я не могу этого понять. Ведь это мне нужно бы распускать нюни: мне стыдно, что у меня—только паршивая ссылка, и мне приходится только валять дурака.

Он обезоруживал меня своей детской серьезностью и радостью, которая не умещалась в сердце. Его голова горела книжными вымыслами и сказками о небывалых подвигах и богатырях, которых не бывает в жизни. Он забывал, что революционер, это—непримиримая ненависть и безрадостное детство, что это—долгий путь мучительной борьбы, отверженности и бесправия. Я сказал ему об этом неясными словами, похожими на намек: я не хотел, чтобы он ушел от меня, отравленный обидой. Он тихо и грустно перебил меня:

— Ну, да. Я это хорошо чувствую: ведь я—из рабочей семьи. Мой отец—машинист. Он погиб при крушении поезда. А сестра у меня кончила только начальную школу, а сейчас—в ученьи у портнихи. У матери только и была одна надежда, это—я.

— Откуда же у вас такой радостный пыл? Вы—романтик, Архип.

— Радостный пыл? У меня-то радостный пыл? Вот уж не ожидал... Да мрачнее и злее меня, кажется, и человека нет. Я только и думаю о беспощадной борьбе, о кровавом восстании против господствующих кровопийц. Я знаю, что это—навсегда, и я не кончу, как все: живым я не сдамся.

В первые же дни разгорелись дискуссии в камерах, и эти дискуссии были сумбурны, крикливы, душни от толчеи и отравлены табачным дымом. Спорили до надсады, до хрипоты, до обалдения. Споры велись обычно между эсдеками и эсерами по аграрному вопросу. Уши глохли, рвались мозги от „социализации“, „муниципализации“, „отрезков“, „национализации“, „латифундий“, „парцеляций“...

— Ваши отрезки—это трусливый паллиатив. Это—реакционная утопия, с которой нужно бороться, как с самодержавием... Это—пошлость, которая выдает всю вашу беспомощность и убогость. Крестьянин—не нищий: он не хочет собирать кусочков. Мы не хотим пауперизации... Муниципализация, это—уже рабское подражание социализации социалистов-революционеров...

— Что такое? Мы, меньшевики,—реальные политики и никогда не шли на поводу у эклектиков. Муниципализация земли вытекает из реального соотношения сил современной деревни... Производительные силы страны... Мы—решительные противники вооруженного восстания... Большевики—не меньшие утописты с своей теорией захвата власти... Пора подпольного авантюризма, это—младенческая игра... бланкизм, который осужден историей... Организация сил вокруг Думы...

— Позор. Это—филистерство... Меньшевики, как и эсеры, в одинаковой степени капитулируют перед буржуазией. Только диктатура пролетариата и крестьянства является единственным лозунгом дня революционной борьбы. Вы панически бежите с поля битвы. Вы—изменники, пошлые ликвидаторы... Вы бессовестно предаете пролетариат за чечевичную похлебку... Принцип классовой борьбы для вас—только грязная тряпка...

Ералашь, угар, вытарашенные глаза, банный пот, бешенство, готовое взорваться свалкой.

С Праховым мы мучительно-нудно молчали. А когда глаза наши невольно встречались, у него вздрагивали веки и в зрачках были мутные капли. Митря был одинаково открыт и ему и мне. Когда Прахов разговаривал с ним, он был попрежнему прост и понятен, добродушно смеялся, болтал будничные вздор и возился с ним, как с кутенком.

Днем я редко видел Прахова. Сначала он ушел с головой в работу по организации коммуны. Пропадал в кухне: вводил там дисциплину среди поваров из уголовных, инструктировал дежурных, устраивал общие собрания по вопросам внутреннего быта.

В течение недели произошли большие перемены в секретной. Каждый день по утрам все были заняты чисткой камер и коридора. Из камер убрали параша, а на их место поставили крепко сбитые стульчаки с ведром в середине и отводной трубой. И уже не было нудного смрада в казематах, а по камерам и в коридоре долго пахло смолистым запахом новых досок.

Впервые за все время дурашливой толпой ходили в баню. Открытые белыми хлопьями мыльной пены и тающие в струях воды, все эти нагие люди казались не арестантами, а свободными обывателями, которые сейчас выйдут в предбанник, оденутся и, распаренные, разбредутся по своим домам. Я утопал в певучем гуле голосов, смеха, шлепанья ладоней по глянцевым телам и сам заражался бодрым весельем, дурил и забывал, что я—в тюрьме, что на ногах у меня—кандалы.

Прахов сильно изменился за эти дни: ссутулился, постарел, молчаливо смотрел исподлобья угрюмым, немножко одичалым взглядом, и скулы у него стали острыми, сизыми, а лицо—грязным, точно он

не умывался, и в морщинах на лбу и около глаз чернела застарелая копоть. И волосы будто не чесал: на голове они были кудлаты и сальны, а борода путана, в клочьях. Он ни с кем не говорил, не останавливался на зов — всегда был замкнут, деловит и сосредоточен на одной мысли. И уже не боролся с Замятым и не принимал участия в снежных свалках: он был один с затаенной, неумирающей болью. Я знал его боль, знал, чем он жил в эти дни, но был к нему равнодушен: ведь у меня тоже была боль, до которой нет ему дела. Может быть, для того, чтобы заглушить в себе эту боль, он взял на себя всю тяжесть хозяйственных и организационных дел в нашей секретной. И голос у него стал, как туго натянутая пружина: этот голос трудно было вынести — он давил, бил по нервам суровым убеждением и ледяным спокойствием.

Многие одобрительно улыбались ему вслед, а многие возмущались и, бледные от обиды, шумно ругались в его отсутствие. Потому ли, что Прахов был эсдек-большевик, и эсдекам была по душе его властная суровость, — большинство их стояло горой за него и насмешничало над недовольными:

— Прахов — молодец, крепкая голова. Плевал он на ваше самолюбие с высокого места. У вас нет даже мужества выступить против него открыто. Погодите, он вас быстро возьмет под жабры..

Эсеры и анархисты хотя и не действовали активно, но составляли дружный оппозиционный блок. Спорили обычно в камерах, и споры эти как-то взрывались сразу в разных местах. Кричали безалаберно, не слушая друг друга, и было похоже, что во всех камерах — бурные ссоры и склока, которые разразятся всеобщим мордобоем.

Однажды вечером, перед поверкой, Прахов вошел в камеру, слепой и мутный. Он остановился у порога, и мне показалось, что скрипнул зубами. В камерах была очередная горластая бестолочь. Он прислушался, дрыгнул раза два головой и ухмыльнулся.

— Вот, сволочи!.. паршивые скоты!.. мерзавцы!..

Он вышел в коридор и крикнул, наливая кровью лицо:

— Эй, вы, люди, — бунтари и скандалисты! Выходи и слушай. Живо, чорт бы вас подрал, лоботрясов!..

Крики оборвались и схлынули волной. Затопотали опорки, и железом рассыпались кандалы.

— Заявляю вам решительно и прямо, друзья и недруги. Вы этот свой гнусный заговор против меня оставьте. Режьте открыто в глаза, а нечего барахтаться подпольными крысами. Я знаю, чем вы дышите, милые товарищи. До тех пор, пока я — староста и выполняю возложенные на меня обязанности, я буду держать себя так и поступать так, как требуют интересы коммуны. А на ваши капризы мне начхать. Кого-то я обидел, кому-то не понравился, кому-то не сказал нежного слова, кто-то не выносит власти... Слабо, друзья мои. Вы хотите, чтобы я струсил и разыграл роль буржуазного министра: ах, граждане, вы выражаете мне недоверие — я слагаю свои полномочия. Я, голубчики, —

не из таковских и собачьей старостью не страдаю. А со всеми смутьянами и дезорганизаторами мы сумеем справиться по-революционному. Я все сказал — можете успокоиться.

Он повернулся с уверенностью человека, знающего свою силу, и пошел в камеру. Его шаги замерли в аплодисментах и криках.

— Bravo, Прахов!.. Молодец!..

— Позор!.. Долой диктатора!..

— Bravo!.. Завинчивай крепче, товарищ!..

— Долой!.. Позор!..

— Bravo!.. Это — хулиганство, товарищи... бездельничество...

С этим нужно беспощадно бороться... И Прахов — молодец... Так вам и надо, чертям собачьим... Эту анархию мы быстро вытравим, как заразу...

И теперь, как и в прошлые вечера, мы не смотрели друг на друга и елозили в собственных думах. Но впервые в эти ночные часы между нами завязалась новая тревожная связь.

Уже закутавшись в одеяло, он бросил мне на стол комочек бумажки. Она была грязная, засаленная и туго сложена острым треугольником. Я прочел слепые слова, нацарапанные карандашом:

„Родной мой! все силы уже истрáчены. Я надорвалась. Я — не для тебя. Слишком непосильную ношу я взяла на свои плечи: любовь к тебе раздавила меня. А кругом без тебя — такая тьма, такая могила, что не переносно жить. И я уже много дней умираю от мысли, что я тебе не нужна. Наши жизни несоизмеримы. Прости меня за то, что я не могла дать тебе того, что тебе нужно. Ты — слишком сильный, чтобы не тяготиться моим бессилием. Я уже не способна к сопротивлению. Благодарю тебя за то счастье, которое ты мне дал: я его не заслуживала. Ты же — достоин другой любви — могучей и не ломкой. Есть такие пороги, через которые не дано переступить. И я исчезаю с мыслью, что ты — за этим порогом. Забудь о неудачной осенней былинке, которая растоптана безвременьем. Но вспомни иногда о былой, горячей и жертвенной Наташе“.

Я опять тщательно сложил бумажку по прежним складкам в тугой треугольник, положил ее на противоположный край стола, около Прахова, и украдкой взглянул на него. Он лежал на койке вверх лицом и, закинув руки за голову, смотрел в потолок непотухающими угарными глазами. Он не заметил, а может быть, сделал вид, что не заметил, как я положил бумажку, и сказал обычным жестким и упругим голосом:

— Баба даже самая умная — только и есть, что баба: она всегда шагает только через глупость.

И голос его упирался и набухал где-то глубоко в горле, точно его душила икота.

Я ответил не сразу, рассеянно, сквозь зубы:

— Парадокс — тоже разновидность глупости. То, что для тебя просто и вызывает презрение, то для меня — сложно и вызывает раздумье и тревогу.

Он не отозвался и отвернулся к стене.

После свидания с Ольгой я уже не видал Дынникова. Вместо него на поверку приходил чистенький, надушенный, всегда свежее выбритый молоденький помощник. Он был всегда деликатен, предупредителен, с манерами щеголеватого офицера. Говорил тихо и бархатно, с едва заметными поклонами.

Сношение с миром было уже через Мизинчика. Когда он нагружал письмами свою пазуху или передавал их Прахову, сердито усмехался и бормотал в бороду:

— Пропадешь с вами, черти не нашего бога. Ведь закуют. А у меня — семеро с ложкой... В деревне — не при чем, а в городе кроме полиции и места не найдешь. Кто возьмет меня, такого чумного? Хуже волчьего билета.

Его давили тесной толпой и ласково хлопали по плечу.

— Ничего, ничего, Мизинчик, не робей. Это тебе зачтется. Дадим тебе самую лучшую рекомендацию. Да и зачем тебе итти на сторону: ты и здесь хорошо служишь революции.

Он делал свирепое лицо и орал на весь коридор:

— Ах, вы, шпана шилохвостая!.. Да я вас в бараний рог согну!.. Да я мокрого не оставлю в вашей революции... Да вы знаете, что я здесь поставлен для удушения крамолы?..

Все тормозили его и кричали „ура“. А он, довольный и грозный, смеялся глазами и уморительно шмыгал носом.

— А-а!.. то-то же... я вам покажу, какие бубны за горами...

Неожиданно я получил ошеломляющую записку. Она была без подписи, но Прахов сказал мне почему-то шопотом:

— Письмо от местных подпольщиков. Это — верно.

А письмо это было только из трех строк.

„Муха — под подозрением. Сведения от верных людей. Есть факты, но требуют подтверждения и проверки. Будьте осторожны“.

У меня дрожали руки и ноги, и в животе замирало, будто я летел вниз с огромной высоты. Не было ни людей, ни стен — была только густая пустота. Я лег на койку, но койки тоже не было, а только нестерпимая дрожь в руках и ногах. И странно: в душе было тихо и спокойно, и мысли были такие серые, будничные и совсем не об Ольге.

...Нет расчески — только обломок. Надо купить... Завтра — дежурство по кухне... У Немиловича — чахотка и кровь горлом: скоро умрет...

В коридоре надоедно орал Замятин. Он ходил, задрав голову, и все время выл, как заклятый. Те песни, которые волновали на воле, сейчас — ужасная пытка. Они выворачивали нутро и мяли мозги. И весь

этот день был только воем Замятина, и я не помню, какие были события, какие были встречи и разговоры. Может быть, я не обедал и не ходил на прогулку. А может быть, все это было, но делалось само собою, без участия моего сознания.

Ночью я проснулся от собственных стонов. Гаснущие образы сна были потрясающи и ужасны. Сердце билось редко и больно. Это была обреченность приговоренного к казни. А сон был простой и прекрасный, как картина большого художника. Но что-то в нем было страшное и отвратительное.

...Поле горит весной. Ядреная, золотая зелень и цветы — множество белых и желтых цветов: все ромашки, сурепка и одуванчики. И лазурь тает теплым ветерком. А по цветам ходит Ольга в длинном белом платье. Оно спускается сплошным полотном от плеч и теряется в зелени и цветах. Ольга стоит неподвижно, опустив руки, точно неживая. Я тоже стою неподвижно и очарованно смотрю на ее лицо. У нее — огромные провалы вместо глаз, а вместо ресниц — дождевые черви. Я хочу спрятаться в траве, спастись от Ольги, но не могу. Я — во власти нечеловеческой силы, которая непреборима и которую нельзя объяснить никакими законами. Потом Ольга начинает медленно плыть ко мне. Я слышу, что вместе с нею льется тихая милая песня. И будто не она поет, а все зеленое поле в цветах. Я хочу крикнуть от ужаса и — не могу. Я задыхаюсь и падаю в безнадежности.

В коридоре шаркали шаги, шелестел воровской шопот и откуда-то издалека наплывали тревожные волны, и эти волны ощущались не слухом, а всем нутром.

Смертники.

В страхе и смятении я встал с койки и, придерживая кандалы, засеменял к волчку. Мне почудилось, что отворилась входная дверь и опять затворилась. Я приложил ухо к волчку. В коридоре была сонная тишина, и где-то далеко певуче цыкала редкая капель. Я опять пошел назад, наклонившись над кандалами и не выпуская их из рук. Прахов не спал и смотрел на меня с тревожным и немим ожиданием.

Последнее свидание

Ольга вошла не так, как в прошлый раз. Она быстро влетела, облитая прежней сияющей улыбкой радости, и глаза ее были, как всегда, широко открытые, чистые, утренние, как капли росы.

Перед нами, опираясь на проволочную сетку, стоял чистенький, тщательно выбритый помощник, похожий на молоденького офицера. Он с холодной вежливостью встретил Ольгу едва уловимым поклоном. Ольга даже не взглянула на него и, с неугасающей улыбкой, протянула мне руку.

— Ты сердишься на меня за прошлое свидание? да? Это — хорошо с твоей стороны. Я была больна, и ты этого не заметил. Это — плохо, что у тебя нет чуткости. Теперь же вот видишь: я сама

тебя вызвала. Только уж не надо ни ругаться, ни упрекать друг друга. А тем более сомневаться друг в друге. Я тебе должна сообщить следующее: меня отправляют обратно. Очевидно, привлекают к суду.

В ее глазах, таких прозрачных и распахнутых, не было ни тревоги, ни притворства. В них искрилась только радость и вспыхивала та, свойственная ей, внезапная улыбка, которая бывала только в редкие минуты возбуждения.

— Я не вижу причин особенно ликовать по этому поводу, Ольга. Ведь кроме каторги ты ничего не получишь.

Она откачнулась от меня в смешливом изумлении.

— Мне говорят, что я похожа на Софью Перовскую. Ты не находишь этого?

И засмеялась.

В первый миг этой встречи я опять готов был броситься к ней на шею: эта улыбка, которая светилась еще издалека, от самых дверей, побеждала меня, и все мои сомнения и муки сгорали в ней, не оставляя явля. Но этот неожиданный смех вдруг испугал меня. В нем было что-то такое, чего я не слышал никогда. Этот смех вызвал улыбку на усиках щеголеватого помощника, но в душе у меня что-то провалилось и заняло мутной тоской.

— Что с тобой? Мы, кажется, меняемся ролями в это свидание. Какой ты злопамятный! Не надо сердиться.

— Я не сержусь, Ольга. Мне только приснился очень скверный сон.

— Ну, вот. Выходит, что сон—в руку. Ты хочешь сказать, что этот скверный сон—к худу. Нечего сказать, удружил.

И опять я испугался. Эту болтливость я заметил у нее впервые. В ней было что-то чужое и оскорбительное.

— Я видел тебя во сне, Ольга... с пустыми глазами. А потом будто получил письмо, в котором было только два слова, которых я не помню, но значение их ужасно.

Она в упор врезалась в мое лицо застывшими глазами, и, сквозь окоченевшую улыбку, через вздрагивающие веки, в зрачках запрыгали тонкие иголки.

— Ну, и что же? Какой же скрытый смысл во всем этом?

— Нет, какой же тут смысл? Просто скверный сон, и больше ничего.

Она с затаенной враждой стала ощупывать меня прищуренными глазами.

— Ко всякому скверному сну надо относиться с особой осторожностью. Сон всегда—прошлое, а не будущее. Вопреки рассудку, сон всегда создает ложь из самой настоящей правды. Это будто бы утверждает Бергсон.

Помощник рассеянно ходил вдоль сетки, курил, держа папироску наотлет и смахивал пепел мизинцем. И в тот момент, когда он сделал около нас военный поворот на каблуке, я сунул Ольге записку—ту

самую, которую я получил накануне. Она мгновенно и жадно вцепилась в нее глазами, и грудь ее поднялась от судорожного вздоха. И в тот же миг она крепко зажала бумажку в руке.

Веки и губы у нее дрожали, и я опять увидел, что у нее—пустые глаза. И не знаю, почему, я почувствовал больно и непоправимо, что передо мною—не Ольга, а этот образ кошмарного сна. Не Ольга, а страшный призрак—убийца под личиной невесты. А что, если это она надела на меня кандалы? Что, если эти несколько лет каторги были приготовлены мне первыми ее поцелуями? Как примириться с этой чудовищной нелепостью? Я был болен в эти дни, болен и в эти минуты нашего свидания. От кого исходила эта злополучная записка? Кто-то знал меня в этом далеком городе, кто-то знал и Муху—ее, Ольгу,—чтобы выделить нас из массы тех, которые заперты в казематах. Я сидел перед ней, больной и разбитый, и не мог посмотреть ей в глаза.

Она натянулась, как струна, и вздохнула, и в улыбке ее, мертвой как маска, было огромное напряжение воли.

— Ты знаешь, кто это?

— Откуда мне знать? Для меня это слишком неожиданно.

— Это—кто-то из Гельчеров. Подозрение падало на одного из них и на обоих вместе. Самый пошлый, избитый прием, который, к сожалению, еще не потерял эффекта, это—направить следы по ложному пути. Я очень рада, что возвращаюсь на место. Я сумею разоблачить эту мерзость. Скажи мне, что ты думаешь сам.

— Не знаю.

Иголки опять сверкнули в ее глазах. Она откинула голову и взглянула на меня сверху, с брезгливым презрением.

— Ну, хорошо—не настаиваю. В эти гнусные дни—в дни самой подлой реакции—реакции внутренней,—когда люди сходят с ума, нужно быть готовым ко всему. Предатель мерещится даже в любимом человеке. Потому что предатель сидит прежде всего в самом себе. Всеобщий крах, всеобщее ликвидаторство. Нужно иметь железные нервы, стальную голову, каменное сердце, пустые глаза—да, именно, пустые глаза,—чтобы выдержать этот ужас. Не только тебе тяжело: я страдаю невыразимо.

Она поднялась и, не подавая руки, не прощаясь, даже не глядя на меня, пошла к двери. Потом споткнулась на шаге и оглянулась, но глаза, тусклые и мертвые смотрели мимо меня. Это была не Ольга, а враг, который ненавидел меня и презирал навеки.

— Я не хочу убеждать тебя. Думай обо мне, как угодно. Это—твое дело.

Уже не было ни смятения, ни боли внутри, а какая-то безразличная туманная пустота. И совсем не кстати, помимо воли, сами собою сказались последние слова, и эти слова я не ощутил в себе, а слышались они откуда-то издали:

— Ты, Ольга, не беспокойся... Я верю... Все образуется...

Она опять обернулась и бросила сквозь зубы мимо меня, в решетку:

— Стыдись.

И ушла. И не оглянулась больше.

П р о в а л

Утром, когда мы, по обыкновению, пили чай, вошел молоденький помощник и чопорно кивнул каракулевой шапкой.

— Доброе утро, господа. Будьте любезны, господин Прахов, пожаловать в контору: там до вас есть экстренное дело.

Прахов встал и взглянул на меня пристальным, паническим взглядом. Потом усмехнулся в бороду и отвернулся к койке. Обычными неторопливыми движениями он напялил на себя свой длинный пиджак и хлопнул шапкой по ладони.

— Ну, вот. Готово.

И непонятно было, что он хотел сказать: напился ли чаю, или пришел для него давно ожидаемый решительный час. Опять взглянул на меня пристально, и глаза его вдруг налились криком о помощи.

— Ну, пошел. Обязанности старосты пока возьми на себя, Угрюмов. Распредели дежурства и просмотри отчетность. Понаблюдай за кухней.

Он прошел быстрым тяжелым шагом мимо помощника и скрылся в коридоре.

Митря ел хлеб и запивал его чаем с бездумной беззаботностью. К столу я больше не подходил и в тревожном предчувствии бродил в пролете между коек.

— С нашим Праховым случилась беда, Митря.

Он испуганно посмотрел на меня и подавился хлебом.

— Неужли ж опять голодовка будет?

— Не знаю. Может быть, и будет.

Он весь повял и обрюзг.

— Опять, видно, накуралесили, идола. И чего это вы гузном трясете, галманы? Чем вас обидели? Осина-борона! Жрешь—сиди. Открыли двери—тряси портками и молчи. Мордой не крути и других не доводи до греха.

Меня щекотал смех, а в мозгу ползала едучая мысль: как мы были глупы в своей надежде на революционный пыл мужика! Мы всем не знали этого нашего деревенского союзника, и много еще придется принести жертв, чтобы узнать его и заставить пойти за собой. Через его необозримые поля должна пройти огненная буря, чтобы сжечь его тысячетных домовых, разворошить его первобытные капища и навсегда уничтожить его избяной покой. Я не мог говорить с ним: не было общего с ним языка. Но мне неудержимо хотелось сделать ему больно, чтобы вызвать в нем злобу и бунт. И ничем, кроме обмана, я не мог испытать его.

— А ты знаешь, Митря, что хотят сделать с тобою и Праховым?

— Со мной нечего делать: я—теленочек.

— А вот я погляжу, какой ты будешь теленок. Разве ты тоже был теленком в аграрных бунтах?

— Ну, осина-борона... Тогда я был хуже барбоса. Это—верно. Копыта у меня были телячьи, а башка—собачья.

— Вот денька через два я погляжу, какие у тебя будут копыта. Прахова уже, кажется, повели. А теперь—очередь за тобой.

Он недоверчиво улыбался, но глаза уже лопались от страха.

— Это... чего же, осина-борона?.. Потяни меня за хвост, а я тебя— за пупок... Мели на все поставы—помол недорого стоит.

— Можешь не верить, Митря,—дело твое. Но вас, аграрников, здесь два-три и—обчелся. Какая вы сила? А бунтари вы известные. Так вот вас и хотят закандалить на всякий случай. Ты этого и не знаешь, а Прахов все пронюхал и стал за вас горой.

Он стал вдруг маленький, грязный, с трупным налетом в лице. И в глазах, покрытых слизью, кровавой каплей темнела тоска.

— Ну, не ври, чортова кукла! Что больно высоко кукарекаешь? Дурее тебя, что ли?

— Как хочешь. Потом не говори, что тебя водили за нос. Я тебя предупредил, а там не пеняй. Видишь, Прахов передал мне и обязанности старосты. Для чего? Для того, чтобы в случае надобности организовать сопротивление. Не знаю, чем кончится этот день, но думаю, что будут большие события.

Он заплакал улыбкой, силился что-то сказать, но давился и не мог прорвать клокотавшую хрипоту в горле.

— Ну, так что же теперь делать-то, браток? а? Как же быть-то?

Я спокойно положил перед ним крепко сжатый кулак и сказал тоном приказания:

— Этого нельзя допустить. Мы будем бороться до последних сил. Раз нам объявлена война—будем воевать. Гамузом. Голодали гамузом—добились своего. И теперь будем бить дружной артелью. Мы возьмем свое—не беспокойся. А отобьешься от артели и будешь куксить—загредишь кандалами. Понял?

Не знаю, заразил ли я его искренней правдоподобностью своей лжи, или он ослеп от отчаяния,—он вскочил, как безумный, и начал метаться в проходе, между мною и столиком, натываясь на койки, на меня, на табуретку и путаясь в собственных ногах.

— Бить буду, сволочи... кусаться буду... как бешеная собака... Умру—не дамся... Кости ломать—так кости ломать... Нам—не впервой бунт... Все одно пропадать—бей!.. Булгачь народ—сам вожаком пойду...

А я наслаждался его буйным припадком и был в восторге от своей, удачно сыгранной, роли. Прахов не умел подойти к нему, а я вот на мгновение сделал его человеком. Достаточно только одного взмаха, чтобы взорвать сердце бурною кровью.

Я взял его за плечи и так же спокойно и властно посадил на табуретку.

— Теперь слушай, Митря: об этом пока никому—ни слова. От этого зависит все. Надо взять себя в руки и ждать, что будет дальше. Остальное предоставь делать мне. Сядь и успокойся.

— Я сейчас, браток... за этого Прахова... за родного человека... в огонь и в воду пойду... на нож полезу, осина-борона!.. Ведь вот он какой человек...

Я вышел в коридор и деловым перезвоном кандалов заглушил шорохи, бездельные голоса и скучающие утренние песни товарищей.

Прахов не возвращался.

Была дообеденная прогулка. В снежной борьбе, как и в яро-шлые дни, задыхались от ребячьей бестолочи. В метельной будораге слепли глаза от обжигающей огненной пыли, пыль таяла на лицах и стекала ручьями со щек, со лба, и горячая кровь в горлодере и хохоте враждовала с морозом.

В час обеда вместо Прахова около куба с горячими щами стоял я рядом с дежурными по кухне. И только теперь, когда люди нанизывались друг на друга длинными хвостами около стен—и вправо и влево—с деревянными чашками,—только теперь с разных сторон с праздным любопытством, равнодушно срывались вопросы:

— Где же наш Прахов, туды его горой?

— Что же это он? Начинает уж на манер патриарха-организатора? Не хочет спускаться к народу?

И пересмех и переклик от скуки и давки, от неустоявшейся крови после прогулки.

После обеда, когда бак с остатками пищи и грязную посуду сволокли в кухню, я вышел в коридор и крикнул в один и другой конец:

— Товарищи, на экстренное летучее собрание. Выползай скопом. Продолжительность заседания—пять минут.

Как и всегда, на собрания высыпали из камер охотно: это были минуты, когда каждый приносил с собой прошлое. Были когда-то ночные собрания, были когда-то митинги и массовки, а теперь они вспыхивали в коридоре тюрьмы в докладах, прениях и голосованиях. Стены исчезали и забывались арестантские будни.

Так и теперь: коридор затолпился и зашугал в мою сторону и справа и слева. И оттого, что все сгрудилось, подпираясь плечами, и густо толпились кругом и так же густо рокотали месивом голосов,— все дышали настороженностью, ожиданием и нетерпеливыми порывами. И сразу же из общей спутанной неразберихи, зараженные друг другом, закричали вперебой, вперекрик:

— Какого же чорта Прахов?..

— Почему в отсутствие Прахова? При чем тут Угрюмов?

— Тише, товарищи!.. В чем дело, Угрюмов?

— Тут что-то, друзья, неладное... Я, брат, это сразу почувал...

— Прахов... Угрюмов... Тише!.. К порядку, товарищи!.. Избрать председателя...

Архип смотрел на меня влюбленными глазами и волновался. Он почему-то высоко поднял руку и, захлебываясь от восторга, крикнул левуче, с икотой:

— Товарищи, предлагаю в председатели уважаемого товарища Угрюмова...

И его крик сразу же смяла бестолковая свалка голосов:

— Почему Угрюмов?.. Много таких уважаемых... Эсдеки всегда ведут захватную политику... Лукина—в председатели... Эсеры похлеще эсдеков выставляют примат своей личности...

Архип не опускал руки и никак не мог побороть своего сердца.

— Я—к тому, товарищи... Здесь нам спорить не приходится... Стыдно кричать о местничестве... Я—к тому, что товарищ Угрюмов не проста... у него—какое-то важное заявление...

Смех. Возня. Вскрики, похожие на щипки.

— Это еще что за пифий?.. Он еще гоняется за воронами... Ну-ка, Угрюмов, кажи, с какого боку ты уважаемый...

Архип сконфузился, скраснел, обиженно вздрагивая и озираясь затравленным.

Я тоже поднял руку, призывая к порядку, и сказал спокойно, но с видом человека, которому известно то, что им не дано знать:

— Товарищи, я должен предупредить вас, что необходимость этого экстренного собрания вызвана особым тревожным обстоятельством. Прахов был вызван в контору еще утром, и до сих пор не возвратился. У меня есть все основания думать, что с ним произошла катастрофа. Нам нужно приготовиться и реагировать на это событие организованно и решительно.

По толпе плеснулась изумленная растерянность и застыла тишиной.

Замятин вывалился из гущи толпы и закадычил, раздувая ноздри:

— Вот что, друзья. Кажется, опять мы—накануне веселого праздника. Праздник—дело необычное и справлять его нужно с особым вкусом. Я—любитель всяких ядерных праздников. Разрешите мне быть председателем по этому исключительному случаю.

Кто-то засмеялся пицкливо и осекся. Прошелестели улыбки. Но тревожное любопытство сейчас же смыло их с лиц.

Не ожидая, что скажет толпа, он только оскалил зубы и брякнул кандалами.

— Нет возражений?

И сразу же ответил сам себе:

— Нет. Единогласно. Послушаем, что еще скажет нам Угрюмов (а у самого—хитрая, знающая гримаса). Валяй, душа моя. Тебе внемлет напряженный слух испытанных борцов и ветеранов революции.

Я кратко сказал, что Прахову грозит или смертная казнь или долготлетняя каторга. О причинах этого я нахожу нужным пока умолчать. Есть только три выхода из этого положения: или он будет отправлен в свой город, или водворен опять в нашу секретную, но изолирован, или, наконец, возвратится в первоначальное состояние. Что мы должны делать? Если его изолируют вместе со смертниками или в другом корпусе, в подвале (других изоляторов нет), мы не должны заходить в камеры и потребовать, чтобы его всдворили обратно в свою камеру.

Все стояли неподвижно и замкнуто. Я видел множество глаз, но они не смотрели на меня и прятались друг от друга. Даже Замятин крутнул головой и щелкнул языком.

— Да, это называется уравнение с тремя неизвестными. Кто предлагает решение? Впрочем, одно решение предложено Угрюмовым. За вами слово, доблестные ветераны. Прения — по боку.

Кто-то робко промямлил:

— Как же так? Дело пахнет кровью... Надо обсудить... Это — не шутка.

Архип поднял руку и получил слово. Пылающий, весь в полете, он крикнул призывно:

— Товарищи, в этот критический момент нельзя рассуждать. О чем мы будем спорить? О том, выступим ли мы на защиту товарища или нет? Разве из вас найдется кто-нибудь, который сказал бы: нет, мы умываем руки — пусть гибнет Прахов? Конечно, наоборот. Тут может быть только одно решение: бороться до конца, даже ценою собственной крови. Я первый буду идти впереди всех. Я — за предложение товарища Угрюмова.

Все были немые, с слепыми лицами и угрюмой тревогой в сдавленных шопотах. Кто-то крикнул рваным голосом:

— Дело ясное, Замятин. Голосуй.

И этот голос вдруг прорвал пленку, которая отделяла их от меня и друг от друга. Все закричали наперебой, сумбурно, проталкиваясь в передние ряды, не слушая никого и пьянея глазами.

— Я не понимаю... Это — безобразие... Позвольте, товарищи... Я требую... Голосуйте!.. Дайте мне слово... К чорту — валяй!.. Голосуй!..

И совсем неожиданно забултыхался около меня Митря, и, надрываясь от непослушных и непосильных слов, замахал руками:

— Да за милого брата, за Прахова, я — в огонь и в воду полезу, кишки порву... Зубы буду дробить... Что вы, осина-борона?.. Прахов иди за других, — за нас, чертей, — в пропастину... Прахов и то и се... и волку — в зубы, и к кобыде под хвост, а мы ему — на хребтуг... да, мол, лежачего не бьют... В харю за это всякого прокурата... Сейчас Прахова — на веревку, а за ним — меня на веревку... Труску веруете, галманы... Рваться — так рваться... миром... Что же это, братцы? а? с ума сойду, а не убью души...

Он засморкался и захлопал глазами, стряхивая угарную муть.

— Помощник идет.

Толпа колыхнулась, но сразу же успокоилась. Все по привычке сделали вид, что не заметили начальства. Замятин опять оскалил зубы:

— А ну-ка, друзья, мы сейчас сделаем интерpellацию...

Помощник—тот же, молоденький—подошел с офицерской молодцеватостью и приложил руку в перчатке ко лбу.

— Здравствуйте, господа. У вас, очевидно, собрание. Я—к вашим услугам.

Чисто выбритое лицо его цвело морозным румянцем, и весь он дымился уличной свежестью.

Смешливый мальчишечий зуд, как щекотка, подмывал меня схватить его за нос и поводить по коридору. А Замятин с улыбкой рубахи-парня весело кадыкнул ему:

— Весьма польщены вашей необыкновенной предупредительностью, монсеньор. Хотя знать любопытно, какого рода услуги вы изволите оказать нам.

Помощник улыбался морозным румянцем и весь растворялся в готовности выполнить все наши желания.

— Я, господа, далек от мысли ставить вам на вид то обстоятельство, что вы устраиваете собрание без присутствия администрации. Я—не формалист. Это будет между нами. Я предлагаю вам свое посредничество.

Кто-то крикнул из задних рядов:

— Лиса—самый опасный зверь: она—слишком тонка в обращении и любит посредничать.

Архип подталкивал меня плечом и волновался от нетерпения:

— Говорите, товарищ Угрюмов.

Необычно отчеканивая слова, я спросил криливо и жестко:

— Нам хотелось бы знать, что случилось с нашим товарищем, старостой Праховым? Отвечайте прямо и открыто.

Помощник конфузливо опустил глаза и улыбнулся. Эта улыбка была тоже опрятная, чистенькая, готовая ко всякому случаю.

— Я ничего вам не могу сказать, господа. Мне ничего не известно.

Я перебил его тем же крикливым голосом:

— Вы лжете. Вы не можете не знать, где он: здесь или вне тюрьмы. Вы, как дежурный, обязаны быть в курсе дела.

Он немного сбледнел, но не нарушил своей молодцеватой выдержки.

— Я, господа, не хочу получать от вас незаслуженных упреков. Если бы мне была известна судьба Прахова, я бы немедленно сообщил вам. Я одного желаю—жить с вами в дружбе и взаимном доверии. Знаю я только одно, что Прахова в тюрьме нет.

Я насмешливо поклонился ему и проговорил с актерской кудреватостью:

— Я не имею смелости, мосье, утруждать вас больше своими вопросами. Ваши обязанности столь тяжелы и почтенны, что мое праздное любопытство усугубляет их трудность и ответственность вашу перед незыблемыми законами... кровавого режима...

Я не кончил, сброшенный с своей позиции взрывом горластого хохота. А Замятин, раздувая ноздри до белизны, отмахнулся от меня в веселой беспомощности.

— Ведь вот какой подлец, а? Государственный у тебя ум, Угрюмов.

Архип стоял около меня, потрясенный, нетюремный, и тербил меня за рукав.

— Но надо же решение... Товарищ Угрюмов... Мы совсем не договорились. Я не могу дальше... С этим шутовством я не могу согласиться...

Мы переглянулись с Замятиным и поняли друг друга: продолжать заседание больше было нельзя.

— Ну, товарищи, все—ясно. Расползайся по своим норам. Надо всхрапнуть после обеда. Финис коронат опус.

И Замятин по-военному приложил ладонь к уху и выпалил в лицо помощнику, отрубая каждое слово:

— Честь... имею... кланяться, пенитенциар!..

В глазах у помощника дрогнула растерянная улыбка, но он владел собою с прежней предупредительностью и чопорным достоинством.

Через толпу ползающих по коридору людей мы пошли с Архипом к последней камере. Меня останавливали товарищи и смотрели тревожными, недоуменными глазами.

— Ну, так как же, Угрюмов?.. Ведь вопрос-то остался нерешенным, а? Что же делать?

— Решим по камерам.

— А ведь начальство-то сторожит... Пронюхало, чорт возьми... Знает, что даром не пройдет.

— Вот что, Угрюмов: как бы не промахнуться... Дело не шуточное... Как бы не грохнуть авантюрой...

А иные с озорными глазами шептали заговорщиками:

— Ударим, товарищи... обязательно... Надо пополировать кровь... Сердце чешется: надо что-нибудь выкинуть, а то начинают заедать обывательские будни. Сплетни пошли друг о друге... Ерунда.

Немилович лежал на койке, попрежнему маленький, высохший, но важный в своей сизой бороде. Лицо его окостлявилось и омертвело еще больше, и руки стали длинными, узкими и прозрачными, в синих прожилках.

Архип первый подошел к нему, сел на край койки и любовно погладил ему руку.

Немилович глядел на нас мерцающими глазами, с жаром одержимого в зрачках, и радостно дребезжал смехом. И смех прежний—рваный, с придыханиями, немного хриплый. В груди у него что-то хрустело, всхлипывало и пищало.

— Вот этот юноша не забывает меня... юноша, полный даров и возможностей. Он—неугасим от внутреннего огня... хотя может сгореть в некий день даже мгновенно. Мы с вами все ссоримся, Угрюмов... Это—тоже неплохо, но это уже—с другой стороны. Право, я люблю остроту жизни... во всех ее напряжениях.

С обычной своей неласковой насмешкой я отмахнулся от него:

— Давайте, Немилович, не философствовать. Это—скучно и бесполезно. Колокольное ботало называется языком. Неспроста. Люди любят посмеяться над собой.

Архип с упреком взял меня за руку.

— Товарищ Угрюмов, вы тоже философствуете...

Немилович засмеялся и уткнул в меня длинный прозрачный палец.

— Да, да... он тоже философствует... Он безуспешно борется со своими стихиями. Ибо он знает, лукавец, что язык колокола и язык человека, это—благовестие, т.-е. та же философия.

Я сделал вид, что не слушаю его, и перебил с тревожной серьезностью:

— У нас опять пахнет событиями, Немилович. Прахова из'яли утром и куда-то увезли. Что-то нехорошо. Придется реагировать.

— Вот и прекрасно... и превосходно...

— Что же прекрасно? события или несчастье с Праховым?

— Это—все равно. Несчастье—тоже событие. Жизнь не терпит покоя.

Архип смотрел на него жадными глазами любознательного ученика. Волнуясь, он робко спросил его, как мудрого учителя:

— Товарищ Немилович, мы считаем необходимым предупредить вас и узнать ваше мнение. Нужно ли нам выступать? Одобряете ли вы наше решение—требовать возвращения Прахова в свою камеру, если его изолируют? Не будет ли это напрасная жертва? А столкновение—возможно и, может быть, сегодня.

Немилович пожимал руку Архипа, улыбался и лепетал, как младенец:

— Превосходно... прекрасно... Не статика, а—динамика. Чем ни больше событий, тем больше организованного опыта... Ибо комплексы восприятий... диалектика энергии жизни...

Я встал и быстро вышел в коридор.

(Окончание следует.)

Из „Туркестанских стихов“

НИК. ТИХОНОВ

Полустанок в пустыне Кара-Кумы

Так вот ты какая...
Направо—жара, солончак, барханы,
Налево—бархан, солончак, жара,
Жара—окаянная дробь барабана—
По всем головам барабанит с утра.

Тут жизнь человечья особой породы—
У ней как у соли—хрустят галуны—
Отсюда до бешенства—полперехода,
Отсюда до города—как до луны.

Кого обыграть между играми пыли?
Куда пойти в песчаной тюрьме?
Любить, но кого же?—Поставить бутылки
И пуля за пулей по ним греметь.

Когда паровоз из сумрака чалого
Рванет полустанок, сорвет с якорей—
Прохлада седьмую минуту качает
Людей и дрова на дворе.

Здесь главная служба—сидеть, потеть—
Когда ж человек отпотеет впустую—
Он вытянет ноги в пыли, в желтоте—
Вселенная—я протестую.

Я все согласен терпеть: петь
Охрипло стихом разбитым—
В сродяги зачислиться, голода плеть
Жевать и хвалить с аппетитом—
Но все это, все это взыщется
С тебя, мелкоробрая хищница.

Но вечная эта жаровня сквозная
Но этот громоздкий, песчаный ад,
В котором неслышно тела трещат—
Куда он ведет—не знаю!

Танакино счастье

Из „Морских Рассказов“

И. СОКОЛОВ-МИКИТОВ

Этот был маленький, сухой, с черными, жестко пробивавшимися на круглой стриженной голове, редкими волосами, крепко сбитый, желтолицый человек. Он умел хорошо улыбаться,—тогда около его темно-лиловых глаз собирались сухие морщинки,—и смешно говорил, цепко размахивая руками и мешая русские, английские и японские слова. Кликали его кратко: Танака.

На пароход он поступил в Кобе, где по пути из Южной Америки неделю стоял пароход, и матросы ходили на берег знакомиться с маленькими, смуглыми и веселыми женщинами, дарившими им на память свои фотографические портреты. Он быстро и сметливо вошел в круг судовой жизни; на работе был ловок, смекалист и молчалив, в обиходе—внимателен и чистоплотен, в еде—спартански воздержан.

В кубрике, среди русских, он был одинок и, бог ведает почему, русские его недолюбливали. Койку он занимал верхнюю над непутевым и беспорядочным Хитрово и, как у девушки, было опрятно его светло-розовое тканьевое одеяло. Всякий вечер, после работы, он ловко бегал по палубе на своих деревянных скамеечках-туфлях, долго и старательно мылся в горячей ванне и в кубрик возвращался свежо пахнущий баней, с перекинутым через плечо полотенцем. Он подолгу в одном белье сживал на койке, подобрав под себя ноги, тихонько покачиваясь, и под белой вязаной рубашкой крепко желтели его руки и короткая шея. Случалось, улучив минуту, к нему с обезьяньими ужимками подкатывал Хитрово и говорил, шутовски тасуя английские и хохлацкие слова:

— Гив ми уан шиллинг грошей, а я тоби в четверг отгиберую...

И Танака, собирая морщинки у глаз, голой желтой рукою доверчиво искал под подушкой свое портмоне, вынимал и клал в руку Хитрово белую монетку.

— Тенкю! ¹⁾—отвечал Хитрово, принимая монету и выкидывая фортель.—Есть хлопцу ка полрюмашки..

¹⁾ Спасибо.

Тропики проходили в октябре. Днем жарко палило солнце, и зелено-палевый недвижно лежал океан. Иногда океан просыпался: стеною проливался над пароходом дождь; свирепо бушевал и ревел, перекидывая через трубу соленые брызги, тайфун.—В Коломбо матросы сходили на берег, пили с ледяной водой уиски, катались на рикшах. В Джедде в помощь кочегарам, изнемогавшим от зноя, приняли на пароход туземцев. В Александрии матросы и кочегары слонялись по Тартушу, где длиннорукие, черные, пахнувшие касторкою женщины с порогов маленьких домиков цепко срывали с проходивших мужчин фуражки и зазывали матросов на всех языках мира.

В карты начали играть еще в океане. В кубрик по вечерам закахивал боцман, присаживался бочком на скамейку, и на столе появлялась колода. Как водится, играли в „очко“, и тогда до позднего часу в кубрике плавал и колыхался над столом и стриженными матросскими головами синий табачный дым. Катались и звенели по столу деньги. Те, кто не хотел играть, и у кого не было денег, лежали на койках, спали, или в одних рубахах выходили на палубу, где чуть подувал теплый ветер, и по темно-синему небу густо рассыпались холодные звезды. Слышно было, как смеется за бортом вода, как хрипит в черной трубе пар. Белеясь рубахами в синей темноте, матросы подходили к борту и глядели вниз, где все загорались, кипели и волоклись за пароходом редкие светло-зеленые огоньки.

Случалось, постояв на палубе, Танака подсаживался к играющим и, подобрав босые ноги, долго и внимательно смотрел на стол большими, темными, близорукими глазами.

— Сыграем, Танака?—в шутку приглашал его банкомет, выкидывавший на стол карты.

— Деньга мало!—отвечал он, почесывая голые локти и скалясь.

— Ну, мало,—дразнили матросы.—А ты из-под подушки достань!

— Дома, дома, дома!—воскликнул Танака, смеясь и показывая крупные, желтые зубы.—Понимай? Жена хорошо. Большой дома! Танака ходи, ходи! Ол-райт!

Его слушали, посмеиваясь, занимаясь своим. Вечно злой, нездорово-грузный и всегда голодный Бабела, игравший по маленькой и ко всему относившийся с насмешкой и завистью, щурясь заплывшими глазками, замечал зло:

— Мошна толстая.

— Мошна! Мошна!—скалясь и сгоря морщинки, повторял Танака понравившееся слово.

Изредка он закахивал в кочегарский кубрик, где помещались его земляки, черные, узластые люди, своим поведением мало походившие на скромного и трезвого Танаку. Они буйно пили, носили в карманах складные испанские ножи, и при ссорах ужасно было на них смотреть. Танака сбрасывал с ног деревянные подбирал на скамью пятки, и они долго беседовали гортанными громкими голосами. Однажды в кочегарском кубрике произошла ссора. Драку затеяли Танакины земляки,—

они жестоко, через привинченный к палубе стол, резались ножами и одному, самому из них пожилому, похожѐму на большую седую обезьяну, выпустили кишки. До берега он лежал забинтованный, темный под желтизною кожи, и непрестанно шевелил черными запекшимися губами.

Весь долгий рейс Танака был строг и подвижнически воздержан. В Коломбо, в Александрии он не истратил ни единого пенса, в пути был скромн и молчалив. К концу рейса все в кубрике знали, что у него в Японии осталась семья: жена и маленький сын, что он много лет плывал на каботажных японских пароходах, где платили по пятнадцати иен в месяц и кормили затхлым рисом, что мечта его жизни — скопить немного деньжонок и приобрести рыбацье судно. У берегов его родины много ловится рыбы, и такие легкие и веселые глядятся в воду хижины из бамбука и бумаг! И разве много надобно здоровому и веселому человеку, чтобы спокойно и счастливо любить семью...

Неведомо почему недолюбливали в кубрике Танаку. Быть может, скрытую причину тому была память японской войны, быть может, — более близкие времена: часть матросов были владивостокцы. И потому что его недолюбливали, что нет во мне и капли недоверия к чужому дальнему человеку, что когда-то, засыпая, я клал под подушку одетые в желтую кожу „Записки флота капитана Головнина о приключениях его у японцев“, — этот маленький, желтый, сколоченный крепко, и неприлично-деликатный человек мне очень пришелся по сердцу. И, угадывая мое расположение, он был со мною более, чем с другими, доверчив и прост. На работе, когда требовалось быть вдвоем, „на пару“, как говорили матросы, — он подходил ко мне и манил пальцем. Мы подолгу болтались за бортом на одной подвеске и, свесив забрызганные суриком ноги, он под нос мурлыкал свои непонятные песни. Однажды, после работы, чистый, пахнувший баней и мылом, он подсел на мою койку и, добро улыбаясь, подал прозрачный конверт. В конверте был портрет маленькой, одетой в кимоно, женщины с раскинутыми, как ласточкины крылья, черными, узкими бровями, с высокой твердой прической. В тот вечер на палубе, путаясь в словах, он долго рассказывал мне о своем заветном. Он жмурил и открывал глаза, жестикулировал и что-то считал на пальцах. И так выразительно блестели его глаза, так были дружелюбно-доверчивы прикосновения его крепких рук, что я без слов понял все. Я понял, что он хотел поведать мне про маленький бамбуковый домик, про зеленое море, игравшее при месяце береговой галькой, про высокие горы, похожие на огромные колпаки из серой бумаги. Маленькая женщина ожидает его, и сердце ее бьется заодно с его сердцем... За десять лет службы он скопил кое-какие деньжонки, и надо прослужить еще два года: русские платят щедрее. Тогда он купит судно с желтыми парусами и не будет больше есть затхлый рис и ссориться с бѐцманам...

— О!—воскликнул он, кончиками пальцев касаясь моего плеча.— Много, много хорош! Танака—капитан, Танака—боцман, Танака, гуляй, гуляй...

Север почувствовали в Бискае. Дул и гулял ветер, окатывая вахтенных, летела через пароход водяная пыль, из мрака шла и шла на пароход зыбь. В Ламанш вошли ночью,—синим мертвенным светом освещая мачту и мокрую палубу, горел в руке вахтенного огонь фальшфейера, вызывавший с берега лоцмана. Ныряя по зыби, уютно светясь в люминаторах малиновыми занавесками; из мрака подвалил, к пароходу лоцманский катер, и по шторам-трапу на палубу поднялся человек в белом свитере под теплой пуховой курткой, подал капитану мокрую руку и привычно взошел на мостик. Две ночи человек в белом свитере не сходил с мостика, неумоимо шагая взад и вперед на ветер роняя из трубки красные искры. На место пришли под утро. Сизело впереди устье, синяя мга висела над берегом, тихо плыл по очистившемуся зазеленевшему небу лиловый дирижабль. В док вошли в полдень, вместе с приливом, и, как свой со своими, стал и замер среди других,—чернотрубых, желтотрубых и краснотрубых,—еще пахнувший морскими ветрами пароход. И в первый же день, отражаясь в мокром асфальте, к пароходу на велосипеде подкатил высокий сухощавый человек в капитанской фуражке, снял с багажника связку проволочных крысоловок и, поскрипывая протезом, нахрамывая, с видом знатного лорда поднялся на пароход; пробежали по самому краю набережной, мелькая голыми красными коленками и ни малейшего внимания не обратив на пароход, двое румянолицых подростково-спортсменов; пришли и с места взяли за работу грузчики в коротеньких пиджаках и насунутых кепи. И все это: приведший пароход человек в белом свитере, синяя над городом мга и плывущий по небу лиловый дирижабль, лордоподобный хромой крысолов и румяные спортсмены-подростки, куцые пиджачки до-синя прокопченных угольной пылью рабочих, синевеющий над доками лес мачт и труб,—была столь знакомая всякому моряку Англия!

В тот же вечер матросы и кочегары собирались в город. Они долго и старательно брились и чистились, неумелыми руками вставляли перед зеркальцем запонки и повязывали галстуки, щетками чистили вынутые из чемоданов слежавшиеся костюмы. И город их принял и накрыл неприметно, как принимал ежедневно новых, приходивших из моря, стосковавшихся по земле, непутевых людей...

В городе было светло и людно. Бегал, гремя на поворотах, веселый, освещенный ярко двухэтажный трамвай; лиловым светом горели круглые фонари; приветливо светились матовые окна „смокинг-румов“ где вокруг высокой стойки толпились бритые люди с трубками в уголках твердых губ и с шарфами на синеватых от угля шеях. Как всегда перед берегом, матросы волновались смутным ожиданием счастливых встреч (перед берегом, больше чем всегда, в кубрике говорилось о женщинах, и не даром так старательно завязывались галстуки и до

зеркального блеска начищались ботинки). И в первый вечер ошеломительно веселым показывался город, ослепляли городские огни, нарядными и молодыми казались проходившие женщины. Зайдя на полчаса в кабачек, где коренастый и рыжий хозяин в жилетке, с выпущенными, подхваченными выше локтей белыми рукавами, с веселою готовностью наполнял высокие пивные стаканы, матросы выходили на улицу слегка хмельные и, вместе с толпою, долго двигались освещенными улицами, заглядывая в смеющиеся, мокрые от тумана, казавшиеся молодыми лица встречавшихся женщин. И многие возвращались на пароход только утром, когда, просыпаясь, гудел и синевел город...

В доке пароход простоял зиму. В декабре в городе начались забастовки: по улицам проходили синие от угля люди, спокойно курили короткие трубки и носили на грудях и спинах белые плакаты. В доках стало мертво и тихо, неподвижно-холодные дремали пароходы. Чаше и чаще на городской площади собирались молчаливые люди, слушали ораторов, кидавших над толпою с каменных ступеней мокрого, от тумана серого, памятника краткие, похожие на круглые куски олова, слова. И все чаще и чаще взлетало и падало над толпою новое слово: „Рóссия, Рóссия!—Россия!“... Перед рождеством матросы бродили по большому базару, где желтыми ворохами высились орехи и апельсины; подолгу слушали косматых ярмарочных зазывал, предлагавших со скрипучих подмостков шарлатанские снадобья; приглядывались и привыкали, как сама собою течет городская кондовая, такая непохожая на российскую, крепкая жизнь. И все знакомее и будничнее становился морякам большой город.

В январе матросы и кочегарам убавили жалованья, в феврале капитан рассчитал часть команды. И чем дольше и безнадежнее тянулась стоянка,—тоскливее и однообразнее становилась пароходная жизнь. И потому, что не было на пароходе настоящего дела, что ночами сновали по койкам оголодалые крысы, и матросы горевали о море,—стало на пароходе худо. Началось с того, что матрос Медоволкин в кровь избил на берегу боцмана; работавшие на спардеке матросы, чтобы насолить молодой англичанке, второй месяц гостившей у капитана, выкрасили суриком ее любимого черного кота; пьяный, в конец опустившийся Хитрово забрел в каюту старшего помощника, спокойно пившего кофе, и ни с того ни с сего обложил его семисаженым... И все чаще и азартнее резались по вечерам в карты.

Казалось, один Танака не поддавался общему унынию. Попрежнему всякий день—пока держали на пароходе пар—он старательно и подолгу мылся в бане, а по вечерам спокойно восседал на своей койке и глядел на склоненные над столом матросские туманные головы. Иногда, по воскресеньям, он надевал узкое, с рыжетцей, пальто, серую шляпу и уходил на берег. Там он заходил в бар и до позднего часу один сидел за стаканом пива, смотрел и смеялся глазами,—и никто ни единого разу не встречал его с женщиной. Доводилось, отправляясь

в город и проходя мимо Танаки, стоявшего на вахте у трапа, матросы останавливались, и кто-нибудь шутя говорил:

— Идем, Танака, к девочкам.

— Девочкам, девочкам!—повторял Танака, широко скалясь и показывая зубы.

— Маруська, Маргарит,—понимаешь?

— Ходи, ходи!—отшучивался Танака, толкая к трапу матросов.— Моя любит дома. Моя понимай! Хорошо...

Тем удивительнее была происшедшая с Танакою перемена. Однажды, после обеда, он сам сел за картежный стол и попросил карту. На него поглядели с удивлением, и, шурясь от дыма папироски, банкомет исполнил его просьбу. Танака долго и смешно ногтями подбирал со стола карту, шевелил губами и что-то считал. Каждую прикупаемую карту он старательно загораживал своими твердыми негнувшимися пальцами и откидывался на скамейке.

— Моя, моя!—воскликнул он, выкидывая на стол „очко“.

И то ли прорвалась в нем крепко сдерживаемая первобытная страсть, то ли проняло береговое сидение, или велико было желание поскорее иметь судно под желтыми парусами,—с того памятного вечера Танака первый сажился за стол.

Как бывает часто: по началу Танаке сильно везло, он вскакивал на месте, хлопал по столу рукою, собирал и складывал в бумажник деньги.— „О!—воскликнул он, выигрывая и оглядывая окружавшие его матросские лица.—Танака гуляй, гуляй!.. Ол-райт!“.. Потом, как водится, счастье перевалило к другому. Этот другой был ученик Гливинский, еще желторотый, с длинными руками, хлопец, плававший впервые. Он еще любил сосать конфеты, плакал от огорчений, и в кубрике над ним посмеивались; дразнили галченком. И случилось так, что на глазах всего кубрика потекли через стол заветные Танакины денежки в карман желторотого, костлявого паренька...

За две недели Танака проиграл все свои сбережения. Он вскидывался от карт, взмахивал руками, и глаза его темнели. Потом он сажился опять, судорожно хватал карты и яростно спорил с Гливинским, спокойно сосавшим душистые карамельки. И, глядя на Танаку, матросы посмеивались, травили хитро:

— А ну, Танака, жги, жги!.. Ай да хлопчик!.. Отыгрывайся, Танака...

Ночью мне было слышно, как он всхлипывал и стонал, точно от нестерпимой боли.— „О, о, о!“—выговаривал он, скрипя зубами и вдруг садясь. А кубрик спал безмятежно. Свистело и шелкало в Бабелином носу; как всегда, спорил с кем-то и ссорился во сне Медоволкин. Виновник Танакиного несчастья—Гливинский—спал крепко, неслышно дыша, откинувши узкую руку, и во сне был похож на девчонку...

Успокоился Танака сразу, точно окаменел. И мы опять—в полдень—колыхались с ним на подвеске, дул с моря ветер, блестели на берегу лужи, перекликались на соседних пароходах голоса, и я тайком поглядывал на его молчащее, крепко обтянутое кожей, желтое, точно камеи-

ное, лицо. Над нами, перевесясь через поручень, стоял Бабела и говорил, смеясь мелким злым смешком:

— Ну как, Танака, заплакали твои денежки?..

И Танака молча скалил в ответ зубы, темнел в лице.

— Они, черти, жиловатые,—говорил, отходя, Бабела.—С него хоть шкуру дери!

Вскоре рассчитался и уехал Гливинский. Прощаясь, он по-ребячьи плакал, ходил в новом—на Танакины денежки—синем костюме, курил папиросы. И, чтобы его не видеть, Танака весь день сидел у земляков-кочегаров, о чем-то громко говорил и спорил. На утро, с приливом, из дока уходил желтотрубый большой пароход, и было видно, как с него в последний раз махнул шляпой галченоч-Гливинский, далеко увозивший Танакино счастье.

Три стихотворения

ПЕТР ОРЕШИН

I. Черная смородина

Песня

Черная смородина, розовый цветок,
Я душой осыпался, сердцем изнемог.

За плетнем-туманами ходит старый сад,
Молодость кудрявую не вернуть назад.

Не о том ли дождичком плачет старый клен,
Был и он в черемуху без ума влюблен...

А теперь сугорбился, лапами в песок,
И стоит покойником, чёрен и высек.

Стройная смородина, черноглазый лист,
Ты совсем цыганочка, только без монист.

Пышная, кудрявая, а цветочки—смех,
Весело рассыпались на глазах у всех.

Почему ж мне пасмурно и на сердце лед?
Если счастья не было, значит не придет.

Не меня ль покинули в черный час друзья,
Милому, любимому уж не верю я!

До поры до времени высох старый клен,
Никого уж зеленью не покроет он...

Да и мне уж, кажется, наступает срок...
Черная смородина, беленький цветок!

II. Под метель

Пусть метель пылит снегами,
Пусть она звенит слезами,
В этой жизни между нами
Не порвется наш союз.

Если в поле стонут вьюги,
Плачут ветры и лачуги,
Вместе с ними я в испуге
Горькой песней разольюсь.

Сколько в эту непогоду
Стонет всякого народу,
За него в огонь и в воду,
Иль хоть чорту на рога!

Сердце кровью обольется,
Каждый волос шевельнется,
Как в окошке засмеется
Деревенская пурга.

Эй ты, месяц, где ты, милый?
Не видать за снежной силой...
Что же ты такой унылый
Закручинился в окне?

Я не сплю со всеми вместе,
Слышу в ветре злые вести...
Снеги белые, не лезьте
Ночью на постель ко мне!

Пусть метель стучит по крыше,
Пусть она пройдет повыше,
В голосах ее я слышу,
Ясно слышу голос мой.

Это я в сугробах плачу
На степную неудачу,
И себя со всеми трачу
Под метельный свист и вой!

III

* * *

Простите, гречневые дали,
Что я уступчив и труслив,
Что песни робко прозвучали
Над золотом печальных нив.

Простите, хижинные крыши
В зеленом пламени берез,
Что я в задоре не расслышал
Ни ваших дум, ни ваших слез.

Простите, черные мозоли
И ямы черноземных глаз,
Что не сложил на бранном поле
Я голову мою за вас.

Простите, дымные курганы,
Степные травы и пески,
Что я ушел от бури бранной,
Ушел от гробовой доски.

Простите, мирные дороги
С последним следом чьих-то ног,
Что эти праведные ноги
Я в час поцеловать не мог.

Простите, тихие могилы
Ушедших в петле и в крови,—
Что песня вас не окрылила,
Что нехватило ей любви!

Прости, задумчивая роща,
Чтобы под твой осенний гул
Я под любой березкой тощей
Сном освежающим уснул!

На вечорке

Я. ШВЕДОВ

Ты красива в своей усмешке,
Точно клен в предосенней резьбе.
Я не знаю;
Какие вешки
Завели, дорогая, к тебе.

Под певучие песенки тонкие,
Легче литься словам бесед,
Много здесь, на вечорке, девчонок—
Меньше спиц в маховом колесе.

Я сумею выбрать любую—
Я веселый, сорви-голова—
Здесь тобою кудрявой люблюсь,
Для тебя рассеваю слова.

— Дорогая, цветок земляничный,
Не гляди на меня свысока.
Много знаю девчонок фабричных,
Но красивей тебя не сыскать.

Вот, любуясь твоей завитушкой,
Я припомнил волжский откос:
Я увидел родную избушку,
В хороводе кудрявых берез.

Вижу яблоньку в тонкой прическе,
Вижу сучьев продольный зачес.
Хороши за избушкой березки—
Все же яблонька лучше берез.

Не шепчи, не шепчи про другую,
Не ходишь мне с другими домой—
Я тобою, тобою люблюсь,
Для тебя вьется песня тесьмой.

Глажу взглядом твою прическу,
Разбираю неслышно зачес...
Хороши здесь девчонки-березки.
Ты же, яблоня,—
Лучше берез.



Знакомые и незнакомые

Повесть

Н. НИКАНДРОВ

I

Через весь зал протянуты два гигантских матерчатых плаката. На одном написано: „Пролетарии всех стран, соединитесь!“. На другом: „Галоши снимать обязательно!“.

Зал от края до края заставлен столиками. Ресторан — не ресторан; пивная — не пивная; с первого взгляда не поймешь что.

Вокруг каждого столика, — за стаканами чая, за бутылками пива, перед шашечными, шахматными досками, над раскрытыми журналами, газетами, — сидят тесными группами люди самой разнообразной, самой неожиданной внешности.

Частная беседа этих групп время от времени переходит в общий крикливый спор, в котором принимает участие весь зал.

Вот все посетители зала вдруг обращают пышущие удовольствием лица в одну сторону, неистово аплодируют, стучат в пол ногами, стульями, бренчат стаканами, бутылками, кричат, кого-то вызывают.

— Bravo! Bravo!

— Шибалин, bravo!

— Никита Шибалин!

— Вот так ши-ба-нул!

— Это по-нашему, по-большевистскому!

— Товарищ, скажите, вы не знаете, Шибалин коммунист?

— Нет. Он левее коммунистов. Коммунисты стоят на месте. А он вон куда хватанул.

— Да. Можно сказать, шарапнул по всему старому миру. По самой головке.

Наконец, тот, кого так усиленно выевают, поднимается из-за своего столика, показывается публике всей фигурой, немножко польщенно, немножко смущенно улыбается.

Рукоплескания крутой волной вдруг забирают в гору, в гору... Крики усиливаются...

Какой-то остроглазый юноша вскакивает со стула и, зачем-то показывая пальцем на Шибалина, радостно взвизгивает:

— Вот он!

И сейчас же садится, раскатываясь мелким, довольным желудочным хохотом.

В то же время в другом углу зала истерический, почти кликушеский вопль женщины:

— Шибалин, спасибо вам!

Шибалин, крепко сложенный мужчина, с пристальным, чуточку исподлобья, не суетливым взглядом, стоит среди битком набитого зала, кланяется аплодирующим в одну сторону, другую, третью, потом снова садится за свой столик, тонет в море других вертялых, беспокойных голов.

Прежняя женщина, в черной бархатной тюбетейке, в длиннополом мужском пиджаке, с горизонтальными плечами, Анна Новая, все время что-то записывающая в тетрадку, привстаёт, бледнеет, нервно кричит из своего дальнего угла:

— Пусть Шибалин выйдет на кафедру! А то многим ничего не слышать!

— На кафедру! На кафедру!—с непонятным весельем подхватывает весь зал.— На кафедру! Ха-ха-ха!

Шибалин встает, упирается ладонями в столик, смотрит на всех, терпеливо ждет, когда смолкнут.

— Товарищи! Зачем?—в недоумении пожимает он плечами, когда зал утихает.— Зачем непременно на кафедру? Можно и отсюда! Ведь здесь не лекционный зал, а всего только наш клуб. И то, что я вам сейчас излагал, вовсе не доклад, а просто так, несколько личных моих мыслей по надоевшему всем половому вопросу.

— Ничего, ничего! — запыхавшись от торопливости, перебивает его кто-то из гущи публики.— Все равно идите на кафедру.

— На кафедру!..—тягучими голосами взывает зал, требовательно и дружно.— На кафедру!..

Шибалин зажимает уши, улыбается, машет залу рукой, что сдаётся; неторопливой своей поступью шагает между столиками; идет среди множества устремленных на него восторженных взглядов; направляется в самый конец зала; увесисто взбирается там по трем ступенькам на кафедру; берется сильными руками за ее крышку, точно пробует прочность.

— Если так, — обращается он ко всем уже оттуда и зоркими своими глазами посматривает с высоты трех ступеней вниз.— Если так, тогда давайте выберем председателя, что ли...

— Данилова! — еще не дав ему договорить, выпаливает в воздух прежний торопливый, златорный.

И все собрание мужественным воем басит:

— Да-ни-ло-вал.. Да-ни-ло-вал..

Пожилой человек, с морщинистым лицом, с нагорбленной спиной, с выпирающими под пиджаком лопатками, с длинными пепельно-рыжими кудрями и с седоватой бородой, в больших черных очках, точно совершенно незрячий, покорно поднимается со своего места, забирает в одну руку стакан с недопитым чаем, в другую огрызок голландского сыра на ломтике хлеба, удаляется к кафедре, устраивается возле нее за отдельным столиком, перебрасывается несколькими деловыми фразами с Шибалиным, расправляет кудри, бороду, напускает на себя председательский вид, звонит чайной ложечкой по стакану, предварительно перелив чай в блюдечко, и обращается к залу:

— Товарищи! Но вот вопрос, пройдет ли у нас сегодня серьезное собрание? Ведь вы знаете, что бывают дни, когда на нас находит такое шалое настроение, род эпидемии...

— Пройдет! Пройдет! — заглушают его веселые выкрики с мест.

— Что вы на самом-то деле?.. Что, мы не можем, что ли?..

— Ну, смотрите же! — еще раз предупреждает Данилов, потом предлагает: — тогда, товарищи, вот что: одного председателя на такое собрание мало! Вопрос, поднятый вами, жгучий, трактовка Шибалина ультра-радикальная, дерзкая, страсти у всех разгораются... И я предлагаю доизбрать в президиум еще двух человек, лучше всего из нашей молодежи!

— Огонькова и Веточкина! — несутся со всех концов зала к кафедре голоса. — Веточкина и Огонькова!

Данилов знаком руки приглашает к себе двух молодых людей, фамилии которых называет собрание.

Огоньков и Веточкин, юноши, однолетки, с улыбками громадного удовольствия на круглых зардевшихся румяных лицах, рассаживаются за стол рядом с Даниловым, один справа от него, другой слева, весело перемигиваются с приятелями, сидящими в публице.

Данилов звонит ложечкой по стакану:

— Прошу внимания!.. Товарищи, согласно вашему желанию, дальнейшую беседу ведем организованным путем!.. Прошу соблюдать порядок!.. Слово берет для заключительной части своего доклада беллетрист Никита Шибалин!..

По залу проносится довольный шопот. Все тянутся лицами вперед, смотрят на кафедру.

Видно, как один запоздавший человек, с длинной цыплячьей шеей, согнувшись в колесо, со стаканом чая в руках, валко ковыляет на кривых ногах, согнутых в коленях, пробирается от двери с надписью „буфет“ к своему столику...

Слышно, как за дверью с надписью „биллиардная“ сухо цокают друг о друга плотные биллиардные шары...

II

Вдруг обе половинки двери — „буфет“ с треском раскрываются настезь, и в зал с грохотом вваливается, споткнувшись, как мяч, о порог, совершенно пьяный, великолепно одетый молодой человек, со смертельно бледным лицом и с прядями темных волос, свисающих на глаза.

И собрание в момент переводит заинтересованные взгляды с Шибалина на пьяного. Некоторые даже переставляют под собой стулья, чтобы было удобнее смотреть.

А пьяный ломается. Останавливается возле дверей, осовело и вместе вызывающе пялит глаза на зал, ухарски подбоченивается, качается на месте во все стороны, точно в сильную бурю на палубе корабля, и обличительно восклицает:

— О-го-го, сколько тут маленьких „великих людей“ собралось! Со всего СССР-а слетелись!.. Чего тут сидите, чего делаете?.. Все Пушкина опровергаете?.. Валяйте, валяйте, мать вашу так, я послушаю!..

Садится с краешка. Направляет на собрание насмешливо, разинутый хмельной рот, точащий слюну.

Данилов стоит в председательской позе, не перестает звонить, не перестает кричать пьяному:

— Товарищ Солнцев! Товарищ Солнцев! Я не давал вам слова! Слово принадлежит не вам!

Солнцев с трудом поднимается, откидывает с глаз вихры волос.

— Что-о? — делает он шаг вперед, засовывает руки в карманы, заламывает назад корпус, шатается из стороны в сторону, как на слабых рессорах, пьяно щурит на председателя злые глазные щелочки. — Что-о? — силится он сделать еще шаг вперед, но вместо этого откатывается, как кресло на колесиках, два шага назад. — А ты кто такой? Что дал ты великой русской литературе, рыжая твоя председательская борода? Я тебя что-то не знаю, да и знать не желаю!

Скандал приводит всех в движение. В зале поднимается шум. В одном месте откровенно хохочут, в другом искренно негодуют.

Все привстают из-за своих столиков, ищут глазами пьяного, громко переговариваются по поводу происшедшего, с испуганными улыбками ожидают, что будет дальше.

— Опять налился! — вырывается у кого-то полное горечи восклицание. — Одного дня не может вытерпеть!

Один гражданин богатырского телосложения, засучив рукава и распахнув рубашку на груди, порывается от своего столика вперед, другие, густой толпой лилипутов, вцепившись в него, пытаются удержать его.

— Убрать его! — с повелительным жестом кричит великан на Солнцева и скрежещет зубами и волочит за собой по паркетному полу, вместе со столами, кучу слипшихся лилипутов.

Данилов одиноко возвышается на своем председательском посту, устрашающе маячит на всех черными безжизненными очками, звонит и звонит.

Наконец, он что-то шепчет молодым членам президиума, Огонькову и Веточкину. Те, поправляя на себе туго затянутые ременные пояса, спешат к пьяному, подхватывают его под руки, селятся выпихнуть обратно за дверь — „буфет“.

Солнцев не дается, ожесточенно сопротивляется, входит во вкус борьбы, рычит, как зверь, дерется, норовит укусить то одного члена президиума, то другого.

— Врешь, не возьмешь! — шипит он при этом яростно на каждаго.

— Шурка, а ты здесь больно не разоряйся, здесь все-таки союз, а не пивная,—увещевает его Веточкин, а сам делает еще одно отчаянное усилие, багровый, задыхающийся в борьбе.

— Шура, пройдем с нами в буфет, раздавим по графинчику,—кряхтит в то же время с другой стороны Огоньков, повисая всей своей тяжестью на другом плече пьяного.

Солнцев вдруг собирает все свои силы, швыряет Веточкина и Огонькова, как щенят, об пол, а сам, с веселой рожей, ставит руки в боки, пьяно приплясывает на месте, диким ревушим голосом горланит на все притихшее здание:

— Стр-ра-да-тель мой, стр-ра-дай со мной, надоело мне стр-ра-дать одной!..

Собрание по-детски добродушно смотрит на него, по-детски довольнo смеется.

Огоньков и Веточкин, поднявшись с пола и отряхнув руками с коленок пыль, переконфуженные перед целым собранием, озлобившиеся, налетают на отплясывающего Солнцева сзади, безжалостно ломают его, комкают, поднимают высоко на воздух, выбегают с ним за дверь и через полминуты, с обессиленными улыбками, возвращаются обратно.

— Стр-ра-да-тель мой, стр-ра-дай со мной...—тотчас же раздается за запертой дверью дикое, разудалое, какое-то безгранично-размашистое пение Солнцева.

Но вот пение внезапно обрывается, и из-под двери доносится клокочущее рыдание пьяного...

Собрание остро, страдальчески вслушивается. У многих бледнеют лица, плотнее замыкаются губы. У нескольких человек нависают на ресницах слезинки.

На сухом деловом лице Данилова тоже появляются новые, теплые, грустные складки.

— Какой большой поэт на наших глазах погибает!—глубокой болью звенит на весь зал одинокий голос Анны Новой из дальнего угла.—И неужели наш союз не в силах что-нибудь для него сделать? Позор!!!

— А чем же он погибает?—даже не оборачиваясь к ней и не убирая локтей со своего стола, равнодушно отзывается сидящий за кружкой пива Антон Нелюдимый, мрачного вида человек, с устрашающе громадными чертами лица.

— Как чем?—содрогается возмущением голос Анны Новой.—А вино?

— Что ж, что вино?—лениво рассуждает в ответ Антон Нелюдимый.—Вино, оно помогает нашему брату творить, дает полет фантазии!

Не малых трудов стоит Данилову прекратить, наконец, переговоры с мест.

— Товарищи!—взывает он и звонит в стакан.—Товарищи! Будем считать, что ничего не случилось! Собрание продолжается!

И все снова обращают взоры к Шибалину.

III

Но в этот самый момент возле двери — „библиотека“ — раздается душу раздирающий крик. Кричит—не то женщина, не то ребенок.

Собрание поворачивает в ту сторону головы, смотрит.

Крик повторяется.

Один за другим, все вскакивают из-за столиков, спешат к месту происшествия, и возле двери—„библиотека“ образуется большая толпа:

— Не пойду!!!—вырывается из центра плотной толпы прежний раздирающий крик и на этот раз кажется, что крик принадлежит мальчику.—Ни за что не пойду!!! Убейте на месте—не пойду!!!

Данилов встает, тянется вверх, смотрит слепыми стеклами вдаль, звонит:

— Что там еще случилось?

Толпа полуоборачивается к нему и отвечает издали трубно хором:

— Человек в галошах!

Лицо Данилова меняется, корпус инстинктивно подается вперед:

— Как в галошах?

Толпа хором:

— Так в галошах!

— Заставить снять!

— Не хочет!

— Что значит не хочет? Снять, да и только!

— Не дается! Может быть, вы ему скажете, товарищ председатель?

Толпа расступается на обе стороны, делится на две части и открывает встревоженному взору председателя такую картину: скромно одетый юноша, с плачущим выражением лица, силится вырваться из крепких держащих рук двух служителей, старого и молодого.

Юноша умоляюще:

— Пустите меня!

Старый служитель:

— Снимите галоши, сдайте их нам под номерок, тогда пустим.

Председатель твердо:

— Антон Тихий, что за безобразие, почему вы не снимаете галош?

— А если они у меня на босу ногу!—с раздражением кричит Антон Тихий и вскидывает в сторону председателя одну ногу, босую, обмотанную тряпками, в галоше.

Молодой служителю к председателю:

— Они через то и одевают галоши на босу ногу, чтобы за хранение не платить!

Старый:

— Хитрость своего рода!

Молодой:

— Мы их давно заметили, да все не удавалось словить: как пойдут чесать по коридорам, да по лестницам!

Старый:

— Тут еще есть несколько душ таких, которые проскочили в галошах...

Смотрит всем на ноги. В толпе, кое-где, заметное движение: несколько человек прячут от служителей ноги.

Председатель к служителям:

— Товарищи, не держите его, отпустите, он сам сейчас пройдет в раздевальную и оставит там галоши.

Антон Тихий, нервно перекосив лицо:

— Вам говорят, что они у меня на босу ногу!

Председатель:

— А вам говорят, что сидеть в зале в галошах нельзя!

— Почему?

— Потому что нельзя!

— Объясните, почему?

— Неужели вы этого не понимаете?

— А вы думаете, вы понимаете? Тогда объясните мне, почему?

— Не время и не место заниматься здесь такими объяснениями.

— Ага, значит, вы сами не понимаете, почему! Вдолбили себе в голову, шаблонные вы люди!

— Антон Тихий, как председатель собрания, я спрашиваю вас: вы уйдете из зала или нет?

— Конечно, нет.

Кто-то нетерпеливо визжит из середины зала:

— Милицию! Позвать милицию и больше ничего! Тут такое собрание, такой, можно сказать, животрепещущий вопрос разбирается, а тут приходят и хулиганят!

Данилов шепчется с Огоньковым и Веточкиным.

— Товарищи! — встает он и звонит. — Объявляю пятиминутный перерыв! Президиум удаляется на совещание решить вопрос, как поступить с товарищем в галошах!

Данилов, Веточкин, Огоньков, с опущенными, серьезными лицами, гуськом уходят в смежную комнату.

Собрание набрасывается на Антона Тихого. В зале поднимается невероятный гам. Все кричат сразу, громче и громче.

— Антон Тихий, время военного коммунизма прошло, снимите галоши!

— Антошка, брось свои анархические замашки! Не расстраивай зря собрание!

— Товарищ Тихий, ну что такое вы делаете? К чему вся эта комедия? Замотали ноги тряпками, всунули их в галоши.

— Я знаю, что я делаю!—отбивается Антон Тихий то от одного, то от другого.—Мне это уже надоело! Куда ни придешь, везде прежде всего смотрят тебе на ноги! И всюду норовят сорвать с тебя 20 коп. галошного налога! Галоши того не стоят, сколько мы переплачиваем за их „хранение“! Не „храните“, чорт с вами! Не надо! И раз никто против этого не борется, я решил сам начать с этим решительную борьбу! Я сегодня был в восьми учреждениях, и из-за галош за мной сегодня восемь президиумов по лестницам гнались, так что эти ваши будут девятыя! Болтаем языком о пролетарской культуре, а на практике заводим буржуазные порядки!

— Товарищ Антон Тихий,—сейчас же выступают ему возражать.—Еще бы ты чего захотел! Ввалился в зал собрания в галошах! Здесь все-таки не Сухаревка, а союз!

В дверях появляется президиум и разговоры в зале прекращаются. Лицо Данилова сосредоточенно, сурово.

— Разрешите огласить решение президиума!

Смотрит в бумажку, торжественно читает:

— Несмотря на то, что настоящее собрание вместе со всем СССР'ом высоко ценит талантливые стихотворения Антона Тихого на производственные темы, про электрификацию, канализацию... тем не менее, президиум никак не может ему позволить нарушать принятый в общественных местах порядок. А посему президиум постановляет...

Тут зал удерживает дыхание, Данилов несколько повышает голос:

— ...предложить поэту Антону Тихому: либо немедленно оставить в раздевальной галоши, либо удалиться из зала. В случае же неисполнения Антоном Тихим ни того ни другого, войти в правление союза с ходатайством об исключении его из союза на один месяц.

Антон Тихий с бешеной, дергающейся жестикуляцией:

— Из такого собрания и такого союза я сам уйду! Будете просить, и то не останусь! Я и в Москву-то вашу напрасно приезжал! Ехал, думал: вот наберусь там у них этого самого, московского, пролетарского! А они?! У нас в несчастном Камышине и то куда революционнее!

Уходит широкими шагами, размахивает расхолодившимися руками, в дверях останавливается, оборачивается, со страшным лицом грозит собранию кулаком:

— Ста-ро-ре-жим-ни-ки!!!

С треском захлопывает за собой дверь.

В зале, за столиками, неопределенное молчание. Кто-то, спрятавшись за чужую спину, с чувством громадного удовольствия, хохочет.

Вырываются по адресу ушедшего несколько негромких замечаний:

— Чудак!

— Что-то из себя строит!

— Просто ненормальный!

Шибалин, сидевший это время внизу, на стуле, поднимается на одну ступеньку на кафедру, и среди тишины спрашивает у всех:

— В виду обилия сегодня всяких инцидентов, может быть, отложим мое выступление до другого раза?

Собрание точно вдруг просыпается от долгого тяжелого сна. Машет руками, головами:

— Нет, нет! Что вы, что вы! Ни за что! Ваша тема так интересна! Начинайте сейчас! Просим! Просим!

И потом все собрание протяжно дудит, как в басовые трубы:

— Про-сим! Про-сим!

Встает на своем председательском месте Данилов.

— То-ва-ри-щи!!! Ти-хо!!! Зап-ри-те там две-ри!!! Будем считать, что ничего не случилось!!! Никита Акимыч, ваше слово...

Садится.

IV

Могуче и трагически режет каждое слово Шибалин и тяжелыми жестами руки сечет перед собой воздух, точно ставит в своей чеканной речи невидимые знаки препинания.

— Итак, товарищи, принимая во внимание все сказанное мною тут перед вами сегодня, я с полным правом и со всей энергией утверждаю: р-революции не было!!!

Последние три слова он выкрикивает и делает рукой и всем корпусом бросающие движения вверх. Потом некоторое время стоит, молчит и с мрачно-торжествующей миной глядит вверх, как бы любит, высоко ли забросил.

Аудитория сидит, ловит каждое слово оратора, следит за каждым движением его приковывающего лица, не шевелится, не дышит.

— Р-революции не было, потому что человек, как личность, остается попрежнему ужасающе одинок, кошмарно одинок, точно окруженный беззвучной ледяной пустыней!.. Р-революции не было, потому что человек,—и мужчина и женщина,—попрежнему с беспредельной тоской в глазах стоит перед неразрешенной проблемой пола!.. Р-революции не было, потому что человек, как таковой, попрежнему таскает на своем горбу весь тяжкий груз полученных им по наследству тысячелетних предрассудков, разоблачению самого страшного из которых собственно и была посвящена моя сегодняшняя импровизированная лекция! Речь идет, как вы уже знаете, об укоренившемся среди нас чудовищном обычае подразделять людей на наших „знакомых“ и „незнакомых“!.. И в то время, как со „знакомыми“, с этой микроскопической горсточкой людей, нам разрешается всяческое общение, вплоть до любви и брака,—с „незнакомыми“, то-есть со всем

остальным населением земного шара, мы не имеем права даже заговаривать при встречах на улице, потому что, видите ли, это „не-прилич-но“!!!

По залу, по группам сидящих за столиками, прокатывается завывающий гул общего одобрения:

— У-у-у... Ууу...

Только один юнец, сутулый, с разочарованным лицом, кричит со своего места:

-- Старо! Нельзя ли чего-нибудь поновей!

Остальные дружно шипят на него:

— Цшш... Цшш...

Данилов привстает, сверлит их черными очками.

Шибалин хмурится, наливается еще большей упрямой волевой смелой, продолжает:

— И, благодаря подобной вопиющей дичи, товарищи, каждый из нас,—будь то мужчина или женщина,—до сего дня обречен выбирать себе пару из мизерно-узкого круга своих личных „знакомых“, минуя всех остальных...

Шибалин делает дурацкую гримасу и насмешливо-кривляющимся голосом отдельно цедит одними губами:

— Бери не ту, которая тебе больше всего на свете подходит, не далекую, не идеальную, а ту, которая имеется у тебя под рукой!!!

Опять по залу из конца в конец прокатывается массовый вой удивления и солидарности с мыслью оратора.

Кто-то догадливо кричит из-за своего столика:

— Надо выбирать себе такую, чтобы от нее не тянуло к другим!

Данилов пугает его темными очками. Он прячется.

И снова энергичная речь Шибалина.

В дальнейшем Шибалин говорит, что, благодаря указанному им предрассудку, каждая брачная связь двух человек на земле до сих пор оказывается недоразумением, ошибкой, за которую в течение всей своей жизни платятся обе стороны, и мужчина, и женщина...

— Товарищи! Сегодня мы уже разбирали с вами во всех подробностях семейную трагедию величайшего гения, какого когда-либо рождала земля, нашего Льва Николаевича Толстого!.. А Гоголь?! Неужели вы думаете, товарищи, что на всей земной планете, на обоих ее полушариях, не отыскалась бы девушка, которая всей душой полюбила бы нашего чудесного Гоголя и которую в свою очередь полюбил бы и он?!

— Конечно, отыскалась бы!—звонит взволнованный голос первой женщины, участницы собрания.

— И еще сколько! Не одна!—вырывается возглас у другой.

— Сколько хотите!—подтверждает нервно третья.

— Каждая согласилась бы!—признается за всех четвертая.

— Еще бы! Го-голь!—поясняет пятая.

Мужчины слушают разошедшихся женщин, и с выражением великого своего превосходства добродушно посмеиваются.

И Данилов улыбается, когда звонит женщинам и призывает их не прерывать оратора.

Шибалин тоже не может удержаться от улыбки, когда обращается исключительно к ним:

— Ну, вот видите, товарищи-женщины, разве я был не прав? Когда в одном этом зале и то нашлось столько питающих должные чувства к Гоголю! А, между тем, Гоголь за всю свою жизнь так и не встретился со своей парой, потому что она находилась где-то за проклятой чертой его личных „знакомых“!... Товарищи, и не только Толстой, и не только Гоголь!.. Я сегодня приводил вам из всемирной истории еще более возмутительные примеры, когда мировые гении человечества принуждены были тайно сожительствовать со своими безграмотными кухарками!..

— Извиняюсь, товарищи!—встает со своего места и прерывает Шибалина молоденький паренек, с карандашом и записной книжкой в руках. — Чего же вы видите тут возмутительного, если мужчины сожительствуют с кухарками? Разве кухарка не такой же трудящийся, как и прочие граждане?

— Да, да!—вскакивает и еще более горячится другой. — Тем более странно слышать подобные слова теперь, когда по всему нашему Союзу пооткрыты пункты по ликвидации безграмотности!

— Товарищи! Ша!—обрушивается на них третий, машет руками, гримасничает, спешит.—Это же говорится не про теперь, это берется из всемирной истории! Нельзя равнять!

Данилов заставляет их замолчать. Шибалин продолжает:

— Товарищи, я утверждаю, — ударяет он по крышке кафедры рукой. — Я утверждаю, что на всем земном шаре женатые мужчины живут не с теми женщинами, с которыми хотели бы!

Взрывом стихийного смеха награждает эти слова оратора мужская половина собрания:

— Хо-хо-хо!

— Браво, браво!

— Вскрыл таки!

— Расшифровал!

— Что же, товарищ Шибалин, вы теперь будете их всех разводите?—спрашивает один, смеясь.

— Да!.. Разводите!..—со злостью восклицает Шибалин и начинает бегать, метаться по кафедре, трудно дышать...

Потом снова возвращается к спокойной трактовке своей темы.

— Товарищи!—взывает он к собравшимся, а через них как бы и ко всему человечеству.—Товарищи! До каких же пор мы, люди разного пола, будем, точно врожденные враги, обманывать друг друга? До каких пор мужья и жены будут разыгрывать друг перед другом недостойную разумных существ комедию? Не пора ли нам, наконец,

сказать друг другу всю правду,—мужчины женщинам, женщины мужчинам! Учинить единое всемирное объяснение! Всем мужчинам договориться со всеми женщинами! А то, взгляните-ка вокруг, что сейчас происходит: мужчины недовольны, изнывают, ничего как следует не делают, раньше времени гибнут; женщины—то же самое—недовольны, изнывают, ничего не могут толком делать, преждевременно гибнут... А из-за чего недовольны? Из-за чего изнывают? Из-за чего так рано гибнут? Да друг из-за дру-га!!!

Аплодисменты слушателей и их крики на момент наполняют шумом весь зал. В то же время из нескольких мест несутся резкие свистки.

— Вот верно сказано!

— Взято прямо из жизни!

— Каждый человек видит себя, как на ладони!

— Вот она, когда выплывает наружу вся правда!

— Товарищи, что вы говорите? Какая правда? Правду вы узнаете только после прений! Нельзя так поддаваться! Тут против многого можно возразить!

Данилов стоит, смотрит, звонит...

Шибалин волнуется, мечется по кафедре, мысленно раздувает свою идею дальше.

Идея захватывает его все больше и больше, и он уже не в состоянии молчать, не в силах удержать свою страстную речь, и через минуту она опять льется у него и льется, скачет по стремительным порогам и скачет, тащит его за собой и тащит.

— И каким лицемерием, товарищи, каким бесплодием звучат после этого наши фразы о „всемирном братстве народов!“. Какое уж тут „всемирное братство народов!“, когда на этом распродажаком свете даже обыкновенного „знакомства“ между двумя людьми самочинно осуществить нельзя, не рискуя попасть в милицию!.. И самое страшное, товарищи, в том, что так обстояло дело на всей земной планете тысячи лет!.. Тысячи лет, вплоть до сегодняшнего вечера, раз'единял одну семью человечества, дробил ее на замкнутые личности этот бесовский институт „знакомых“ и „незнакомых“! Тысячи лет в каждом человеке насильственно вытраивалось всякое социальное чувство, в корне убивалась возможность общения со всеми другими людьми! Тысячи лет человек-самец и человек-самка были противуестественно разлучены, одеты друг от друга в непроницаемую броню изуверского предрассудка! Тысячи лет, товарищи, вплоть до этой самой минуты, в которую я сейчас с вами говорю, длилась эта беспримерная всесветная провокация,—провокация против личности, провокация против общественности!.. И только вот сегодня, сейчас, видя, как все человечество молчит, видя, как оно делает вид, что ничего не замечает, я, Никита Шибалин, решил, наконец, объявить всемирный бунт против такого всечеловеческого социального оскотпления!..

Собрание привстает и устраивает оратору длительную овацию.

И опять слитный шум аплодисментов, и опять прежние раздражающие свистки.

— Что, завидно? — кричит кто-то по адресу неугомонных свистунов.

— Товарищи! — высоким голосом возглашает Шибалин. — Я верю, что, благодаря необыкновенным усовершенствованиям советского радио, недалеко то время, когда я смогу провозгласить бунт против старого быта и старого мышления сразу во вселенском масштабе!.. Я тогда стану вот так перед радиоприемником и скажу: „Люди земли! Народы мира! Жители этой планеты и тех, которые еще не открыты, но которые, быть может, тоже носят во вселенском пространстве и также населены существами, подобными нам, то-есть, как и мы, происшедшими от обезьяны! Мужчины и женщины! Женщины и мужчины! Те из вас, которые уже родились на свет и сейчас где-то живут, и те, которые еще только родятся в последующие времена и когда-то где-то будут существовать, — ко всем вам обращаюсь я со своим пламенным братским словом: с сего числа и сего часа да не будет среди вас „знакомых“ и „незнакомых“ и да будете вы все „знакомы“ друг с другом, каждый со всеми и все с каждым!..“

Потом, все тем же тоном манифеста, Шибалин обращается к сидящим перед ним слушателям:

— И вы, члены нашего союза и наши гости, сколько вас тут сейчас есть в этом зале, если вы хотя капельку еще живые люди, а не окончательно одеревенелые манекены, вы тоже с сего числа считайтесь навсегда „знакомыми“ друг с другом!

Ураган рукоплесканий заглушает дальнейшие слова оратора.

Хохот, визг, крики. Счастливо светящиеся лица, огнем сверкающие глаза. Две женщины, подруги, бросаются друг к другу в объятия, смеются, плачут.

— Наконец-то...

— Дождались все-таки...

Еще пронзительнее, чем прежде, прорезывают зал в разных направлениях свистки.

— Товарищи!!! Кончу тем, с чего начал: р-революции не было!!! Р-революция начинается!!! И да здравствует р-революция!!!

Обессиленный Шибалин спускается с кафедры, садится на стул, припадает губами к стакану с холодным чаем...

V

За столиками горячо обсуждают доклад Шибалина. Одни говорят за, другие против. Большинство первых.

— Можно сказать, размахнулся!

— На всю вселенную!

— По всем планетам прошелся!

— Шаганул!

— Живых и мертвых колыхнул, затронул даже тех, которые еще не родились!

— Всему человечеству открыл освежающую отдушину, а то ведь прямо задыхались!

— Теперь-то будет легче!

— Теперь-то, конечно, пойдет!

— Теперь начнется!

— Теперь так не останется!

— Ай-да Никита Шибалин! Можем гордиться таким человеком!

— Вот что значит широкая славянская натура!

— Товарищ! При чем же тут национальность? Вы уже начинаете! Не можете без погромов! Девять лет революции ничему вас не научили!

— В чем дело? Что ты гундосишь, чорт носастый? Тебя никто не трогает, и ты молчи, пока не получил!

— Что-о? От кого получу, уж не от тебя ли?

— А хотя бы и от меня!

— Попробуй! Только попробуй!

— И попробую!

— Руки коротки! Ваше время прошло и никогда не вернется!

— А я вот тебе сейчас покажу, прошло или нет... На, получи!

— А ты думаешь, я не умею давать? Н-на! Н-на! В анкете пишешь, сволочь, сын крестьянина-хлебороба, а на самом деле сын сельского попа...

— Н-на! Н-на! А ты вместе со своим отцом держал в Могилёве магазин готового платья, а в Москве выдаешь себя за рабочего... Н-на! Н-на!

— Товарищи, что же вы делаете, вы с ума сошли, что ли? Драться в союзе?! Не понимаю таких людей: сами аплодируют идее Шибалина о „вселенском братстве народов“, а сами ищут повода перекусить друг другу глотку! И это кто же? Чего же тогда ожидать от других, простых смертных?! Товарищи, не стойте, разинув рты, помогите мне растащить этих двух людоедов! Смотрите, как больно они садят друг друга: в зубы, в глаза, в бока... Оба уже в крови, даже невозможно смотреть... Вы этого тащите в эту сторону, а мы другого в другую. Ишь как сцепились—не расцепишь! Все волосы друг у друга повыводирали! У этого типа была замечательно красивая писательская шевелюра, а теперь, полюбуйтесь, что от нее осталось: одни клочья! Теперь, без той шевелюры, его нигде не будут печатать!

— То-ва-ри-щи!!! Будем считать, что ничего не случилось...

VI

Трое молодых людей бегут между столиками по залу за ускользающей от них „незнакомой“ девицей, шутят, смеются.

Первый, простирая за ней, как за убегающим счастьем, руки:

— Стойте, гражданка, стойте. Куда же вы бежите? Разве вы не слышали, что говорил Шибалин?

Второй прихорашивается на ходу, поправляет наряд, прическу:

— Ведь „с сего числа и с сего часа“ все жители всех планет считаются раз навсегда „знакомыми“ друг с другом! Разве вы не сочувствуете этому?

Третий загораживает перед девушкой дверь:

— Не пушу! Не пушу! И чего вы стесняетесь? Кажется, не маленькая, должны сознавать...

Женщина приостанавливается перед загороженной дверью:

— Я не стесняюсь, только я не привыкла так сразу...

— Разве это сразу?—хохочут молодые люди.

— Пустите меня!—умоляет их девушка, наконец, улучшает момент и прорывается в дверь.

Молодые люди юмористически переглядываются, строят несчастные рожи, потом смеются, ищут по залу глазами и, заметив другую, в одиночестве проходящую по комнате девушку, бросаются к ней:

— Ага! Вот эту не упустим!

Окружают ее кольцом, приплясывают вокруг, кривляются, как бесенята.

Первый:

— Попались!

Второй:

— Теперь „познакомимся“!

Третий:

— Теперь вы наша!

Девушка смотрит, нет ли где выхода из кольца.

— Что значит ваша? Шибалин вовсе не об этом говорил!

Видя себя оцепленной, делает плачущую гримаску, опускает хорошенькое личико:

— У-у... Противные... Держите силой...

Первый осторожно, но крепко держит ее за локоток:

— Но как же с вами иначе, раз вы от нас убегаете?

Второй:

— Мы с вами попросту, мы по-товарищески вас просим: не уходите, посидите немножко с нами, побеседуйте!

Третий кривляется у нее перед носом, паясничает, поет, как в оперетке:

— Мы шибалинцы-с! Нам все можно-с! Мы ничего не признаем-с!

Девушка не может скрыть улыбку, осматривается, в конце концов разводит руками:

— Что же, ничего не поделаешь с вами, придется покориться.

Молодые люди, все трое, подпрыгивают от радости. Начинают преувеличенную суету, усаживаются вместе с девушкой вокруг столика тесной компанией.

Первый, подавая стул незнакомке:

— Садитесь, будьте гостьей и за стаканом чая поведайте нам, кто вы такая, откуда, зачем в Москве, чем дышите, о чем мечтаете...

Второй:

— А потом, если вы пожелаете, мы расскажем вам о себе.

Третий:

— О, это будет так увлекательно, так ново!

— Сказать по правде,— среди беседы обращается к девушке первый,—я целых три года об вас думаю.

Двое других:

— Три года?!

Девушка прячет улыбающиеся глаза в чашечку с чаем:

— Я это знаю...

— Откуда вы можете это знать?

— По вашим взглядам. Вы всегда так упорно, так пронзительно на меня смотрите.

— Да, это правда. Я три года так смотрел на вас, как житель земли смотрел бы, скажем, на жителя Марса или наоборот.

Второй:

— Ха-ха-ха!

Третий:

— И еще 33 года смотрел бы и вздыхал, если бы не Шибалин со своей идеей!

Первый к девушке:

— Ваше имя?

Девушка не сразу:

— Анята Светлая.

— Это ваш литературный псевдоним, да? Вы поэтесса?

— Да. А ваши имена?

— Я Ивац Бездомный.

— А я Иван Бездольный.

— А я Иван Безродный.

— Слыхала. А вы беллетристы?

Иван Бездольный:

— Да. Только беллетристы.

Анята Светлая пьет из чашечки чай; приглядывается к Ивану Бездольному:

— Все-таки странно, как это вы три года только смотрели на меня и только думали обо мне. Что же мешало вам познакомиться со мной?

— Предрассудок, так превосходно разоблаченный сегодня Шибалиным. Самому „познакомиться“ считал „неудобным“, а общего „знакомого“, третьего лица, фактора, который мог бы нас свести, не находилось. Так и тянулось это глупое состояние три года.

Иван Бездомный:

— Целых три года думать об одной!

Иван Безродный:

— Какая стойкость, какое постоянство!

Анята Светлая в чашечку:

— А познакомились — разочаруетесь..

Они сидят, оживленно беседуют, хохочут, бегают от столика в буфет за чаем, за бутербродами. К ним подбегают и от них отбегают такие же вновь познакомившиеся счастливицы.

— „С сего числа и с сего часа да не будет среди вас незнакомых“, — то и дело слышится, как весело цитируют за всеми столиками торжественные слова из манифеста Шибалина.

VII

За столиками компания одних мужчин, человек в шесть.

— Товарищи мужчины, — обращается один из них к остальным. — Чего же мы тут сидим? На старости еще насидимся! Идемте-ка сейчас на бульвар, знакомиться с „незнакомыми“! Шибалин позволил!

Общий одобрительный хохот, остроты, шутки, самые фантастические любовные проекты..

Тут же, рядом, за соседним столиком, компания одних женщин.

— Товарищи женщины! — сейчас же предлагает одна из женщин своим компаньонкам. — Знаете что? А мы давайте отправимся бродить по городу, заговаривать на улицах с „незнакомцами“! Вот удивятся! Подумают — убежали из сумасшедшего дома!

Смех, визг, гам, раскрасневшиеся щеки, шопот на ушко..

Мужчина с первого столика к компании женщин:

— Чем вам ходить, искать „незнакомцев“, лучше придвигайте-ка ваш столик к нашему и „заговаривайте“ с нами!

Первая женщина, игриво жмурясь:

— Подвигайтесь лучше вы к нам!

Вторая в ужасе:

— Что ты?! Зачем! Ты с ума сошла?

И мужчины под испуганный визг женщин подъезжают к ним вместе со своей мебелью.

Первый мужчина, волоча по полу свой стул и зачем-то прикидываясь калекой, хромым:

— Нам это ничего не стоит-с!

Второй, как школьник, едет верхом на стуле:

— Мы все можем-с!

Третий с видом завоевателя бьет себя в грудь:

— Мы шибалинцы-с!

Остальные ведут себя в таком же роде.

Мужчины и женщины знакомятся, пожимают друг другу руки, называют свои литературные имена.

— Я Антон Сладкий, может, слышали?

— Как же, как же, слыхала. А я Анюта Боевая, может, вам тоже что-нибудь попадалось из моего.

— Я Антон Кислый.

— А я Нюра Разутая.

— А я Антон Кисло-Сладкий...

— А я Ньюша Задумчивая...

Стол сдвигают вместе, стулья расставляют вокруг, садятся, — получается большая общая компания.

Все время находясь в каком-то приподнятом настроении, все весело объясняют друг другу, кто откуда, из какой литературной группы, кружка, ассоциации. „Босой пахарь“, „Перевалило“, „Майский октябрь“, „Октябрьский май“, „Смена вех“, „Мена всех“...

— Ого!—замечает с удивлением Антон Сладкий.— Да тут у нас оказывается все поэты, да поэтессы! Живем в одном городе, состоим в одном союзе, печатаемся в одних журналах, а друг друга не знаем! Это ли не дичь! Тысячекратно прав Шибалин! Предлагаю прокричать славу Шибалину!

Он дирижирует, а вся компания хором, трижды:

— Слава Шибалину!.. Слава Шибалину!.. Слава Шибалину!..

Антон Сладкий, воодушевляясь все более, вдруг с многозначительным видом ударяет себя по лбу:

— Ба! Мысль!

Все:

— Тихо! Тихо! Антон Сладкий что-то придумал!

Антон Сладкий привстает над столом:

— Товарищи! Вношу предложение! Давайте сейчас же коллективными силами на идею Шибалина напишем песню!

Анюта Боевая:

— И будем ее распевать!

Вся компания хором, стройно:

— И будем ее распевать!

Смеются.

Антон Сладкий мужественно:

— Итак, товарищи, немедленно за дело!

Достает из бокового кармана карандаш, бумагу, садится, дрожит от нетерпенья, пишет.

Нюра Разутая:

— Товарищи, у кого есть лишний карандаш? Потом отдам.

Антон Кислый:

— Мне самому дали.

Антон Кисло-Сладкий:

— Вот могу предложить огрызочек... пока.

Нюра Разутая:

— А бумажки кусочек?

Нюша Задумчивая:

— Кажется, у меня есть.

Роемся в газетном свертке, из которого валится ей на колени всякая всячина...

Через минуту все, они уже сидят, припав к столам, с громадным вдохновением пишут, хватаются за головы, стонут, урчат, перечерки-

вают написанное, сидят с закрытыми глазами, потом снова пишут, показывают друг другу удачные строчки, советуются, спорят, горячатся.

И во всем зале царит точно такое же нервное оживление. Говор, смех, беготня... К чернеющему возле одной стены пианино то и дело подсаживаются разные люди и наигрывают и напевают разные мотивы: то веселые, то грустные, то буйные, то вдруг похоронные...

VIII

Вера сидит с Шибалиным за одним столиком, пьет чай, ласково льнет к нему, не спускает с него преданных глаз.

— Никочка, ты сегодня имел тут такой успех, такой успех, какого никогда не видел этот зал. Союз писателей должен быть тебе благодарен за это. У них тут всегда такая мертвечина.

Шибалин, чтобы скрыть слишком бурную радость, играющую в груди, отводит глаза в сторону, щурится, старается казаться равнодушным, утомленным, полуспящим.

— А что, разве публике понравился мой доклад? — приоткрывает он один глаз.

— Еще как!

— А ты не заметила, кто свистал?

— Заметила. Это все те же твои соперники и завистники. Та же компания.

— Так что в общем моя идея принята хорошо?

— О! Все в безумном восторге от твоей новой идеи! Если бы ты видел, что делалось в зале, в задних рядах! Несколько психопатов, я своими глазами видела, писали тебе на подоконниках любовные записки, и, вероятно, ты скоро их получишь. Только, смотри, не рви их, не показав мне. По правде сказать, я сама несколько раз порывалась бежать на кафедру, чтобы расцеловать тебя!

Шибалин хмурится:

— Хм... Этого еще не доставало, чтобы ты целовала меня при публике. Вот это была бы настоящая психопатия!

Вера с восторгом:

— Глупый, ты даже не представляешь себе, какой ты бываешь интересный во время своих выступлений!

Закатывает глаза, делает вид, что хочет броситься его целовать.

Шибалин старается не смотреть на нее:

— Ты лучше обрати внимание, как сразу ожил наш союз.

Вера поворачивает голову туда же, куда смотрит и он. С жаром:

— А об чем же я тебе говорю! И виновник всего этого оживления ты, Ника. Ты сегодня герой. Смотри, какими глазами глядят со всех сторон на нас с тобой. И говорят только о нас. Некоторые парочки проходят мимо нашего столика специально для того, чтобы поближе нас разглядеть. Даже неловко. Вот опять пара идет прямо

на нас, оба не спускают с тебя глаз, смотри, смотри. Идут и что-то про тебя говорят. Должно быть, расхваливают твой талант. Или завидуют мне, что я с тобой живу.

Она прижимается одной щекой к плечу Шибалина, точно укладывается спать. Из ее широко раскрытых счастливых глаз падают на его плечо слезинки...

IX

Антон Печальный и Аннета Сознательная, взявшись под руку, проходят мимо столика Шибалина.

Антон Печальный:

— Заметила, Аннета, какие у Шибалина глаза? Так и пронизывают, так и вскрывают всего тебя, так и жгут! Не человек, а орел!

Аннета Сознательная с мечтательным вздохом:

— Да. В такого мужчину сразу влюбиться можно. Сплошная прелесть! Ни к чему не придерешься!

Антон Печальный печально:

— Я не в этом смысле.

Аннета Сознательная твердо:

— А я в этом. Ты только погляди, какие у него губы! В такие губы так вкусно целоваться!

— Вот! Ты уже и „влюбляться“ и „целоваться“! У тебя всегда только это в голове. Человек носит в груди весь мир, всю вселенную, человек дышит великой социальной идеей, — а ты? А ты все сводишь в нем к физическому. Тьфу! Даже противно! Ненавижу за это женщин!

— погоди, ты не плюй. Почему ты так вооружаешься против физического? Ведь без физического тоже нельзя. Хорошо, когда и то есть и другое: и физическое и духовное. Как говорится, одно при другом.

Они садятся за столик.

— Не выношу, когда женщина рассуждает!

— Значит, женщине нельзя рассуждать? Член партии!

— Тут дело, конечно, не в рассуждении, а в том, что успех Шибалина настолько ослепил твои глаза, настолько затуманил твое сознание, что, помани он сейчас тебя пальчиком, как ты сейчас же побежишь за ним! Разве я не вижу?

— И побегу! и побегу, если захочу! Вам, мужчинам, за интересными женщинами бегать можно, а почему же нам нельзя бегать за интересными мужчинами? Равноправие, так равноправие! Ну, не сердись, Антон, не кисни, я пошутила!.. Ты ведь прекрасно знаешь, что кроме тебя мне никого из мужчин не надо.

— Подобными „шутками“, Аннета, ты лишний раз показываешь мне, что есть в своем существе женщина.

— Ну, прекратим об этом, Антон! Довольно! Спрячь свою глупую ревность! Слышишь! Иначе я сегодня же уйду от тебя...

Она отворачивается от Антона Печального, смотрит издали на Шибалина. Говорит другим тоном:

— Ты лучше вот что мне об'ясни: каким образом могло случиться, что такой представительный мужчина, как Шибалин, мог связать свою судьбу с такой мало интересной особой, как эта Вера Колосова? Ишь, как кривляется! Неужели он не мог найти себе что-нибудь получше?

Антон Печальный раздраженно поводит плечами:

— А как ее найти? Где искать? Ты слыхала, что он сегодня сам об этом говорил в своей лекции. Ведь до сегодняшнего вечера ни мужчинам, ни женщинам нельзя было сознательно выбирать себе пару, раз все считались „незнакомыми“. Хватали, что попадалось под руку. Это только нам с тобой повезло, что мы нашли друг друга. А остальные живут чорт знает с кем, чорт знает как.

— Ну, а теперь, когда все будут считаться „знакомыми“, ты думаешь, он отыщет себе более... достойную?

— Теперь-то да.

Аннета Сознательная смотрит на Веру, полупрезрительно щурит глаза.

— Она так к нему не подходит, так не подходит, что всякий раз, когда я их вижу вместе, я вся дрожу от обиды! Мне делается так больно за него, что я бываю готова, расплакаться от досады!

Антон Печальный грубо одергивает ее за локоть:

— А ты не очень-то пяль глаза на него. Не очень-то заглядывайся. Не делай себя смешной. Ну, чего ты уставилась на него?

— А что, нельзя смотреть? Почему же не посмотреть?

— Потому, что подумает — психопатка!

— Не подумает! И я не на него гляжу, а на нее. Смотри, как она наслаждается, как вертится! Так и купается в лучах его славы.

Антон Печальный тоже переводит глаза на Веру.

— Ты не знаешь, Аннета, он с ней давно живет?

Аннета поднимает голову, вспоминает:

— В ноябре месяце, 12 числа, исполнился ровно год, как они начали.

— Ого, какие подробности ты знаешь!

— Это в нашем союзе каждая женщина знает. Потому что каждой обидно, не мне одной.

Антон Печальный вдруг вместе со стулом поворачивается к Шибалину, настораживается, говорит голосом охотника, внезапно завидевшего дичь:

— Гляди, гляди, к нему подходит Мухарашвили. Это к деньгам. К большим деньгам. Будет предлагать ему поездку по России с его новой идеей. Надо пойти послушать, сколько он ему будет предлагать. Ты тут посиди, а я пройду.

Он идет, как будто случайно, с невинным лицом, садится на свободный стул, рядом со столиком Шибалина, поворачивается к Шибалину и Мухарашвили спиной, незаметно под'езжает к ним вместе со

стулом все ближе и ближе, направляет назад то одно ухо, то другое, жадно ловит каждое слово их разговора.

И по всему залу, по всем столикам, при появлении возле Шибалина Мухарашвили, проносится сладостный шопот:

— Деньги... Деньги... Деньги...

Иные при этом даже меняют позы на стульях, садятся поэффektнее, поправляют на себе платье, прическу, делают приятные лица, точно и сами готовятся к решающему смотрю.

Х

Мухарашвили подходит к Шибалину, здоровается, подсаживается. С сильным кавказским акцентом:

— Имею к вам дело, товарищ Шибалин.

Шибалин, погруженный в наблюдение окружающего, неохотно:

— Слушаю.

— Вы, понятно, знаете, что я вам хочу предложить.

— Ехать?

— Да.

— А с чем?

— С сегодняшней вашей лекцией о „знакомых“ и „незнакомых“.

Этот товар сейчас кругом пойдет. И вы заработаете, и я заработаю. Идет?

Шибалин, не глядя на него, небрежно и вместе тяжело:

— Деньги!

— Что деньги?

Шибалин еще тяжелее и с ноткой раздражения:

— Деньги!

— „Денги“, „денги“, гавари, пожалста, что „денги“?

Шибалин полуоборачивает лицо к Мухарашвили, глядит на него через плечо:

— Деньги сейчас есть?

— Сейчас, понятно, нет. Сейчас ночь.

Шибалин, подернув головой, пренебрежительно отворачивается.

Мухарашвили поспешно:

— Сейчас нет, а завтра будут.

Шибалин, глядя в публику, вяло:

— Завтра мне не надо, мне сегодня надо, сейчас. При вас есть?

— При мне, понятно, нет. Я не банк, денег при себе не держу.

Шибалин опять потряхивает головой с таким видом, как будто говорит: „вот это и плохо, что ты не банк“.

Мухарашвили продолжает оправдываться, Шибалин не слушает его, сидит к нему спиной, говорит с Верой, показывает ей на кого-то в публике, смеется.

Мухарашвили сидит, глядит в его спину, качает головой:

— Ой, нехорошо так, товарищ Шибалин, нехорошо!

Осторожно прикасается рукой к его плечу:

— Товарищ Шибалин!

— Что скажете?

Мухарашвили улыбается:

— Сегодня деньги тоже есть.

— Так бы и сказали.

Мухарашвили достает из кармана лист исписанной бумаги, кладет перед Шибалиным, подает перо:

— Подпишитесь тут, тогда можно будет дать деньги. Хотя эти деньги не мои, ну, ничего...

Шибалин, не двигая головой, опускает глаза, равнодушно читает.

— Вот эту сумму рублей увеличьте вдвое, — указывает он пером лениво, — а этот срок путешествия уменьшите вдвое. Тогда можно будет подписать.

Кладет перо.

Мухарашвили смотрит на цифры, хватается за грудь:

— Ой, ой...

Шибалин спокойно:

— Дело ваше.

Отодвигает от себя условие.

Вера, с нежностью прильнув к его плечу:

— Конечно, Никочка, дешевле не соглашайся. С какой стати! Ездить по разным Асхабадам... Еще убьют в дороге. Или обкрадут. Помнишь, как в прошлом году у нас под Карасубазаром ящик с рукописями украли?..

Мухарашвили сидит, согнувшись над столом; долгим, неподвижным, омертвевшим взглядом смотрит в условие; равномерно покачивает головой; тихонько подвывает однообразный, монотонный напев, точно убаюкивает ребенка...

Антон Печальный несколько раз проходит мимо стола Шибалина, запускает один глаз в условие, силится разглядеть цифры.

Наконец, Мухарашвили выпрямляется, выпускает шумный вздох, делает хищные глаза, прижимает к груди два толстых пальца:

— Смотри, столько прибавлю!

Шибалин тихим горловым звуком:

— Нет...

Мухарашвили горячится, прижимает к груди три пальца:

— Столька!

Шибалин попрежнему еще тише:

— Нет...

Мухарашвили багровеет, задыхается, прижимает к животу четыре пальца, кричит:

— Ну, столько! И больше ни копейки, ни копейки!

Упирается руками в колени, тяжело дышит.

Шибалин, без слов, одним кивком головы отвечает „нет“.

Мухарашвили вздрагивает на стуле:

— Не понимаю! Не понимаю!

Достает носовой платок, вытирает с шеи пот. Потом растопыривает перед Шибалиным руки, как клешни, вбирает между плеч голову, спрашивает:

— Ну, какая же будет твоя цена? Говори окончательную цену! Шибалин, едва шевеля губами:

— Как сказал.

Мухарашвили, с мучительной гримасой и с непрерывным стоном, как человек, которому делают трудную операцию, свертывает вчетверо условие, кладет его в карман, встает, откланивается. Вере, уходит, сейчас же останавливается, стоит в полуоборота, цыкает стиснутыми зубами Шибалину:

— Ццц!

Шибалин оборачивается.

Кавказец со страшным выражением лица показывает ему все пять пальцев, волосатых, похожих на лапу гориллы.

— Столько дать?

Шибалин, наморщив слегка нос, делает кистью руки движение, означающее: „проваливай“. И продолжает разговор с Верой.

Мухарашвили быстро уходит, не видя перед собой ничего, кроме своей неудачи, и выбрасывая из себя на кавказском наречии все известные ему ругательства.

XI

Два друга, Антон Нешамавший и Антон Неевский, сидят, пьют пиво, говорят о Шибалине...

— Видал, какую пачку денег показывал ему Мухарашвили?

— Положим, денег он ему не показывал. Договор показывал.

— А договор разве не деньги?

— Не совсем.

— И придумал же: „знакомые“ и „незнакомые“. Ха-ха-ха!

— Да! Идеяка эта сама по себе не ахти какая мудреная, а между тем какая хлебная! Ах, какая она хлебная! Она будет кормить его и кормить.

Антон Нешамавший на эти слова друга безрадостно покачивает головой, потом с чувством высасывает до-суха стакан пива, шлепает доньшком стакана о стол и изрекает раздельно:

— И вообще в нашем литературном деле главное — сделать шум. Шум сделаешь, и тогда деньги потекут к тебе рекой. И какую бы ерунду после этого ни написал, издатели с руками оторвут.

— И хорошо заплатят, — вставляет скороговоркой Антон Неевский между двумя глотками пива.

— И хорошо заплатят, — повторяет Антон Нешамавший. — Не то, что нам с тобой, Антону Нешамавшему и Антону Неевшему. Ходишь-ходишь по редакциям, клянчишь-клянчишь, и везде один ответ: „Касса пуста, наведайтесь через недельку“. А когда и дадут, то такую малую.

сумму, что никак не придумаешь, на что ее употребить. И в конце концов возьмешь, да и пропьешь, как вот сегодня.

— Эти люди Пушкина голодом заморили бы, — замечает Антон Неевский обиженно.

Оба меланхолически вздыхают. Несколько раз потряхивают над стаканами давно опорожненные бутылки. Потом, — настреляв в ладонь среди друзей за соседними столиками, — берут еще „парочку“...

— Я уже думаю, не переменить ли мне псевдоним, — говорит Антон Нешамавший, отведав пивка из свежей бутылки. — А то чертовски не везет! Во многих местах редакторы стали заранее отказывать, даже не читавши рукописи...

— Рукописи лучше всего посылать из глухой провинции, под видом новых, еще не открытых талантов, — предлагает Антон Неевский.

— А рукописи новичков и вовсе смотреть не будут, прямо бросят в корзину, — не соглашается с ним Антон Нешамавший. — Словом, положение наше пиковое, — вздыхает он. — В одном месте не берут вещь, в другом не берут... Волей-неволей приходится застрачивать редакторов, прибегать к помощи рекомендательных писем от влиятельных лиц. Я тут было на одного редактора нагнал такой мандраж! Говорит: „Плохая вещь“. Я: „Что-о?“. И побежал куда следует. На другой день вещь оказалась прекрасной, появилась на первой странице, потом о ней были в печати хорошие отзывы. Но, конечно, я сам сознаю, что это не дело. На испуг брать редакцию можно раз, можно два, но не всю же жизнь. Антоша, сколько лет мы с тобой пишем?

Неевский, вместо ответа, безнадежно крутит головой, делает сам себе какие-то знаки руками, наливает, с аппетитом пьет.

Потом с сокрушением:

— Да, брат... Годы уходят... А про Антона Нешамавшего и Антона Неевского все не слышать и не слышать... А другие гремят...

Нешамавший:

— И еще как гремят!

Указывает на Шибалина:

— Вот тебе первый пример!

Неевский тоже поворачивает в ту сторону лицо, смотрит на Шибалина, соображает.

— Не знаешь, сколько ему может быть лет?

— А кто его знает. Во всяком случае человек он уже немолодой. На много старше нас. Так что мы в его годы, конечно, тоже...

— Немолодой-то он немолодой, — рассуждает Неевский. — Но и нестарый тоже.

— Это, положим, верно, — против желания соглашается Нешамавший и припоминает. — А помнишь, как когда-то писали в газетах, будто во время гражданской войны его расшлепали — не то белые, не то красные — где-то под Ростовом-на-Дону? А он живехонек.

— Не только живехонек, — улыбается горькой улыбкой Неевский: — но еще и нас с тобой переживет.

Антон Нешамавший тоном обманутых ожиданий:

— Болтали, что он совсем старик, что у него каких только болезней нет! И туберкулез, и сифилис, и подагра, и глухота на правое ухо, и атрофия обоняния левой ноздри... А он вон какой.

Антон Неевский:

— Конечно, раз человек хорошо питается... Главное — хорошее питание... Если бы нам с тобой усилить питание...

— Хотя, знаешь, а голосок-то у него все-таки того, подозрительный, хриловатый, — с выражением отрадного открытия перебивает его Нешамавший.

Неевский только машет на это рукой:

— Пустое. Просто в последнее время ему приходится много выступать.

— А краснота носа?

— Она у него прирожденная. Об этом мне приходилось много говорить с его родственниками, которые знают его с раннего детства.

Минуту-другую друзья молчат; потягивают из стаканов; хмелеют; бросают взгляды в сторону Шибалина; думают...

— А знаешь что? — нарушает молчание Неевский. — По моему, сколько бы о нем ни шумели, талант у него все-таки очень умеренный.

Нешамавший:

— Небольшой.

Неевский:

— Таких, как он, много.

Нешамавший:

— Даже очень много.

— Просто человек умеет попадать в точку, как говорится, ловит момент.

— Вот именно. И это не столько творчество, сколько дельчество.

Неевский:

— Ловкость рук.

Нешамавший:

— Жульничество.

— И гениального этот человек ничего не напишет.

— Гениального — никогда.

— Хотя, быть может, еще и даст несколько ярких вещичек...

А вот я, ты знаешь, какую я недавно повесть написал?

— Закончил?

— Почти. Переваливаю через середину. Так что, можно сказать, — заканчиваю. Самые трудные места уже пройдены. Вот это действительно вещица! Это не шибалинская полупублицистика. Это такая вещь, которую с одинаковым наслаждением можно будет перечитывать десятки раз! Ты знаешь, Антон Нешамавший, как вообще критически я отношусь к своим произведениям, как я их не люблю, —

ну, а об этой вещи могу сказать, что это такая вещь, понимаешь ты, такая вещь...

Антон Нешамавший вдруг тоже начинает чувствовать, как понемногу земля уходит из-под его ног... Вот он окончательно отделяется от почвы и летит по воздуху, несется вверх... И он уже не может слушать друга. Мучительно хочет сам говорить о своих светлых надеждах, говорить все равно кому: стенам, потолку, пустому пространству.

— А я знаешь, какой задумал написать рассказец! — прерывает он друга. — На такую темку, на такую, понимаешь ты, загвоздистую темку, что каждый редактор скажет: „Вот это, да“! Собственно, это будет не рассказец, а целый роман, большой роман, в нескольких книгах! Воображаю, какой поднимется в нашей литературе переполох, когда он выйдет в свет! Вот будет шум! Ты знаешь, Антон Неевский, что не в моем характере расхваливать собственные произведения, — ну, а этот романище будет такой...

— А я, — перебивает его дрожащим голосом Антон Неевский и дергает друга за плечо. — А я ни капельки не боюсь за успех своей новой повести, я в ней так уверен, я за нее так спокоен! Знаю, что она выдержит десятки изданий!..

— А мой роман, — ловит Антон Нешамавший друга за руки, прикручивает их к его талии, держит, а сам говорит ему прямо в ухо, как льет в воронку: — а мой роман, без сомнения, будут переводить на все языки...

Антон Неевский освобождает свои руки из рук друга, сам неожиданным нападением берет его в обхват, держит, заставляет слушать:

— А я дешевле трехсот рублей с листа за свою будущую повесть не возьму! 10 печатных листов по 300 рублей, это составит 3 тысячи рублей!

Антон Нешамавший нечеловеческими усилиями вырывается из объятий Антона Неевского. Они делают одновременный прыжок друг на друга, сливаются в один ком, катаются по столу, торопливо говорят, оба сразу.

Неевский:

— 10 переизданий повести по 3 тысячи за каждое, итого 30 тысяч рублей гарантированного дохода. Хорошая жизнь, спокойная работа, месье редакторам...

Нешамавший:

— 40 печатных листов романа, по 400 рублей за лист, равняется четырежды четыре шестнадцать, да плюс три нуля справа, да за повторные издания по столько же...

ХII

Вера Шибалину, ласково:

— Никочка, мы с тобой отсюда куда пойдем? Прямо домой? Шибалин сухо:

— Ты сейчас пойдешь домой, а я еще посижу здесь.

— Почему? Почему мне итти домой одной? Опять одна! Не даром все замечают, что ты с каждым днем все меньше и меньше бываешь со мной.

— Скажи этим „всем“, что если бы я был праздным помещиком, то я по 24 часа в сутки цацкался бы с тобой!

— Фу, как грубо! Ты в последнее время так груб, так груб со мной! Писатель, а ни капельки чуткости к женщине, ни капельки! Или ты это делаешь нарочно, стараешься казаться мне худшим, чем ты на самом деле, чтобы я тебя разлюбила, и чтобы тебе было легче бросить меня?

— О! Уже! Начинается...

— Да, „начинается“. Скажу тебе правду, Ника: мне все кажется, что ты уже окончательно охладел ко мне и подыскиваешь себе другую...

— Если у человека расстроены нервы, то мало ли что ему может казаться? Принимай бром.

— Опять грубость. Я уже начинаю привыкать к тому, что у тебя ко мне нет другого отношения: либо грубость, либо ирония. Никогда не говоришь со мной по-человечески. Зато во время беседы с другими, в особенности с женщинами, ты так оживляешься, так преображаешься, что я смотрю на тебя и спрашиваю себя: да ты ли это?

Шибалин утомленно:

— Вера, скажи, чего ты хочешь от меня?

— Большой ясности, большей определенности в наших отношениях. Вот уже год, как живу с тобой, а меня до сих пор не покидает странное беспокойство, как-будто сижу в вагоне и дрожу: боюсь проехать свою станцию.

— Ну, а я виноват в этом?

— Конечно, виноват. Ты, чем дальше, тем больше замыкаешься от меня, и я не знаю, что у тебя делается в душе.

— Замыкаюсь? Новое обвинение...

— А разве нет?

— Вера, ты бы хотя приводила факты.

— Факты? Фактов много. Вот наугад беру первый: ты знаешь, Ника, как меня интересуют твои литературные работы, и все-таки тщательно скрываешь их от меня. О содержании вновь задуманных тобой повестей я узнаю только из газет, то-есть после всех. Ну, разве это не обидно? Кто я тебе? И это ставит меня всегда в дурацкое положение перед другими: все говорят о твоих будущих произведениях, спрашивают меня о подробностях, а я делаю удивленное лицо и сама принимаюсь их расспрашивать. Ну, разве это нормально?

— Вера, ты знаешь, что сам я никогда никаких сведений о своих будущих вещах в печать не даю. Там пишутся большею частью чьи-нибудь догадки, предположения...

— Но со мной-то ты мог бы поделиться своими новыми планами?

— Не всегда.

— Почему?

— Очень просто почему. Потому что, если бы я тебе или кому-нибудь другому заранее передавал содержание своих будущих повестей, то потом у меня пропадала бы охота над ними работать. Таково одно из странных условий успешного литературного творчества: до поры до времени оно должно бояться базара, улицы, суеты.

— Значит, я для тебя базар?

— Вот видишь, Вера, ты опять споришь со мной! Ты знаешь, к чему это приводит?

— Никочка, миленький, не сердись! После того, как ты имел тут такой успех, я чувствую к тебе особенно глубокую нежность, и мне так не хотелось бы сейчас от тебя уходить!

— Немного посидела со мной и достаточно. Дома у нас опять увидимся. Нельзя же быть такими неразлучниками.

— Не понимаю, Никочка, почему ты так настойчиво добиваешься, чтобы я сейчас ушла от тебя...

— Вера, не забудь, что сейчас во мне, как писателя, совершается большая работа. Сегодня я впервые бросил в массы свою заветную социальную идею, которую вынашивал десятилетия. И сейчас я смотрю за эффектом, который произвела на публику моя идея. Смотрю, слушаю, сличаю, делаю важные выводы. А ты в это время сидишь рядом со мной, и, извини меня, пристаешь ко мне со своими маленькими женскими чувствешками...

— О, как это жестоко, Ника! Так топтать в грязь женское чувство! Ты художник, правдивый изобразитель жизни, даже психолог,— это я все признаю за тобой. Но почему, скажи, почему ты так туп в любви?! Мне больно видеть, как сердце твое деревянеет и деревянеет!

— В том-то моя и беда, Вера, что не деревянеет. О, если бы ты звала, как оно у меня не деревянеет!

— Тогда докажи: брось сейчас все и пойдем со мной домой!

— Странная ты. Я тебе только что объяснял, почему для меня особенно важно остаться здесь.

— Ну, хорошо. Тогда разреши и мне остаться с тобой. Говоришь—наблюдаешь? И наблюдай себе, сколько хочешь, я тебе не буду мешать. Я сделаюсь маленькой-маленькой, тихонькой-тихонькой, такой беспомощной букашечкой... И сяду я, чтобы ты не замечал меня, вот так, чуточку позади тебя. Я буду сидеть и радоваться, что сижу возле тебя и что ты работаешь, наблюдаешь, делаешь важные выводы. Я буду охранять твой покой, караулить, чтобы никто тебе не помешал, сделаюсь твоим ангелом-хранителем. Я вцеплюсь в волосы каждому, кто оторвет тебя от твоих важных дум. Ведь ты прекрасно знаешь, что нет того дела, того подвига, которого я не совершила бы ради тебя! Я тебя так люблю, как тебя никогда не любила и никогда не полюбит никакая другая женщина!

Шибалин слушает, нетерпеливо морщится:

— Тише! Потихонечко говори, Вера!.. Нас могут услышать! Смотри, как все уже насторожилось! Отложи свои излияния до прихода домой! Вера, разгорячаясь все более:

— Ну, и пусть услышат! Пусть! Пусть все узнают! Я ничего не боюсь, ни от кого не скрываюсь! Я могу сейчас встать на этот стул и во всеуслышание объявить, что я, Вера Колосова, до безумия люблю тебя, Никиту Шибалина! Я не боюсь, это только ты всего боишься, ты всего трусишь, как заяц! Это только ты стараешься скрыть от всех нашу связь, нашу любовь! Я сказала „нашу любовь“, но ты, Никита, быть может, уже не любишь меня?

— Вера, ну, вот видишь, какая ты! Ну, как же после этого с тобой жить! Нашла время и место для подробного взвешивания моего чувства к тебе! Как-будто мы мало занимаемся этим дома! Это ли не безумие!

— Да, я сама говорю, что я безумная! Я безумная! Я безумная оттого, что люблю тебя! Я безумная оттого, что мне даже сейчас хочется ласкать тебя, ласкать неторопливо, мучительно, остро, чтобы ты у меня стонал от боли, от наслаждения...

Дрожащими губами что-то шепчет ему на ухо, безумными глазами заглядывает в его лицо.

Он и отталкивает ее от себя и в то же время порывается к ней. В страшных мучениях борется:

— Ой! Что ты делаешь со мной, Вера! Как терзаешь ты меня, как мучишь, а уверяешь, что любишь! Если бы ты любила меня, ты больше щадила бы мои силы! Чтобы сломить во мне человека и бросить к своим ногам, ты распалашешь во мне низкую похоть,—это твой женский прием борьбы со мной! И ты пускаешь при этом в ход всю свою развращенность!

Голос Шибалина срывается, переходит в медленное раздельное задыхающееся хрипение:

— Ты и привязала-то меня к себе раз-вра-том...

— Никита! Ты с ума сошел! Как тебе не стыдно! Что ты говоришь! Это же ложь! Сплошная ложь! А твоя любовь ко мне? Разве не она привязала тебя ко мне? Или ты тогда лгал, когда уверял, что любишь меня?

-- Я не тебя любил!.. Я твой разврат любил!..

-- О, я не верю тебе! Не могу поверить! Не могу представить, чтобы ты весь год нашей связи притворялся со мной!

— Ты точно задалась целью поскорее обессилить меня, обезоружить, выжать из меня весь сок моего мозга, сердца, нервов...

— Никита, ты всегда страшно преувеличиваешь! Ну, к чему здесь эти громкие „литературные“ словечки: „сок мозга, сердца, нервов“? К чему городить ужасы там, где их нет? Будь чуточку справедлив ко мне и ответь честно: ну, а ты-то, ты, ты, разве ты не получаешь со мной наслаждения?

Шибалин, как от страшной физической боли, корчит лицо:

— „Наслаждение“, „наслаждение“!.. Там, где мужчина ищет только здорового удовлетворения, нужного ему для дальнейшего жизненного строительства и борьбы, там женщина, вследствие узости своих интересов, находит наслаждение и делает его смыслом своего бытия! Для мужчины любовь средство, для женщины цель!

Вера с иронией:

— Подумаешь, какой вдруг сделался благоразумный! С каких это пор? А почему ты раньше, раньше, еще когда не сходился со мной, почему ты тогда не жалел расточать свою страсть налево и направо, бог знает на кого?! Воображаю, какие делал ты тогда безрассудства! А сейчас-то, я знаю, ты просто хитришь со мной, подливаешь, стараешься экономить свою мужскую силу, берегешь ее для другой! О другой думаешь!!! О лучшей мечтаешь!!! Думаешь, я не вижу??? Но...

С искаженным страстью лицом опять что-то шепчет ему на ухо обжигающим ртом.

Он отбрасывается от нее в сторону.

— З-замолчи ты! Замолчи сейчас!—с трудом удерживает он себя от готовых вырваться по ее адресу оскорблений.—О, если бы ты знала, какое ты причиняешь мне сейчас зло!

— „Зло“? „Зло“? И это за всю мою любовь к нему!!!

— Да, зло! До той минуты, как ты подседа к моему столику, у меня было такое высокое настроение, такое ощущение собственной мощи, такая вера в плодотворность моей идеи! Но вот ты пришла, ты подкралась ко мне, нащупала слабое место во мне и, как змея...

— Никита!!! За что??? Так оскорблять!!! Так поносить!!! И главное, если бы знала, за что!!! Остановись, не говори так, опомнись!..

Голос Шибалина шипит:

— Погоди... Погоди... Да, ты подкралась ко мне... и, как змея, ужалила меня, отравила ядом, самым сильным из всех на земле... ядом страсти... ядом похоти... Сбросила меня с моих высот к себе в низины... И вот... И вот я уже не Шибалин, не сила, не творец, не гений, а ничтожество, жалкий раб самки, „победившей“ меня, червь...

Вера, с беспредельным горем:

— Так позорить меня!!! Так чернить меня!!! Ника, я боюсь тебя, ты сходишь с ума...

Шибалин хватает ее за руку. Говорит шипящим шопотом:

— И ты добилась своего: я уже выбросил из головы свою идею, и, вместо нее, воображение мое пленяется уже другими картинками, кровь горит другими желаниями... И вот я уже борюсь, я уже не знаю, оставаться ли мне сейчас здесь, на моем общественном, на моем мировом посту, или... или же поползти за тобой в нашу... в нашу спальню...

Вера с горечью и вместе с мечтой:

— О, если бы так действовала на тебя только одна я! А то, боюсь, тебя каждая женщина так возбуждает!

— Вера! Прошу тебя... Оставь меня... Оставь сейчас... Может быть, то высокое настроение еще вернется ко мне...

Вера ломает руки, вся сжимается:

— Про-го-ня-ет! Уже! Уже прогоняет! Дождалась!

— Вера!

— Хорошо, хорошо, ухожу. Ухожу сейчас даже не допью этого стакана...

Встает, с мученическим лицом держится за крышку стола, чтобы не упасть.

Шибалин не может смотреть на нее, говорит трудно, отдельно, в пол:

— Стакан-то... допить... ты можешь...

Вера:

— Теперь уже не хочу... Когда отравил все мое настроение...

С мукой:

— И всегда так: лечу к нему жизнерадостная, счастливая, ухожу от него раздавленная, разбитая!!!

Уходит.

Желтинский, все время издали наблюдавший за ней и Шибалиным, подбегает к ней:

— Мы теперь домой?

Вера резко:

— Вы домой. А я еще тут посижу.

Желтинский обиженно:

— Почему же я один должен домой итти? Почему мне нельзя остаться с вами?

Проходят в дверь с надписью „библиотека“.

XIII

В это время Зина подбегает к Шибалину, здоровается, садится, очень волнуется.

— Я видела, я видела, как она не хотела от вас уходить. Все-таки странная особа. Неужели она сама не чувствует? Почему вы не скажете ей всего?

Шибалин морщит лицо трагической гримасой:

— Женщине, с которой живешь, которую когда-то любил, которой в сущности многим обязан, вдруг в один прекрасный день взять и об'явить, что она уже не нравится, надоела, раздражает, бесит... О, если бы вы знали, Зина, как тяжело это сделать!

— И вы до сих пор ей не об'являли?

— Нет.

— Все откладываете?

— Да.

— А про меня говорили?

— Тоже нет.

— Когда же скажете?

— Теперь уже скоро...

— Напрасно, напрасно, Никита Акимыч, вы тянете с этим. Женщине в таких случаях лучше всего говорить сразу всю правду.

— А если эта правда ее убьет?

— Не убьет. Лучше сразу перенести один удар, чем изводиться постепенно.

— Зина, а для себя лично вы тоже предпочитали бы „сразу узнать всю правду“, если бы оказались в положении Веры?

— Конечно.

Шибалин долго и по-особенному глядит ей в лицо.

— Гм... Ну, а я Вере не решился сказать всего. Но вчера не скажал—сегодня скажу. Вообще сегодняшний день, Зина, исключительный в моей жизни, переломный. С сегодняшнего дня ни одна женщина никогда не услышит от меня, как от мужчины, слова неправды.

Зина улыбается.

— Начнете с меня?

Шибалин значительно:

— Да, Зина, с вас!

— Мне очень приятно слышать это, Никита Акимыч. Я очень благодарна вам за это.

— Не меня благодарите, Зина! Стечение обстоятельств благодарите! Вы встретились мне на моем жизненном пути как раз в такой момент, когда я пришел к решению и жить и работать по-новому!

— Никита Акимыч, не скрою от вас: я и радуюсь такому „стечению обстоятельств“ и в то же время печалюсь...

— А печалитесь почему?

— Не могу забыть ее лица, с которым она уходила от вас. На ее лице было написано такое беспредельное горе, что я сама едва удержалась от слез. Теперь-то я вижу, как эта женщина любит вас: И вчерашнее наше решение, Никита Акимыч, сейчас снова заколебалось во мне. Хорошо ли мы поступаем?

— Опять?! Опять колебания?!

— Да. Но я не могу, Никита Акимыч, понимаете, не могу! Еще неизвестно, что мы с вами дадим друг другу, а ее-то жизнь обязательно разобьем. Теперь я это знаю.

— Зина! Зачем вы столько времени мучаете меня? Сегодня вы воскрешаете разговор, похороненный нами вчера! До каких пор это будет продолжаться? Тогда лучше давайте сразу, сегодня же, сейчас же покончим со всем навсегда и останемся только хорошими знакомыми!

— Никита Акимыч. Вы думаете взять меня запугиванием? Это что? Ваш обычный мужской прием?

— Тут дело не в „запугивании“, Зина, и, конечно, никаких „обычных мужских приемов“ у меня нет! Просто я чувствую необходимость притти, наконец, к какому-нибудь определенному решению, в ту или

другую сторону. А то у вас сегодня „да“, завтра „нет“, послезавтра опять „да“. Так нельзя. Нужно решаться на что-нибудь одно. А в вас до сих пор не прекращается борьба! Вы как-будто и хотите и вместе с тем чего-то остерегаетесь. Об'ясните, в чем дело?

— Никита Акимыч... я не спала всю эту ночь... ни на минуту не заснула... все думала о нашем деле... И, страшно сознаться, ни к чему определенному не пришла... А тут увидела такое лицо Веры, и все во мне еще больше запуталось... Вы не сердитесь на меня, Никита Акимыч, я сама не понимаю, что делается со мной... И сознаешь, что вы в ваших рассуждениях правы, и в то же время чувствуешь, что собираешься сделать что-то нехорошее, гадкое...

— Га-ад-ко-е?

— Да, гадкое. И во всяком случае что-то несерьезное, ненастоящее.

— Ага... Если так, Зина, если гадкое, то теперь, конечно, вы сами видите, что нам лучше всего расстаться сейчас же. Признаться, наши переговоры, затянувшиеся на целый месяц, и ваши колебания уже успели породить и во мне самом ряд сомнений. Да подходящая ли мы друг для друга пара? Да не слишком ли велика разница в наших взглядах на эти вещи?

Испугом наполняются глаза Зины, когда она выслушивает последние слова Шибалина. Лицо ее сперва бледнеет, потом краснеет. Голос дрожит. Она не дает ему договорить, вся влечется к нему, крепко схватывает за руку:

— Никита Акимыч! Вероятно, я неправильно выражаюсь, что ли... Может быть, я даже не то наговорила, что хотела... Но я вижу: вы не так понимаете меня... Если хотите знать мой окончательный ответ, то, конечно же, я согласна... Собственно, в душе я давно была согласна, я все время была согласна, как только встретила с вами... Знала, что уйти от вас все равно не смогу... Но почему-то, сама не знаю почему, я все откладывала начало нашей... нашей связи, отдаляла, я все чего-то ожидала от вас еще...

— Не свахи ли?— улыбается Шибалин.— Не родительского ли благословения иконой?

— Не смейтесь, Никита Акимыч... Я сама не знаю, чего от вас я ожидала еще... Я, видно, воспиталась на мысли, что это несколько сложнее, ну и торжественнее, что ли... А теперь вижу: это было во мне просто ребячество... И вы должны простить мне это, Никита Акимыч, не осуждать... Не забудьте, что я совсем еще не жила этой жизнью, и вы, как более опытный человек, должны были поступать более настойчиво и мне побольше об этом раз'яснять...

— Словом, мы остаемся при вчерашнем решении?— весело спрашивает Шибалин.

— Ну, конечно же,— виновато смеется Зина.

— А завтра? Завтра опять передумаете?

— Ну, нет. Теперь не передумаю. Лишь бы вы не передумали..

Он осторожно прикасается к кисти ее руки, лежащей у нее на коленях.

— Скажите, Зиночка, а вообще-то вы верите мне?

— Это как?

— Верите, что я не причиню вам никакой неприятности? Верите, что Никита Шибалин вообще не способен на подлость по отношению к женщине?

— Еще бы не верить! Кому же тогда верить?

— А признаете ли вы мою общественно-писательскую работу значительной, стоящей того, чтобы ей отдать всю нашу жизнь, мою и вашу?

— Конечно, признаю.

— Значит, вы хотели бы стать моей помощницей в моей работе?

— Что за вопрос? Страшно хотела бы, страшно! Но смогу ли я? Вот чего я боюсь.

— Сможете, Зиночка, сможете! Если будете меня любить, то уже одним этим облегчите труд моей жизни наполовину.

— Любить-то я вас буду... Знаете что, Никита Акимыч? Это, быть может, покажется вам смешным, но, после того, как я увлеклась вами и перечитала все ваши произведения, мне странно, как это можно любить не вас, а других мужчин! (Ведь все другие мужчины по сравнению с вами ничто!

Шибалин смущенно смеется.

— Зиночка, я позабыл вас спросить: ну, а вам понравилась моя идея, которую я сегодня проповедывал тут с кафедры?

— Очень! Очень понравилась! Я еще подумала: если бы люди всей земли считались „знакомыми“ друг с другом, тогда скорее наступило бы между ними взаимное понимание, быстрее распространялись бы по земле знания...

— Вот именно!—перебивает ее Шибалин с удовлетворением.— Правильно! Правильно! Вижу, что ваша головка, Зина, устроена хорошо. Это еще более показывает мне, что я не ошибся, остановив свое внимание на вас.

— Никита Акимыч, почему вы спросили меня, понравилась ли мне ваша идея? Разве вам мое мнение важно?

— Очень важно!

— Что-то не верится. Вы на своем веку, должно быть, слышали столько похвал и не от таких людей, как я, а покрупнее.

— И все же, Зина, ваше мнение сейчас для меня дороже всех! Если хотите знать правду, то верьте мне, что я и доклад свой потропился сделать сегодня только ради вас! А так мне выгоднее было бы не разглашать моей идеи, пока не выйдет из печати мой новый роман „Знакомые и незнакомые“.

— Роман? Это интересно... А я все-таки не понимаю, почему вы из-за меня выступили в союзе со своим докладом ранее срока? При чем тут я?

— Хотел докладом, вернее—успехом доклада у публики, вскружить вам голову, чтобы поскорее добиться вашего „да“.

— Неужели это правда?

— Чистая правда!

— Значит, хотели блеснуть передо мной?

— Обязательно. Распустить перед вами павлиний хвост.

— Для меня это было бы лишнее.

— Не скажите. Я чувствовал, что вы как-будто не доцениваете меня, как писателя, и вообще...

— Нет, нет, Никита Акимыч, этого не было. Литературный ваш талант я всегда очень высоко ставила. Но согласитесь, что для счастливой семейной жизни одного литературного таланта мало. И я должна была к вам приглядеться.

— Ну, и что же вы увидели? Говорите, говорите, не стесняйтесь, Зиночка!

— Признаться, сначала мне показалась подозрительной та поспешность, с которой вы вспыхнули ко мне. Серьезное ли у вас чувство?—спрашивала я себя. Не есть ли это легкое скоропроходящее увлечение? Не подходите ли вы ко мне, только как к женщине? Все это для меня было важно знать...

— Ну, и что же вы узнали?

— Узнала, что бояться вас мне нечего. Узнала, что найду в вас близкого человека, друга, без которого, мне кажется, так трудно жить на свете и которому будут не безразличны мои горести, мои радости...

— Своими словами, Зиночка, вы превосходно выражаете и мои мысли и мои надежды.

— Я очень рада этому, Никита Акимыч... Никита Акимыч! Не знаю, как вы, но я искренно и горячо вношу в нашу связь всю себя, целиком, и душу и тело. Говорят, женщины вообще отдаваться частично не могут.

— Зиночка, одно могу вам сказать на это: я убежден, что нам с тобой будет хорошо.

— Я тоже так думаю, Никита Акимыч.

С засиявшим лицом она осматривается вокруг:

— Сама себе не верю: неужели все это не сон? Неужели с сегодняшнего дня я уже не одна на этом свете, не одинока?

— А с кем?—спрашивает Шибалин нежно.—А с кем же ты теперь? Зина смущается.

— С вами.

— Не с „вами“, а с „тобой“.

— Хорошо... Это потом... Когда попривыкну. Никита Акимыч! Что это у вас? Неужели слезы?

Шибалин улыбается, прячет лицо.

— Ах, ты, мой прекрасный! — восклицает шопотом Зина, тянется к нему и сама роняет несколько слезинок. — Такой большой, такой могучий, и плачет...

Они пожимают под столом друг другу руки, ближе склоняются один к другому головами, продолжают растроганно беседовать.

Дверь с надписью „библиотека“ приоткрывается и в образовавшуюся щель выглядывают настороженные лица Веры и Желтинского.

XIV

Желтинский:

— Вот! Полюбуйтесь-ка! Поглядите, как ваш „великий писатель“ поглаживает ее руку, как нашептывает ей на ухо! И на его писательском языке это называется изучать нравы презренной толпы, вносить в сокровищницу мировой литературы новые перлы. А по-нашему, по-простому, это значит сеять в обществе молодежи разврат и самым бессовестным образом обманывать не в меру доверчивую жену. Факт налицо! И вы после этого еще будете меня уверять, что между ними ничего нет! Дитя вы, Вера, дитя! Жаль мне вас, искренно жаль!

Вера стонет, закрывает руками лицо, падает. Желтинский подерживает ее, отводит назад, захлопывает дверь.

XV

Иван Буревоу обращается к сидящему с ним за одним столиком Ивану Грозовому:

— Гляди, наш Шибалин уже пристраивается к другой. Та, прежняя, Колосова Вера, надоела.

Иван Грозовой:

— Ему-то можно. Ему не искать. За ним каждая пойдет. Женщины падки на громкие имена.

Иван Буревоу:

— Это верно. Им все знаменитостей подавай! Дуры, а того они не поймут, что сегодня я, поэт Иван Буревоу, безвестность, ноль, а завтра выгоню гениальную поэму строк в тысячу, и я уже всероссийская величина! Разве мало было примеров!

Иван Грозовой:

— Подлюки! Собственной пользы не понимают! Я тоже сегодня никому неведомое существо, поэт Иван Грозовой, а завтра вдруг наскочу в своем творчестве на какую-то золотоносную жилу и пойду и пойду наворачивать!

Иван Буревоу:

— Гадюки! Допустим, я напечатаю ту поэму. Читатели и читательницы в восторге, ищут случая познакомиться со мной; издательшики несут мне денежки; редакторишки друг перед другом торопятся выпить со мной на брудершафт...

Иван Грозовой:

— Суки! Когда я наскочу на ту золотоносную жилу, как они пожалеют, как заскулят, что прозевали меня! Как будут в хорошеньких

платъницах бегать за мной! Как я буду ломаться, издеваться, смеяться над их клятвами! Как буду мстить за их теперешнее ко мне отношение! Скажу: идите к Шибалину, он большой писатель, а я маленький! Ха-ха-ха!

Буревой:

— Самые первые женщины Москвы, — толстые, красные, — самые деликатные создания со всего СССР-а, — актрисы, балерины, певицы, — будут в ногах валяться у меня, каяться, сожалеть, плакать, умолять! А я: идите прочь от меня, мать вашу так, пока не получили коленкой! Брысь все с моего парадного! Когда-то я поплакал, а вы смеялись, теперь вы поплачете, а я посмеюсь! Надо было раньше смотреть, кто истинный талант, а кто дутый! А сейчас у меня на счет бабья и без вас большой выбор! Сейчас у меня есть более достойные, чем вы...

— И более интересные! — вставляет, злорадно скаля зубы, Грозовой.

— А это само собой, что более интересные. Таких уродин, как в нашем союзе, ни одной не будет! А будут только какие-нибудь этакие, из высшего круга, с чертовским образованием, с дьявольским воспитанием, в шелковом белье, с манерами, с выкрутасами...

Иван Грозовой с сияющими глазами:

— Какие-нибудь францужанки, итальянки...

Иван Буревой мнет перед собой руками воздух:

— Индианки, египтянки...

И долго еще сидят друзья друг против друга, тарашат один на другого пылающие глаза, жестикулируют, мечтают, угрожают...

— Возьмем еще графинчик?

— Взять не трудно, а деньги за него кто будет платить? Пушкин?

XVI

Антон Сладкий, разгоряченный, красный, весь вз'ерошенный, встает, скачет на месте, с торжеством потрясает над головой полулистом исписанной бумаги:

— Есть! Готово! Ура! Песня на идею Шибалина уже написана! Ти-хо! Кто там бренчит на пианино, кто громко разговаривает, кто хохочет, — погодите на минутку! Сейчас прочту!

Пианино умолкает, говор и смех тоже. Водворяется тишина.

Антон Сладкий в одной руке держит перед собой рукопись, другой ерошит волосы, беспокойно вертится, дергается, с победным выражением лица декламирует, почти поет:

Долой условности и предрассудки!
 Все блага жизни нам даны!
 Не будем больше плясать под дудку
 Ветхозаветной старины!

Тысячелетья мы ввали, ввали,
Но к правде ключ теперь найден!
Наш вождь Шибалин, наш вождь Шибалин,
Мы ничего не признаем!

Все люди братья, на всей планете
Нет „незнакомых“, нет „чужих“!
Пусть бьется радость в звенящем свете,
В морях воздушных голубых!

Томились годы мы, как в пустыне,
Пора не плакать и не вздыхать!
Мужья и девы, легко отныне
Вам пару будет отыскать!!!

Из тьмы развалин к сиянию далей,
К маящей нови мы идем!
Наш вождь Шибалин, наш вождь Шибалин,
Мы ничего не признаем!

Весь зал аплодирует Сладкому.

— Браво!... Браво!... Очень хорошо передано! Вот что значит коллективное творчество! Петь! Петь!

Вдруг встает Антон Смелый, поднимает руку, делает ею движения, умеряющие общий пыл, просит слова, складывает в насмешливую улыбку губы, кричит:

— Товарищи! Вы уже и „петь“... Погодите! Не спешите! Нельзя так: не успели написать, как уж и петь. Надо раньше хорошенько обсудить текст песни!

Антон Сладкий, вместо председателя:

— Товарищи! Внимание! Антон Смелый берет слово по поводу текста песни!

Антон Смелый смотрит в бумажку:

— У меня тут записано. Первое: „Наш вождь Шибалин“... Товарищи! Так ли это? Шибалин ли наш вождь, вождь всех трудящихся? Конечно, нет. Значит, прежде чем писать подобную вещь, надо было раньше подумать...

— Чудак! — кричит кто-то с места. — Разве к шутливому произведению можно с серьезной меркой подходить?

Антон Сладкий:

— Товарищи! Без замечаний с мест! Это потом! Не мешайте Антону Смелому говорить!

Антон Смелый с трудом разбирается в бумажке:

— Второе: „Мы ничего не признаем“... Товарищи, что это? Неужели это правда? Неужели мы ничего не признаем? Нет, товарищи, это неправда, это клевета на нас! Мы, наоборот, очень многое признаем и всегда будем признавать!

Прежний крик с места:

— Это же поэзия! Это не политика! А в политике мы, может, в сто раз левой тебя!

Антон Сладкий опять умирляет его. Антон Смелый продолжает разбирать написанное на бумажке:

— „Пусть бьется радость в звенящем свете, в морях воздушных голубых“. Вот так так!

Читает во второй раз, потом спрашивает:

— Что за галиматья? Этот набор слов по-вашему тоже поэзия? Товарищи, кто из вас видал, как „бьется радость“? Никто не видал! А раз вещи никто никогда не видал, значит она не существует реально, абстракция, мистика! Надо быть более последовательными материалистами, даже и в стихах! Или: „в звенящем свете“... А это что за открытие? У людей нормальных свет светит, а у вас звенит? Если у вас уже начинает свет звенеть, тогда, товарищи, вы меня извините, вам надо лечиться. И еще: „в морях воздушных голубых“. Вот классическая околесица! Море прежде всего вода, а как может быть вода воздушной об этом нужно спросить у авторов этих строчек...

Нетерпеливый выкрик:

— Антон Смелый, брось волынить!

За ним второй:

— Это же буза!

Третий:

— Ни черта, песня хороша, и так сойдет! Давай-ка лучше споем поскорее, пока не разошлись по домам!

Весь зал:

— Петь! Петь!

Зал шумит, Сладкий звонит, Смелый кричит:

— Товарищи, я имею право высказаться или нет? Товарищи, я товарищ или нет? Товарищи, вы товарищи или нет? Если вы, товарищи, товарищи, и я, товарищи, товарищ, тогда разрешите мне, товарищи, высказать мое соображение до конца!

Зал насмешливо:

— Просим! Просим!

Антон Смелый:

— Товарищи, я не поэт! Как вам известно, я критик! Скоро выйдет полное собрание моих критических сочинений, в семи томах, на хорошей бумаге...

Возглас с места:

— А это нам не интересно, что у тебя выйдет! Может быть, у тебя жена скоро родит, ты и об этом будешь нам с трибуны рассказывать!

Весь зал со смехом:

— Да! Да! Ближе к делу! Не размазывай очень! Не рассусоливай! Кончай скорей, раз тебя слушают!

Антон Смелый, красный, несколько посрамленный, прячет лицо в бумажку, читает:

— „Из тьмы развалин к сиянию далее, к манящей нови мы идем“... Первая половина стиха хороша, даже очень хороша. Действительно, товарищи, откуда мы пришли, как не из „тьмы развалин“! Надо было только прибавить, что все разваленные здания мы быстро восстанавливаем, упомянуть для примера хотя бы про постройку московского почтамта в Газетном переулке. А вот вторая половина стиха слаба, загадочна, полна тумана, мистики, поповства. На самом деле, товарищи, что такое „сиянье далее“ или „манящая новь“? Что за шарада? К чему эти ребусы, почему не сказать прямо, чего хочешь! Поэтому я предлагаю внести в этот стих такую поправку: вместо „к манящей нови“ написать „к советской нови“.

Голоса:

— Правильно! Согласны! Петь!

Антон Смелый громко, ко всему залу:

— Товарищи! Кто не согласен с моей поправкой, поднимите руку!

Смотрит.

Никто не поднимает.

Он:

— Принята единогласно!

Отходит в сторону; с удовлетворенным лицом садится.

Поднимается Антон Сладкий:

— Товарищи, теперь эти стихи надо переложить на музыку! Думаю, лучшего мотива нам не найти, как этот, знаете: „Мы кузнецы страны рабочей... мы только лучшего хотим!.. И ведь не даром... мы тратим силы... не даром молотом стучим!“.

Весь зал весело:

— Так! Так! Хорошо!

И тотчас же в нескольких местах пробуют напевать:

— „Долой условности... и предрассудки“...

Антон Сладкий:

— Но предварительно давайте споемся по голосам! У кого какой голос? Марш к пианино!

Шумной толпой все маршируют к пианино, располагаются в красивый своей беспорядочностью полукруг, разбиваются по голосам, приступают к разучиванию своих партий.

Зал наполняется негромкими звуками пианино, заглушающими друг друга голосами, обрывками слов, криками: „начинаем сначала“...

Одни басы, сочно, густо, хмельно, покаянно:

— „Тысячелетья мы ввали, ввали“...

Одни тенора, в другом месте, женственно, воздушно, в стройном полете:

— „Все люди братья на всей планете“...

Одни сопрано, сверкающие, звенящие, как хрусталь:

— „Пусть бьется радость в звенящем свете“.

XVII

Вдруг Зина наклоняется к Шибалину, испуганными глазами пристально всматривается в его лицо.

— Никита Акимыч, что с тобой?

Шибалин безучастно:

— Ничего...

Зина жадно читает по его лицу, как по книге:

— Ты чем-то расстроен... Ты угнетен... Ты страшно подавлен...

Но скажи чем? Что случилось?

Шибалин молчит, медленно отворачивает лицо в сторону.

— Никита Акимыч, но только не обманывать! Ты ведь обещал с сегодняшнего дня не лгать ни одной женщине! Обещал начать с меня! И вот тебе первый экзамен: смотри мне прямо в глаза и говори всю правду!

Шибалин поднимает на нее глаза, глядит, как сквозь сон.

— Что же тебе говорить, Зина?

— Ты стал совсем другой, я тебя не узнаю. Сознайся, в тебе что-то произошло? Да?

Шибалин с тихим трагизмом:

— Да...

— Какая-то глубокая внутренняя перемена?

— Да...

— В твоем сердце, сердце, сердце?

— Да...

— Тебе... уже... нравится... другая, другая? Ну, говори же, говори!

Шибалин едва слышно:

— Да...

Зина крепко держится руками за стол; на момент закрывает глаза, точно в состоянии головокружения.

— Но какая?— слабым голосом спрашивает она, как бы боясь как следует раскрыть глаза.— Скажи, кто она?

Шибалин грустно, ласково:

— А разве не все равно, кто она? Не все равно, какая?

— Нет, скажи! Скажи, вон та, комсомолка, темная шатенка, в красном платочке, в пестром сарафане, что разучивает у пианино сложенный в честь тебя гимн?

— Ну, она...

— То-то, сознался! Думаешь, я не видала? Я все видала, все замечала, как ты с ней переглядывался, едва она начала петь! Значит, та?

— Та ли, другая ли...

— Ты хочешь сказать, что только уже не я?

— Да...

Шибалин тяжело вздыхает.

Зина столбенеет, глядит в пространство, как помешанная. Несколько мгновений они молчат. От пианино, где разучивают песню отдельные партии, доносится: „Томились годы мы как в пустыне“... „Пора не плакать и не вздыхать“...

— Никита Акимыч... как хотите... но я не понимаю... не могу понять...

— Зина, мне самому бесконечно трудно это постичь, и я сам считаю с этим, только как с фактом... Со мной творится что-то неладное, прямо чудовищное, со старой нашей точки зрения... Но это не сумасшествие, нет... Теперь припомни, Зина, как ты сама требовала для себя от мужчины сразу всей правды... Так вот она, получай ее: с безумной силой, с глубокой верой в прекрасные результаты этого, влечет меня к другой девушке, которую я даже не знаю, которую первый раз вижу... Но ты, Зина, не реагируй на это слишком необдуманно, не поддавайся малодушию, крепись, будь тверда, не роняй в себе независимого человека... Что делать, ты, быть может, многое потеряешь в столь несчастно для тебя сложившихся обстоятельствах, но ты тем самым еще больше приобретешь... Ведь тебе, как ни одной женщине в мире, сегодня посчастливилось: ты, быть может, первая женщина в мире, которая, наконец, слышит из уст самого мужчины всю нашу мужскую правду, голую, без прикраски, полную, без утайки... За подобное приобретение многим можно поступиться, многим пожертвовать...

Участливо, по-отечески поглаживает ее руку.

Она делает отчаянное усилие, чтобы не дать прорваться подступающим рыданиям.

— Спасибо, Никита Акимыч. хотя за это... за откровенность такую вашу...

Шибалин подает ей стакан:

— Выпейте холодного чая.

Она послушно пьет.

— Никита Акимыч, как это совместить?.. Вы помните, о чем вы так хорошо мне пели в течение целого месяца, даже еще и сегодня?

— Конечно, помню. Прекрасно помню. Каждое свое слово помню. Ни от чего не откажусь, под всем подпишусь.

— Ну, и как же это? Выходит, значит, вам, мужчинам, верить нельзя?

— Вчера было нельзя, завтра будет можно. Вчера отношения мужчины и женщины были основаны на лжи, завтра они будут опираться только на правду. Конечно, если только люди захотят этого так, как хочу я, и в первую голову примут мою идею...

Одни басы возле пианино негромко, но тяжело, как бы преисполненные осознанным грехом:

— „Тысячелетья мы вдали, вдали, но к правде ключ теперь найден“...

— Все-таки, если можно, вы объясните мне, Никита Акимыч... Каким образом так скоро, с такой быстротой, все это могло случиться: сперва одна, потом другая, потом сейчас же третья...

— Чтобы это как следует понять, вам надо вспомнить, Зина, что я сегодня говорил тут в своем докладе. Вы говорите о „трех“... С первой, с Верой Колосовой, я вступил в связь только потому, что мне случилось работать с ней в одной редакции... Таким образом, она была той роковой моей „знакомой“, той „ближайшей“ и „первой попавшейся“, на которой я волей-неволей вынужден был остановиться, так как об „идеальных“, о „далеких“, о „незнакомых“ я в ту пору еще не смел помышлять. Но вот однажды знакомлюсь в нашем союзе с вами. Заинтересовываюсь, начинаю мечтать о вас, как о несравненно лучшей, чем Вера, открываюсь вам в этом, и вскоре мы приходим с вами к известному решению. Но нашему плану не суждено было осуществиться. Этому помешала моя мужская честность которой я начинаю жить сегодня впервые. Но последуем за событиями. Совершенно неожиданно сегодня вечером в наш союз нахлынуло из Москвы много новой, неизвестной нам публики, и среди этой публики та, комсомолка, в платочке... Теперь понимаете, как все это произошло: союз, где встретил я вас, шире редакции, в которой я столкнулся с Верой; а Москва, давшая нам сегодня эту комсомолку, шире союза...

Зина полунасмешливо:

— А СССР шире Москвы, а земной шар шире СССР-а?

Шибалин серьезно:

— Совершенно верно. Человек рожден жить мировым охватом, а не семейным курятником. Хотя это еще не значит, что я запрещаю желающим обзаводиться семьей. Я только запрещаю слепнуть для остального мира. Ну, да это из другой области...

— Но так вы, Никита Акимыч, никогда ни на ком не остановитесь. Хорошую будете менять на лучшую, лучшую на еще более лучшую, и так без конца. Какая это жизнь?

— К моему великому огорчению, Зина, так было в моем мужском „вчера“. К моей великой радости, ничему подобному не будет места в моем мужском „завтра“, когда мне, наконец, будут „знакомы“ все люди земной планеты.

— Но мне кажется, Никита Акимыч, что одного вашего желания быть „знакомым“ со всеми недостаточно. Надо еще узнать, а они-то пожелают быть „знакомыми“ с вами?

— На этот вопрос, Зина, мне ответит ближайшее будущее, даже ближайшие дни, когда я со своей идеей выйду на улицу.

— У меня еще один вопрос, Никита Акимыч.

— Пожалуйста, пожалуйста.

— Я хотела вас спросить вот о чем. Вы еще не успели убедиться, чем оказалась бы для вас связь со мной, как уже кидаетесь к другой, сразу решив, что я не та, которая вам нужна!

— Да, Зиночка, к сожалению, вы не та, не та! Доказательством этого может служить хотя бы то, что нашлась другая, один облик которой бесповоротно вытеснил вас из моей души. Да, признаться, и раньше, как только вы произнесли мне ваше „да“, я сразу же почувствовал так хорошо знакомую мне тоску: „связан“!!! Связан, но с той ли? Наложил цепи на себя, на свою свободу, но те ли это цепи, самая тяжесть которых приятна? И являет ли собой она, — то-есть вы, Зина, — то предельное женское совершенство, о котором я так тщетно мечтаю всю свою многострадальную жизнь? Разве лучше нее, — то-есть вас, Зина, — никого в целом свете нет? И неужели эта и будет моей последней? А дальше? А дальше разве нет пути? Значит, всему, всему конец? Вам это понятно, Зина?

— Понятно-то понятно...

Она апатично вздыхает.

Шибалин пытливо поглядывает на нее.

— Но вам, конечно, Зиночка, нет оснований очень отчаиваться. Вы такая славная, такая интересная, вы так еще молоды, что у вас еще будут встречи с мужчинами, более интересными, чем я...

— Не успокаивайте, не успокаивайте, Никита Акимыч. Не надо. В сторону, с беспредельным сожалением:

— И что я наделала? И зачем я так скоро ему поверила? За чем целый месяц так откровенничала с ним? Всю раскрыл, обнажил, разглядел, и—до свидания! Какой стыд! Стыд-то какой!

Шибалин, не сводя с нее искоса-настороженных глаз:

— Успокойтесь, Зиночка, успокойтесь! Не расстраивайте себя.

Зина внезапно овладевает собой, выпрямляется, глядит тверже:

— Не бойтесь, не разревусь...

Бросает на него новый, чужой, насмешливый взгляд. Начинает нервно вздрагивать.

— Не обижайтесь, если и я выскажу вам правду...

— Наоборот, прошу!

— Видите что, невзирая на ваши литературные заслуги, на ваш талант и на прочее такое, я никак не могу признать вас человеком, — как бы это выразиться, чтобы вас не обидеть, — человеком нормальным, что ли... Вы очень, очень странный!..

Шибалин голосом философа-вещателя:

— Писатель, одержимый верой в мировое значение то одной своей идеи, то другой, не может быть не странным.

Зина, с более открытой враждебностью:

— Можете придумывать какие-угодно объяснения своим... ненормальностям, но поверят ли вам, это еще вопрос!

Шибалин прежним приподнятым тоном философа-трагика:

— Каждое утро, когда я просыпаюсь, я прежде всего говорю себе: „Я призван совершить великое“. Какая женщина этому поведит? Какая женщина это поймет?

Зина:

— Значит, мне сейчас уходить?

Шибалин, возвращаясь к живой действительности, ласковее:

— Выходит, что да, Зиночка. Чтобы не терзаться напрасно ни вам, ни мне.

— Вам-то что!

— Не говорите так, Зина!

— Вы пойдете себе „знакомиться“ с той, в сарафане.

— Возможно, что и пойду.

У пианино, уже в несколько голосов:

— „Мужья и девы, легко отныне вам будет пару отыскать“...

Зина недружелюбным взглядом смотрит издали на комсомолку в сарафане.

— И чего вы в ней такого нашли? Обыкновенная провинциалка, каких ходит по Москве тысячи! Вас прельщает то, что она хорошо поет?

— Не знаю, Зина, не знаю. Может быть и это. Сейчас в таких деталях мне трудно разбираться. Одно могу сказать: мне всегда сулил счастье именно такой тип девушки, с таким выражением глаз...

— А может быть, вам нравится не тип этой девушки, а ее 17 лет?

— Зина, в вас говорит раздражение, злость. Это нехорошо.

Зина привстает, гордо щурит глаза, подергивает губами. Смотрит в бок.

— Ну вот что, товарищ Шибалин... Я уйду, уйду от вас навсегда... Но вы, пожалуйста, не возомните чего-нибудь лишнего... Не подумайте, что я увлеклась вами серьезно или что я безумно в вас влюблена... Нет! Это было у меня просто так, опыт, игра... И потом мне хотелось поближе узнать, что вы за человек... Так что, пожалуйста, не подумайте, что я из-за любви к вам брошусь в Москва-реку... Пожалуйста, не подумайте! Прощайте...

Хочет сделать шаг, но еще на момент задерживается на месте. Вдруг со злобой, с приседаниями, с кривляниями выкрикивает плачущим писком:

— Не брошусь в Москва-реку, не брошусь, не брошусь!

Со сморщенным лицом убегает.

XVIII

Антон Сладкий, вместо звонка, резко хлопает в ладоши:

— Товарищи! Тихо! Сейчас начнем! Участвуют все присутствующие в этом заде! Кто не спевался, тот все ровно подтягивай, чтобы выходило погуще! Хор, становитесь потеснее! Пианино, давайте всем тон! Ну, тихо, начинаем!

Он дирижирует, остальные поют:

— „Долой условности и предрассудки... Все блага жизни нам даны!“.

Антон Сладкий и поет и кричит:

— Веселей! Веселей! Больше жара, пыла, под'ема! Счастья больше! Ведь про любовь поете!

Пение ширится, захватывает весь зал. Кто вначале подтягивал только слегка, сидя за своим столиком, тот теперь уже стоит на ногах, в энергичной позе, и молодо, весело заливается полным голосом:

— ... „Все люди братья, на всей планете нет незнакомых, нет чужих“...

Шибалин, увлеченный и словами песни, и музыкальностью исполнения, и невиданным зрелищем, глубоко волнуется, сидит на месте, и все чаще и все красноречивее поглядывает на комсомолку в красном платочке. Потом встает, идет прямо к ней, „знакомится“, долго держит ее руку в своей руке. Девушка вспыхивает и смущением и еще больше неожиданным счастьем: неужели из женщин всей земной планеты Никита Шибалин останавливается на ней?

Дверь с надписью „библиотека“ полураскрыта. Вера, припав лицом к косяку двери, рыдает, Желтинский стоит позади нее и говорит:

— Я еще понимаю его! Он все-таки человек не первой молодости и ему лестно проверить свою мужскую силу на девчонке. Но она-то, дура, чего лезет, на что надеется!

Зина сидит в дальнем углу зала, за отдельным столиком, в одиночестве, в ошеломленно окаменевшей позе и громадными глазами безумной смотрит в пустое пространство.

Солнцев, еще более пьяный, чем прежде, вкатывается задом наперед в залу, тарашит непослушные глаза, приятно поражается хорошим пением всего собрания, подбоченивается, закидывает назад волосы и, с блаженно сияющей рожой, приплясывая на месте, могуче и дико ревет, сразу покрывая всех:

— „Стр-ра-да-тель мой, стр-ра-дай со мной“...

Антон Тихий, в галошах, с бледным лицом, пробегает через весь зал, из двери в дверь, по пути несколько раз кружится вокруг одного столика, спасаясь от преследующих его двух служителей, старого и молодого.

Антон Тихий:

— Товарищи, я не на собрание, я только в библиотеку!

Молодой служитель, с протянутыми вперед руками, с оскаленными зубами:

— Все равно, товарищ, в галошах нельзя!

Старый, задыхаясь:

— Мы с этого живем!

Четверо других служителей, тоже очень прилично одетых, медленно проносят за руки и за ноги, как носят трупы, бесчувственные тела двух друзей, двух Иванов, Буревоего и Грозового.

Хор:

Из ть-мы раз-ва-лин...
К си-янь-ю да-лей...

Ярмарка

ПАВЕЛ ДРУЖИНИН

Писаны-расписаны
Сарафаны плисовые,
Ситцевы, сатиновы,
Фартуки малиновы.

Бабы синеокие,
Подолы широкие...
Эх, да не потеха ли,
Ехали-приехали,

Телеги березовы,
Дуженьки ветловые.
Мужики тверезые,
Бороды еловые.

Пареньки с проборами,
Сапоги с наборами,
Пинжаки с жилетками
С расписными клетками.

Утром солнце грянуло,
Ярмарка воспрянула—
Загудела гудами,
Глиняными блюдами.

Звонами да свистами
Воздух закобенился,
Пестрыми батистами
Красный ряд запенился.

Брякали ведёрники,
Звякали топорники,
Стукали бондарники,
Гаркали дегтярники;

Над тележной справаю,
По рядам, по зданиям—
Рассыпалось бравое
Жеребячье ржание.

Синими кафтанами,
Черными цыганами,
Каруселью кованой
Площадь размалевана.

На утеху публики
Пряники да бублики,
На меду заварены
С пылу, с жару—жарены.

Жамкали да шелкалы
Семечки да жамочки,
Полушалки шелковы,
Слободские дамочки...

Купчики-голубчики
Продали тулупчики,
Спинники-алтынники
Продали осьминники.

Раскрутили гашники,
Заходили козырем
Клешники, табашники—
Мужики тверезые...

За рубли за новые
Залились, загыкали,
Бороды еловые
Сотками утыкали.

Закружились циркулем
С лыками да с ложками.
Карусель рассыпалась
Хлипкими гармошками...

Слепеньки да хроменьки,
Голосочки тоненьки,
Пели слово божье
Коло лавки с кожей;

А из лавки каменной
Пеньканье козлиное
Покрывалось пламенной
Русской матерщиною...



Борки и Овражки

Рассказ

ИВАН ЕВДОКИМОВ

Занывали ночью у Ольги зубы: то брехателя она от нелюбимого мужа. Была она прежде высока и полногруда, как молодой тополек, кужлявый от дождя.

Было у отца тринадцать дочерей-погодков. Торговал он на толчке огурцами, капустой и мелкой снedyю. Торговал с утра до ночи, бился в гнилом и сыром ларчике—и не мог одеть дочерей.

Покупал у него огурцы на артель колодезник—колодцы рыл по дворам—Тимоша Онуча и посватал Ольгу за сына. Был Нил мал и широкоплеч, крут у него был затылок бобриком, будто разорвал ему кто-то рот по ошибке, и глядели из-под медведей бровей воробьями малые серые глаза. Привез показать Нила Онуча из медвежьей своей стороны от Трифона-на-Корешках из малого городца Борки в город Овражки—и выставил товар лицом. Заплакала Ольга за яблоною на своем дворе, вздыхал огуречник, просил Онуча невесту неотвязно, прилипчиво. И дело сладили.

Целовал за столом молодой князь молодую жену, пелол алые черствые губки усами, глядело двенадцать сестер, не поднимал глаз от полу молодой.

В городе Борках у Тимоши Онучи были три окошка в задней избе, три окошка в передней избе, деревянные перегородочки за печкой, насупротив печки, а промеж изб—холодные сенцы. Отвели молодых в переднюю избу: тут и жить им. Села Ольга на постель и заплакала. Нил сел к окошку и задумался. Первую ночь так и скоропали чужими. Прилегла Ольга на краешек постели в подвенечном платье и заснула.

Били горшки рано по утру у дверей. Вскочила Ольга, а Нил растянулся на полу на пестрой „монастырской“ дорожке, в головах полушубок лежит—и не слышит. Подняла его Ольга, встряхнула подвенечное платье, расправила оборочки. Нил пиджак натянул, полушубок убрал—и молодые рука об руку пошли к двери.

Был кроток и ласков Нил. Ела поедом свекровь Ольгу, поливала Нила бранным словом, будто осенний наседливый дождь. Жили моло-

дые за ситцевыми занавесками горошком, за пунцовыми сережками у гераней, стряпала Ольга у печки, сряжала мужа на работу, молчала, молчал и Нил, спали они в разных углах—и не сходились.

Затяжелела Ольга первенцем на пятое лето. И заныли, заныли сперва коренные зубы у Ольги, а потом пристали к ним глазные, зуб мудрости. Ходила Ольга по избе, зажимала рот крепкой рукой, кидалась глазами по стенкам, будто искала большой несворотимый гвоздь, а из глаз текли густые теплые слезы и мочили горевший пушок щек. Ныли зубы до четвертого месяца. Нил не казался на глаза жене, только молча садился под окошками на лавочку, прислушивался к бегущим шагам жены над головой и вздыхал. И не было сил унять зубную боль. Полногрудой Ольги не стало. Груды подсохли. И легла на щеки желтая пыльца бабочками-крапивницами.

Нил был машинистом на железной дороге. Водил он тяжелые товарные поезда от Овражек в Борки, от Борков в Овражки. Качало его на путях, как лодку на зыби, вглядывался он осенними дождливыми мглами вперед, знобил лицо под метельной зимней метлой—и хлестала она по глазам, раскрывала грудь, свистела, продувая железо и сталь паровоза, в ушах и выла бедой. Был молчалив, как трифоновский бор, Нил. И посылали его за то с поездами ночными, бессонными, поднимали сторожа в самую сонную сласть. Вёл он поезда ночные, сборные... Перегоняли его щеголя почтовые, скорые, курьерские, перегоняли соломоны, перегоняли максимы... Держали его на разездах, на станушках, в карьерах, на запасных путях часами, днями, сутками...

Не любила Ольга мужа и на десятый год. Висели на отце ребята, не сводили глаз с косматых усов, таскали ему в дорожную сумку под дорожное—хлеб, огурцы, долгоперый лук. На Навозной улице не было скромнее и тише Нила. И не было любимее сына у Тимоши Онучи. Ела мать поедом Онучу, ела Нила, ела Ольгу. Бывают такие березовые кряжи—отскакивает топор, звенит и гнется пила, не берет колун: то Матрена Онуча. Напугалась Ольга задней избы и век прожила напуганной, только пуще того напугала сама Нила неприступным взглядом, спал с ней вором в большие праздники, не перечил рывку словом, опускал глаза, как несла мимо гостям пироги. Веселела Ольга, сряжаючи в путь мужа. Слышала—тихонько закрывал калитку машинист, топал по дороге, кашлял: морщила немилокровому брови.

Сборные поезда, будто стогодовалые старики, ползли от перегона до перегона, стояли на малых и больших остановках, перегоняли их с одного пути на другой путь, отцепляли, крошили, перекидывали с головы в конец вагоны, из конца в середину, отводили одни составы, прибавляли другие. Нил гудел в свисток и гонял туда-сюда, сюда-туда черного коротколапого зверя. Напивалась бригада в доску—цедили спирт через соломинку на перегрузах в рот—дрыхли на тендере, под дровами—Нил вел один поезда. Добирался поезд до города Овражки на четвертые сутки, выкидывали паровоз в депо на отдых: отдыхал машинист.

Была каморка в Овражках на станции, черная изба от прокура, от машинного масла, от паровозной сажи, от дорожной пыли. Дожидался Нил своего коня, покуда он проскачет с другим хозяином трифоновскими борами до другого городка и прибежит обратно потный и мокрый с оскаленными красными зубами. В каморке свертывался Нил в углу на лавке, под головой корзинка с пожитками, подкладывал черную лапу под лобную черную щеку и раскрывал большой рот. В каморке резались за столом в карты, доставали из корзинок водку, наливали под столом, чокались чайными стаканами, кричали, орали, дымили табаком, будто неугасимо трещал мохнатый валежник в каморке и клубил под потолком. Скучно дожидаться своих коней машинистам, кочегарам, помощникам! Слегали, где сидели, черствые лавки толкали в бока, лениво подымались—и коротали тоску водкой, картами, спорами. Пели песни в каморке, как скоро завеселит с водки, а Нил спал: убаюкали сборные ночные поезда.

Не часто ходил Нил к тестю-огуречнику: стеснительный был машинист. Глядели на него пятеро сестер, других развезли мужья по медвежьим городкам, огуречник угощал, наваливал в дорогу сырые подарки, а у самого последнее, нищее, со своего стола.

— Убогая! Убогая! — кричала свекровь на Ольгу. — Мозоль надишь на славнухе! Чево-от корова-то не доена? Модёна! Причёсы не для ково теперь выдумывать! От у тебя водолаз-то придет—и красуйся! Сена дай корове. Воду-то подогрела? Каша-то есть у куриц? Хлев-то у свиньи убран? Пошила бы, пошила бы ребятам рубахи...

Ольга была безропотная. Родились такие в Борках и Овражках бабы—на хребте свекровь висит, погоняет, тянет хоботком кровь с розовых щек, ужимает грудь, тушит глаза. Помирали Матрены—и провожали их на погост снохи, тая под черными платками веселье в заплаканных глазах. И долго пекли праздничные пироги: не уставали поминать лихом. Ольга молча, не причесанная шла в хлев, в сараюшку, в сеновал... А свекровь снова кричала:

— Эй, золотая ступень, поищи ж в голове! Исчесалась я вся...

Солнце выглядывало из-под нахлобученной застрехи в малые оконца. Лежала на полу на солнечном зайчике кошка. Свекровь опустила старую голову на колени к Ольге,—и та на солнце перебирала серые волосы ножом.

— На потылице-то, на потылице поскреби, — скрипела свекровь.— У, непрворная! Рядком, рядком пройди!

И она тыкала пальцем сквозь редкие космы в затылок.

— Нож-от покривее, покривее правы! Руки-то не ласковые, шаршавые у тебя, снохонька! У! Этово не умеешь! Учись, учись, матушка, сама свекровью будешь, тебе поищут снохи...

Ольга затаивала дыханье, и руки у ней бежали, искали, топились.

— Гляди, — ворчала сердито в коленях старуха и дёргала пуговицу на кофточке у Ольги, — пуговицы у тебя висят. Будто спина слоб-

мится пришить! За собой поухаживать некогда. Укатится пуговица в щель — добринки одной в хозяйстве и нет. Муж-от этак не нарабатается на транжирку такую. Хорошо за чужим кормом расходоваться. Мы прежде жили с отцом: тряпók на улице подынешь аль булавку — и в дом. Из дома только негодящее да и то на огород. Морковь растет на человечьем дерме ровно брюква. То-ол-стая. Ботва-то што полыннь высокая. Учитесь от старых людей: они научат добру. Я об Нила кокотышки обколотила: бережливый парень и вырос. На себя трех копеек не выкинет. В Овражке у вас другой народ: моты. Нилу-то нашему такую ли в любом месте жену дали б, да мой Онуча больно тебя нахвалил за скромность. Ты отца - то и благодари. В дом-от попала не в каковский-нибуды! Мужики степенные да тихие, да не пьяницы и мотыги. Не бивал тебя Нил, не колачивал, в нужде у тебя живет... Думаешь, не вижу, хитреющая! За сына бы не грех пристать. Как это так под бабой жить? Да... я не попрекаю. Смирной он, теля, а не настоящий мужик. В Онучу. Худа нет: Онуча у меня весь век в послушаньи жил. Видно, и Нилу такая судьба. Хе-хе-хе! Мы с тобой выходит — мужики! Хе-хе-хе! Кумпалок-от поскреби, поскреби, дюжее. Туды, туды убежала! От слышу, как бежит, подлюга! Ты на перехват, на перехват ее!

Тяжелой походкой нес Нил, будто железную бабу в сорок пудов, черный свой корпус.

— Большоротой! — вопила мать. — С каких-от пор калитку не заворяшь? Нараспашку живешь! Жену украдут. Слижут сметанку прохжие молодцы!

— Бабка жилы тянет! Бабка жилы тянет! — смеялась внучка, вспоминая, как говорила мать.

Ольга испуганно грозила дочке и зажимала ей фартуком рот. Старуха бормотала в сенцах, шлепая босыми ногами:

— Жизни не знают! Жизни не знают!

Гостила Ольга у отца в Овражках раз в год, помогала ему торговать в ларьке, обшивала сестер, плакала с матерью на отцовскую бедность.

— А сама ты? Всё хорошо да хорошо живешь, — шептала мать на ухо дочери, — а какой уж хорошо! Наслышаны мы про свекровушку. Согрешил батько, не одумался, не осмотрелся. Волосы он на себе дерет. Гляди, как извелась: где личико-то, мотри, кожа да кости? Омманул Онуча, такой хороший мужик! Глаз теперь не кажет. Оттого в Овражках и сватали, што в Борках невесты в голос, как сватов Онуча зашлет.

Ольга через силу смеялась.

— Знаю, знаю, — вздыхала мать, — ты не скажешь, отца бережешь. Будто пелену ему на глаза надернули тогда.

И торжественно, задыхаясь, сердясь, мать говорила дальше:

— Отец хорошего тебе желал. Мужик Онуча больно хорош, Нил-то не казистый, а голубь. Душа-то у него из душ душа. Редкост-

ный по душе человек. Мы вот с отцом-то без любви тоже жить начали. А што получилось: не хуже других прожили. Я так жила, как царю кума. Нил-то в отца. У матери его характер несворотимой...

Кружил огуречник вокруг Ольги, наговориться не мог, глядел на нее пристальными, жальчивыми глазами. Ребятишки от дедушки ни на шаг: луки им делал, стрелы, домики—все для Ольги.

— Ты его наставь,—учила мать, провожая Ольгу в Борки,—от отца отделиться. Зла-то и будет меньше.

Ольга махала рукой и безнадежно глядела перед собой, будто не было на свете отцовских Овражков, а в Борках молчали дома, улицы, небо, молчала она, Ольга, как по обету.

— Да не может он напротив матери дыхнуть!—зло и враждебно поднималась Ольга голосом.—Где ему? И я не могу. И я заклеванная. Старуха две улицы одна обидит.

Ольга вдруг останавливалась, вглядывалась в отчаянное лицо матери, раскрасневалась и дрожащим голосом, прячась от ребятишек, вырезала из сердца слова:

— Мама, меня ворóтит от него! Видеть не могу Нила! Старуха любее! Ничего мне не надр! Доживу как-нибудь свой век!

Старуха боязливо и немо уставлялась на дочь. Будто стояли на станции в Овражках тощие березы в слезах, плакали акации, мокрели крыши, капали слезы из железной трубы у водокачки, где поили на дорогу паровозы, и махала Ольга из окошка вагона неповоротливым и непросохшим платком.

Маялись бабы в Овражках, в Борках, били баб в низеньких домах, в домах высоких, у кабаков, у крылец, бежали по Навозной улице простоволосые бабы и ревели. Протрезвлялись мужья, тишили, бабы терли синушки колóтиком, напускали на переносье платки. Собирались бабы на усторонье на речке бельишко полоскать и хаяли-хаяли белый свет. Будто и не было в Овражках, в Борках бабьего счастья. Жил напротив Ольги золотарь—с бочкой по ночам выезжал на главные улицы—подглядела Ольга, как миловал и любовал свою бабу. А баба каждую ночь отворяла ворота, провожала вонючую бочку, закутывала зимой мужу шарфом шею, как залезать золотарю на бочку к вожжам. Чахли бабы, как березы от деревного червяка, как березы, осыпали мелкий лист. В Овражках да в Борках шли бабы замуж для глума и битья. Гуляла на Навозной улице одна злая баба в обиде на мужа с нищим-пастухом: осуждали бабу. Давал вструску муж-кочегар, бухали, словно о пустую бочку, кулаки, кричала баба голосом,—стояли за углами и подсмеивали.

Жил Нил, как у мачехи, у Ольги; будто нанятой мужик, спал на большом сундуке за печкой. Пятнадцать годов не пожалела. В большие праздники варили пиво и покупали рогóм непьящие. Онучины мужики. Ольга хмелела и мякла. Сама натыкалась на сундук и спала с мужем. Не глядела потом на него от поста до заговенья. И занывали зубы от брюха.

Копили деньгу на черный день, на ребят, на хворь в Борках; не доедали, не допивали. Отбирала от Нила мать волчью сыть, шила приданое золовке. Прятал от матери деньги сын, клал Ольге в приданный сундучок. Корила Ольга мужа насмешками: не умел делать радости нелюбимый муж. Будто укалывался Нил каждый раз об Ольгу, выпустила она колючки со всех сторон, надела платье на себя из ежовой шкурки: не дотронись.

Трудные под'емы идут под Угольским: Нил вертел круглым затылком и, вперед и в хвост поезда: разрывало, терял хвосты, прибегали вагоны вспять. Останавливали за стрелкой: кидали шпалы на пути. Вбегали вагоны ночами на станцию, коверкали поезда, давили народ. Снимали Нила с поездов, „на маневры“, в слесаря. Выслуживал. Догоняли вагоны в пути под уклон, били деревянными красными лбами в зад, поднимались и лезли вагон на вагон. Зарылся раз стальной бык в насыпь, — выкинуло Нила под снежные щиты. Привезли на Навозную улицу без памяти. Первый раз лег Нил на женину кровать. Ребята не отходили от кровати. Спала Ольга на сундуке, ворочалась, уставала прямая спина.

Отлежался Нил, снова повел крутыми угольскими горками поезда. Уезжал в Овражки, не было день, другой, третий, неделю, приходили вести о крушениях, о сломанных осях, шейках, гнилых шпалах. Сводила Ольга брови, ждала—не вернется, не приедет, не закарабкается у калитки. Сердце было холодно, как открытое зимнее окно. Скрипели двери, и сначала показывалась в дверях зачерневшая от сажи, замасленная корзинка, а над ней темное лицо Нила. Кидалась вещами, резко передвигала, скребя дном, горшки, глядела, не видя, не хотя видеть.

Ольга приглядывалась, как чавкал он за столом, тихий, широкий, как подрагивал корпусом—будто большие в окутке солдатские черные хлебы: возили их по Навозной улице из пекарни в казармы,—как жадно глядел он, не отрываясь, на кусок, покуда подносил его к большому рту. А дети вокруг него весело звенели смехом, гладили его по рукам, по круглому затылку, заглядывали из-под локтей на медведя бровей, вытаскивали из жилетки маленький замусленный карандашик, очиняли его тупым столовым ножом. Ольга вдруг вздрагивала: она ловила себя на каком-то заклокатывающем в горле обидном и сладком нытье, раскрывала рот и нехотя улыбалась. Но, как выстрел в темноте, были эти забывчивые минуты.

Бежали вдоль железных путей по бровкам собаки, жеребята, коровы, брели пешеходы, странники, нищие—поезда шли, крича, и грозя, и плача свистками. На переездах, под уклоны, врезались в стадо давили, кромсали, резали в ночном забредших на полотно лошадей,—оставляя за собой в деревнях, селах, починках плач. Зимами в метельный смрад и вой резали волков, зайцев, лосей.

Вернулся раз Нил из поездки. Собрала Ольга на стол ужин, усадила кружком четверых ребятешек. Нил насупился, не ел, не пил. Вдруг он как всхлипнул, заклохтал курицей—и закрыл лицо руками.

— Чело-ве-ка, человека я переехал...

И зарыдал, давя непривычное горе, затрясся.

— А у нево... а у нево... может... как и у меня... ребятишки!

Ольга захватила рукой горло, отодвинулась за кран, будто ожгло ей глаза медной искрой из самовара, будто увидела она того бездыханного человека на рельсах: несут его в дом и стучат по ступенькам сапоги носильщиков...

Нил вытирал грязным темным платком заплаканные глаза.

— Так совсем и задавило, папка?—спрашивали ребятишки.—Напополам?

И глядели любопытными круглыми, сосредоточенными глазами.

Ольга, не глядя, сказала:

— Ты не нарочно задавил.

И будто равнодушно отвернула кран и подлила в чайник кипятку. А ночью долго не спала, слушала бред детей, слушала тоненький далекий писк: то на сундуке плакал задавленными в подушку слезами Нил.

Ольга не знала, не помнила, как она встала с кровати, как подошла к сундуку и дотронулась до мужа. Он вскочил и напугал ее. Она очнулась. Постояла, забыла, зачем пришла к нему, вспоминала в темноте, морщилась и молчала. Нил грузно пододвинулся, давая ей место. Она повела худыми плечами, близко наклонилась над ним и звонко, как глухому на ухо, спросила:

— Тебе ничего не будет за это?

Запнулась и добавила:

— Я... из-за ребят.

И он забормотал, заторопился радостно, будто отлегла тяжесть, будто он и не плакал и не жалел человека, будто он не переезжал его на Леженском мосту и не вытаскивал его из-под тендера большими кусками мяса в лохматых обертках одежды:

— Нет... Нет. Я остановил... Я не хотел. Человек поднялся у моста по лестнице. Отшатнулся назад, запнулся за шпалу... Паровоз и нанесло...

Воротилась Ольга на кровать, будто поворачивался сундук под Нилом всю ночь—и глядели они в одну и ту же темноту удивленными, остановившимися, невидящими глазами.

И с тех пор Ольга начала бояться, когда он уезжал. Только затворится калитка, Ольга остановится посередь избы и задумается, глядит на себя в большое, мухами обжитое, на стене зеркало, видит одни свои глаза и тонкие, как паутинный узор, морщинки на лбу. Ходит она своя не своя, а придет Нил, Ольга сердится, кипит, гремит, будто ни весть за что затаила на мужа непроходимую обиду.

Под осень перекладывали печку в избе. Старик-печеклад с молодым сыном весело пылили у печки, разбирая прожженные, треснувшие кирпичи. Молодой печеклад все мурлыкал себе под нос и часто выходил в сенцы пить воду из деревянной под пловучим кругом ка-

душки. Закрыты были в избе рогожками, холстиной, половиками-дорожками вещишки от пыли. Жили в сенцах, в задней избе. Разобрали печку, отобрали годящий кирпич, носили со двора новый кирпич. Глядел на Ольгу молодой печеклад приметно исподлобья, напевал, на голове у него картуз, на груди серый с красной кирпичной пылью фартук. Глядела на него Ольга и удивлялась, будто видала она его где-то и когда-то и знала его давно-давно. А вторые сутки и печку клали.

Уходили печеклады к себе на квартиру на обед, запирали за ними двери и сама не понимала—скучно ей чего-то дожидаться, когда опять придут. Тянуло Ольгу из сенцев, из задней избы на свою половину, то надо принести, другое, там поправить половичок, там погреть сундуком, там смахнуть лишнюю грязь. Беспокоится по хозяйству и взглянет на печекладов. Молодой поет и усмехается, смотрит прямо на нее, ворожат голубые глаза и видать длинные пушистые в пыли ресницы. Горит у Ольги левое ухо, будто кисть рябины, и тепло и жарко под кожей текут, извиваются, трепыхают какие-то толкучие ручейки и волосинки.

Ушли на третий день ребятишки с отцом, с бабушкой по грибы на Лежу. Знает, придут к вечерням. Осталась домовничать. Стряпала, кормила кур, рубила кочерыжки корове, прибиралась в задней избе, носила воду, суетилась зря у печекладов. Молодой пил воду в сенцах, стояла у кадушки, фыркнул и плеснул две капли на лицо, не рассердилась, засмеялась, не отошла. Молодой взгляделся близко-близко—и подышал на нее.

Провожала на обед, сама не знала, дразнила глазами в глаза. Обернулся молодой в дверях и запнулся за порожек. Ойкнула в испуге и схватила за руку, чтобы не упал.

Воротился с обеда раньше времени один молодой печеклад. Заперла двери на задвижку до старика. А молодой в сенцы вошел, слышит она, стоит, дожидается. Стоит и Ольга у задвижки, обмерла, прислушивается, как на дворе судачат куры и хрюкает под крыльцом свинья. Постояли так: печеклад к печке пошел, заколотил маленькой киркой по кирпичикам, отбивает дятлом, замурчал грустно и жалобно бессловесную песню.

Переступили ноги сами в переднюю избу... Тут молодой схватил ее... Так, стоя у печки, торопясь и оглядываясь, прищуриваясь к дверям,—и согрешила. Старик-печеклад уж стучал на крыльце и дергал задвижку.

Не поглядела больше Ольга на молодого. И он перестал петь.

Уходили, вынесла деньги старику, двери пошел запирать Нил.

— Хозяюшка, прощай,—сказал молодой, опинаясь у порога,—не поминай худом!

— Совет да любовь,—добавил старик.

— Нас не забывайте,—холодно ответила Ольга.—Задымит пѣчка—покличем.

— Это мы с нашим удовольствием. Завсегда. За работу мы ответственные. Только не задымит, будь в надежде,—говорил старик, вышагивая за порог.

Ольга понесла от молодого. Не ныли зубы, только тянуло ее неотступно есть глину. Она отковыривала от печки маленькие кусочки и жевала, проглатывала, а потом ее подолгу тошнило.

— Папка, мама опять кашляла,—рассказывала маленькая дочка приезжавшему из поездки отцу.

Нил скромно, чтобы не рассердить Ольгу, смеялся и ласкал по голове девочку.

Ольга носила привычное беремя, только была на губах у ней какая-то непонятная, небывалая сладость,—и Ольга иногда незаметно для всех облизывалась. Она затаилась, утихла.

Шла зима. Печка исправно и светло топилась. Уже шевелился ребенок в животе. Ольга выпрямлялась и сглатывала слюну, когда он кидался ножками. Ольга тихо и спокойно служила семье, но с каждым днем все отчетливее боялась она, если долго не возвращался муж из поездки, кидалась открывать ему, молча кормила, была какая-то новая и робость и радость в том, что у порога стояли его вымазанные рыбьим жиром ухастые сапоги и даже засаленный черный сундук за печкой, будто маленький тендер, не морщил ее бровей, и она без дурноты, как было еще недавно, садилась на него. Но Ольга не могла глядеть на мужа—и как-то по другому не могла глядеть.

Нил радовался на ее большой живот, как наливался он с недели на неделю, будто раздутая на ветру рубаха, будто подушка под белым одеялом.

Не ныли у Ольги зубы, и был дорог этот обглоданный уголок печки. А на лице не было этого летучего гнева, словно наплывшая в летнюю ночь холодная волна с лугов, не было гнева на Нила, как раньше, только попрежнему она молчала, жила она будто не с ним, а с его ребятами.

Раз вышла Ольга за ворота. Бежал мимо вприпрыжку молодой печеклад, окинул гору ее, выпирающую полушубок на натянувшимся крючке,—и остановился. Но не успел он усмехнуться, а лишь пошевелил губами, Ольга резко приказала ему:

— Иди, иди своей дорогой!

Печеклад смешался, потопался на месте, снял для чего-то шапку-уханку, а Ольга, не торопясь, повернула свой живот в калитку и ушла в дом. Потом она глядела в окно, как, опустив голову, втянув плечи, глубоко влезая в шапку-уханку, так что болтались уши шапки на крутых плечах—шел медленно печеклад по улице. Она глядела спокойно, равнодушно, как будто уходил от ее дома уличный прохожий. В другорядь увидела она печеклада на улице. Шел он навстречу, узнал—и вдруг повернул вспять. Ольга улыбнулась и во весь день весело смеялась, играла с ребятами, остерегая свой живот, когда меньшая девочка кидалась к ней в колени бычком, головой вниз.

Заносило Борки ежегодно, даже в малый снег. Проносные ветра кувыркались над ними с первого зазимья до весеннего отзимья и как в большую чашу, какой не сделать человеческими руками, все складывали и складывали, накручивали, навивали снег. И не гуляли над Борками метели в редкий день, а то несло по земле белую пыль, дуло из лесов лишний снег, он все выше и выше подымался над настами—и, наконец, завивался перед поздиной в слепую и тесную кутерьму.

Жил Нил, как солдат в казарме. Ольга сморщила брови и не глядит, а он отпрашивается у ней в город. Она с сердцем, гневаясь, кинет: — Да, иди ты—что мне! Куда, да ненадолго, да зачем!

И швырнет и рывнет посуду, щетку, голик.

Пятнадцать лет прошло заметными зазубринами на коже, на волосах, на захрипающем голосе. Уходил Нил из дому и спешил и торопился обратно на свою Навозную улицу. Не пил Нил, не просиживал с товарищами по чайнушкам, по кабакам, по трактирам, не сидел длинные жадные борковские ночи за картами. Любил он допоздна сидеть на лавочке у ворот: перекликались через улицу с золотарем. И тот любил сидеть, близко, тесно, пола в полу со своей бабой на лавочке под своими окошками.

В ту зиму ушел ненадолго вечером Нил в депо: двенадцать—нет, час—нет, два—нет... Отужинали ребяташки. Уложила Ольга свою тяжесть на кровать полежать, дожидается, дремлет, не стукнет ли, как кот лапкой, за окном муж. А на улице метелица. Выходил из себя борковский мороз, стучал в стены, щелял обмерзшие ворота, крыльца. Выла метелица в трифоновых лесах и будто скакали оттуда волчьи стаи на город Борки, выли и лаяли, а с невидимого неба кричали тревожно снежные облака, визжали там, отдаваясь в печных трубах, мельничьи жернова, шумели и шелестели тысячи тысяч большекрылых мельниц.

Навалилась на Ольгу тоска, растет у нее сердце, занимает ей всю грудь, толкает в набухающие соски. Отвернула Ольга полным огнем свет. Ходила из угла в угол, шарила и гладила простывающее брюхо. Из избы выносила тепло гуляка - метелица. Обмерзли малые оконца узорной солью. Постоит у окна, поскребет и снова ходит. Остановилась у печки, где любила печеклада, привалилась к теплому боку—и заплакала. Запрудили слезы глаза, насторожилась, ждет, как закричат у крыльца люди, застучат в сенцах валенки и принесут в избу его... Но кого принесут? Принесут молодого печеклада и положат на пол. Ольга закачалась и схватилась за печку. Маленькие часики с мигающими львиными глазами кадили из стороны в сторону медным кадиллом-маятником; острые часовые шильца медленно и вяло передвигались по расписанному на круге садику, будто черные дорожки, а числа, как скамейки, взялись за руки и вели хоровод.

И казалось Ольге, не взойдет больше солнце, не придет день, а будет биться в плаче и ломать руки метель, уснули навсегда ребя-

тишки, догорит огонь и погаснет, а она станет ходить, ходить по избе и шарить в темноте стены, окна и не найдет дверей, чтобы отворить когда кто-то постучит...

Нил пришел в непроглядные предутренние часы. Он долго выбивал из шубенки снег в сених, обдергивал с усов сосульки, приглаживал зазябшую, мокрую голову.

— Где ты был?—задыхаясь, шептала Ольга.

Виновато оправдывался Нил, прижимаясь к скупой теплом печи, и рассказывал:

— Я не по своей охоте, Оленька. Выдали ребятам повёрстные за три месяца. Собрались ребята в дежурке и в складчину за водкой...

— Постой, постой,—вдруг беспокойно задёргала его Ольга за рукав.—Отойди сюда.

И потащила его ближе к устью.

— Теплее тут,—вырвалось у нее заботливо и ласково.

Нил послушно передвинулся к устью. А она стояла рядом, вплотную, горя, дыша на него теплым телом, впершись круглым брюхом к рукам его,—и жадно слушала.

— Пришел я, все пьяные. Не пускают. Насилу вырвался. Пошел кассира искать. На товарной нашел в конторе. Часа два и прошло времени. Домой иду, гляжу—в Обжорном ряду валяется человек в снегу. За метелью не разберешь, наклонился—кочегар Вавилов. Поглядел дальше—перевалился через палисадник головой вниз—машинист Гусев. Кричит на него, шатается, сам пьянее вина, помощник Сенька Варзин. Думаю, плохо, ребята, дело. Закоченеют. Не дойти одним. Вот я Сеньке и говорю—„Погоди тут, постереги Гусева, чтобы не обокрал какой вор ночью, а я Вавилова домой стащу“. Сенька ругать меня, драться лезет, а остался. Я Вавилова вести,—валится мешком, пришлось на себя. Перепотел весь, тащучи чорта.

Нил усмехнулся, а Ольга глядела на него из-под ладошки, шаря и глядя сводившую на лбу кожу от прихлынувшей крови.

— Поди, полгорода протащил—живет на Куликах. Потом Гусева тем же манером. Сенька не дождался, и сам ушел. Поискал его, нет. Думаю, а не валяется ли где? Дай проверю. Постучался к хозяйке. Вышла. Дома, грит, спит. Ну, ладно. Вот время-то и прошло. И о доме сердце болит, а как же товарищей оставить в таком положении?

— Да, да,—бормотала Ольга.—Да, да!

— Надо, думаю, еще поглядеть на дороге. Пошел к депо—и еще семерых сыскал. Всю ночь и проваландался, да всё бегом, одного доставлю, за другим... Кричать-покричать на улице: никого нет. Насилу справился. Хуже всякой работы. Забыл машиниста Верхушкина квартиру, он языком лыка не вяжет, поди, два часа проблуждал с ним, баба его на счастье вышла искать—и пихнул ей, а то хоть сюда веди.

Нил задумался, пошевелился, подрожал коренастым телом и в раздумьи сказал:

— Будто все? Больше никого не было в дежурке из закладывающих. Без ума ребята пьют! Что-то холодно у нас в квартире, Оленька!

Сердце заполонило всю грудь у Ольги еще давеча, теперь кинулась ей в горло, в лицо, в глаза краска; Ольга прижалась к нему, дрожа, и обнимая, и наклоняя его на крепкой шее круглую голову, впивалась в мокрые губы, в медведя бровей, в измазанные ее слезами щеки с частыми выбоинками...

Прилило тепло к Нилу, как будто от затеплившейся невидимым огнем печки, он не успевал говорить, спрашивать, обмирать: весенним проливным дождем были ее целующие губы.

Первый раз Ольга положила его с собой на кровать и он осторожно, оберегая большой неудобный живот, спал с ней.

— Не твой, не твой ребенок... печекладов,—грустно шептала Ольга.—Согрешила я...

— Я сердца на тебя не имею,—гладил ее по спине муж.— Не от сласти согрешила, от муки. Затаим от людей. А он хороший, не избалованный парень—никому не скажет... Я, буди, его попрошу не срать тебя?

— Тут... тут... у печки, где стоял ты сперва—и согрешила. Не взыщи! А то... убей меня, медведушко мой!

Нил спрятал ее голову на широкую, ходившую тяжело грудь, будто жгли ее огнем, и тихо, скорбя голосом, скорбя раскрытыми невидными ей глазами, говорил:

— Милым бывать бы и то хорошо! Милым бывать бы и то хорошо!

Порог Китая

СЕРГЕЙ АЛЫМОВ

Зеленый, узорчатый камень,
Бумажных вывесок бороды...
Вот он—
 переулков тисками
зажавший—
 китайский город!..

Витые,
 зубастые
 змеи...
Ползущие иероглифы...
Здесь
 душу захлестывать
 смеют
Седые и свежие
 мифы.

Плыви
 по дымящему морю
Пекущих капитаны
 жаровень.
Здесь
 каждый твой шаг
 разузoren.
Здесь
 каждый твой взгляд
 зачарован.

Смотри на сопок соски
В губах голубого неба.
Смочи
Синевой виски!
Молчи
И сказки требуй!

Плакаты украшают день.
И рикши серебрят минуты;

Курму ¹⁾ китайскую надень
И ты с востоком перепутан.

Струись по улице с толпой,
Вдыхая запахи харчевни.
Здесь все поет, и ты запой.
Здесь все—века,
Будь тоже древний.

Жужжит бродячий брадобрей,
Слепой ху-цинем ²⁾ режет ухо...
Вон, соблазняя быть добрей,
Полазет безногая старуха...

А черный лак и красный лак
Со всех домов гостей пугает.
И небо—
Сжав луну в кулак—
Зловеще предостерегает.

Запрячься в ресторан от улицы!
На стенках шелковые буквы...
И незнакомый вкус у курицы
В гарнире лиловой брюквы.
Червячный суп наполнен золотом
И в нем голубенькие нити...

Рука...
Взгляните!..
Вся исколота ..
Взгляните!..

Слуга, изваянный из торфа,
Давно влюблен в запретный морфий.
И каждый день
На крыльях шприца
Он хочет в небо возноситься.

Он сколько ни получит денег—
Их все растратить на утопии...
Китайцы...

Непонятен день их!..
Их хлеб—коричневатый опий.

А шелка разрезают глаза,
А шелка не устали сверкать.
И одна полоса—бирюза,
А другая—горящий закат.

¹⁾ Китайский вышитый халат.

²⁾ Пронзительная, двухструнная скрипка.

И не знаешь:
 Закат или нет?
 И не знаешь:
 То небо иль ткани?..
 И уже это небо в стакане
 Начинает синеть
 И звенеть.

Снова выбита улиц пробка.
 Снова в голову толп вино!..
 Серебрясь,
 Из неба коробки
 Выпадает луны венки.

Прилипают к восторгу нищие,
 Вызывая сознания зуд.
 Этих жутких червей здесь тысячи,
 И они ползут...
 Ползут!..

За углом,
 На лотке
 Под спичками,
 Отравляющая игла.
 Ее ржавчиной жадно пичкают
 Эти черви
 Свои тела.

И как только—
 Рука проколота,
 И в крови роковой заряд—
 В каждом нищем
 Сияет золотом
 Наркотическая жаря.

Бросаю воющих париев.
 Доигрывать роли в драме...
 Вечерние лупанары
 Защелкали веерами.

В решетке окна—ребенок.
 На губах у ребенка кровь...
 Что делает этот ребенок?
 Предлагает свою любовь.

Попадаю в шелковый храм
 Куртизанки двенадцати лет...
 И дышу миллионом отрав,
 От которых спасенья нет.

Веера за окном трещат.
Веерами стрекочет ночь...
Я лежу,
Лежу, грепеща,
И гляжу на копытца ног.
Я не знаю: повор?.. порок?..
Я не знаю: дождусь ли дня?..
Но Китай,
Китай
На порог
На минуту
Пустил меня..

Я не знаю: я сном цвету?..
Ну, а сон!..
Да снился ль он?!
Над курмою мохнатых туч
Серебрится луны пион.

Ах, луну сорвать, сорвать
И, как веером, веять ею!..
На луне видны слова,
Но читать не могу...
Не умею!

В Китае глухих ворот
Раскинуты всюду горсти.
Боятся ли здесь воров?
Себя ль берегут от гостей?

Дракон сторожить залез
На парус парящей крыши.
И грохот и гуд желез
На пяльцах построек вышит.

Мелькнут сторожей глаза
В глазок потайных отверстий..!
Там что?..
Катакомбы? Сад?
Никто не приносит вести.

Какая там тайна,
Там...
Цветет за глухой стеной?..
Голодные взоры ноют:
К цветам...
К цветам!..
К цветам!!.

Китай,
Почему молчишь?!

Раскрой своих тайн законы!
Но молча
С узорных крыш
Грозят зубами
Драконы.—

Бреду,
Разгадки ища.
В бреду
Веера трещат...

И... вдруг—
На луне
Слова
Становятся все знакомей.
Мне хочется целовать
Земли породневшей комья.

Мильоны горячих рук
Сжимают приветом пальцы.
И нежный рождают звук
Построек суровых пяльцы:

— Товарищ,
печаль убей!

К свободе
идет Хубей.

— Товарищ,
грустить перестань!

К свободе
идет Хенань.

— Товарищ,
глуши свой стон!

К свободе
ведет
Кантон.—

Труба восстаний,
заржав,

Трясет
граниты держав:

Врагов свободы—
на дно!

Китай и Москва
— одно!

— Европа!
Довольно скачек

на тихих
китайских шеях!

Все громче
голос стачек,

все гуще
гром в траншеях.

— Китайских два лица:
для друга—
улыбкой губы;
для недруга—
хмурь свинца
и сжатые двери
и зубы.

Гляжу...
Вдали идет
Европа—
ненужный конюх.

Гляжу...
Улыбки мед
течет
на зубах
драконьих.

Новый закон о семье и браке

И. ИЛЬИНСКИЙ

1

Закон этот имел свою судьбу, не совсем обычную в летописях советского права. До 1925 года мы жили по «Кодексу законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве», принятом еще в 1918 году. Этот Кодекс долгое время оставался в нашем праве почти единственным; усиленная кодификация других отраслей законодательства началась, как известно, в 1922 году. Главным положительным действием Кодекса 1918 года явилось внедрение в быт гражданского брака. Законодатель не стеснялся достраивать и исправлять этот закон: редкий год обходился без поправок к тем или иным частям Кодекса. Однако жизнь так быстро менялась, что закон не мог за нею угнаться, и к 1925 году обнаружилась с полной ясностью нужда в общей переработке Кодекса. Наркомюст приступил к ней обычным лабораторно-канцелярским порядком, и, может быть, ублюдочный плод многих междуведомственных, согласительных и прочих комиссий принял бы в конце концов юридическое бытие, как приемлют его законы о различии между строениями национализированными и муниципализированными, о заключении и регистрации комиссионных сделок, о государственном маклериате и др., но к 1925 году сильно возросла активность населения, то-есть тех людей, которые вступают в брак, рожают, кормят и воспитывают детей и притязают на то, чтобы по данному вопросу было спрошено их мнение и услышан их голос. Печать откликнулась на запросы общества рядом дискуссионных статей, с мест стали постуцать резолюции различных собраний трудящихся, начиная от судебных работников и кончая комсомольцами. Наркомвнудел выработал свой контрпроект. Наркомюст приступил к переработке своего, а поток резолюций и пожеланий все ширился. К октябрю 1925 года, когда законопроект постушил на рассмотрение II сессии ВЦИК XII созыва, людское море бушевало во всю. На сессии развернулись бурные споры и обнаружались непримиримо противоположные точки зрения по существеннейшим вопросам социалистической нравственности и строительства быта. ВЦИК принял эту активность, как здоровое, освежающее начало в нашем законодательстве. Сессия

постановила отложить принятие предложенного ей законопроекта до следующей сессии с тем, чтобы за это время с достаточной ясностью и широтой выявились настроения самих трудовых масс.

С того времени прошло больше года, и в ноябре 1926 года на III сессии ВЦИК был представлен законопроект, разработанный с учетом всех постановлений, мнений и замечаний (как собраний трудящихся, так и отдельных специалистов), которые были собраны и систематизированы в Народном Комиссариате Юстиции и других центральных учреждениях. Но и на этой сессии единство мнений было достигнуто не вдруг, а собранные к ней материалы показывали, что такого единства нет и в низах, что вопросы социалистической морали и советского бытового уклада, как никакие другие, отражают многочисленные классовые, племенные и иные различия, пронизывающие толщу населения Советского Союза.

2

Труднейшим из всех оказался вопрос о юридическом оформлении брака и связанные с ним более частные вопросы. Кодекс 1918 года давал судебную защиту и другие государственные льготы бракам, только надлежащим образом записанным у должностного лица, ведающего актами гражданского состояния. Руководители Наркомюста, в лице тов. Курского и особенно Крыленко, полагали, что наступило время сделать еще один шаг вперед и уравнивать фактические брачные отношения с отношениями оформленными. Т.т. Сольц и Рязанов возражали, что это будет шагом не вперед, а назад. Решения, принятые братскими ЦИК'ами, не отвечали точке зрения, которую от лица Совнаркома РСФСР защищал народный комиссар юстиции т. Д. И. Курский. В Белорусской республике постановлено было признавать действительными лишь те браки, которые записаны в акты гражданского состояния. Что касается Украины, то в результате ожесточенных споров ВУЦИК принял новый и совершенно неожиданный текст закона, который гласит следующее:

«Лица, состоящие в близких отношениях без их регистрации, могут подать в органы ЗАГС'а за совместными подписями заявление о регистрации их отношений, как брака, каковая регистрация производится с соблюдением правил, установленных предшествующими статьями настоящего Кодекса о регистрации браков.

В случае подачи заявления о признании супружества только одной из сторон, с указанием другой стороны и при отсутствии признания последней, местные органы ЗАГС'а в трехдневный срок посылают извещение о поступившем заявлении лицу, указанному в заявлении в качестве супруга, обязав последнего в течение месячного срока со дня объявления ему под расписку извещения сообщить, признает ли он правильность поданного другой стороной заявления.

В случае нежелания указанного лица принять извещение от органов ЗАГС'а и выдать расписку о принятии, составляется соответствующий акт согласно инструкции, издаваемой Народным Комиссариатом

Внутренних Дел по соглашению с Народным Комиссариатом Юстиции, каковой акт имеет силу расписки.

В течение месячного срока со дня получения извещения лицо, указанное в заявлении в качестве супруга, может возбуждать спор в суде против правильности поданного другой стороной заявления с одновременным уведомлением о том местных органов ЗАГС'а».

Этот текст явился последней и весьма скудной уступкой, которая сделана была преобладавшими на Украине сторонниками обязательной регистрации ее противникам. На практике он грозит, разумеется, большими недоразумениями, и никто не возражал против остроумного замечания тов. Курца, передавшего сложный замысел украинских юристов простыми словами русской поговорки: «Без меня меня женили». Сессия ВЦИК не пошла за украинцами, но вопрос, тем не менее, был обсужден с самого начала.

Сторонники обязательной регистрации выдвинули при этом ряд соображений, которые условно можно подразделить на доводы, имевшие в виду интересы самих брачующихся, и доводы, направленные к защите интересов государства. Интересы брачующихся, по мнению представителей сказанной точки зрения, требуют серьезного размышления, прежде нежели они решаются на брак. Знаменитая теория стакана воды должна быть отброшена раз и навсегда. Регистрация, как начало брака, будет той вехой, от которой -станет отпираться внимание лица, обдумывающего свой поступок. Ею как бы отмечается начало нового жизненного этапа. Это, разумеется, только символ и притом весьма неоконченный, но символика играет в нашей жизни немаловажную роль. Во многих случаях она является мощным регулятором социальной жизни, и неразумно пренебрегать этим ее свойством. Вместе с тем регистрация, как бесспорное доказательство брака, облегчает защиту вытекающих из него прав. С зарегистрированных супругов снимается бремя доказывания их отношений какими бы то ни было другими способами. Они не зависят от благорасположения и памяти свидетелей, от справок, выдаваемых домоуправлением, наконец, от неизбежной субъективности суда при оценке представляемых ему доказательств. Самый порядок регистрации прост и не осложнен никакими стеснительными формальностями. Закон должен всеми мерами поощрять эту форму заключения брака и не порождать у брачующихся иллюзии о том, что и при отсутствии регистрации государство сумеет должным образом охранить их интересы.

Не менее красноречивы были доводы общественного и государственного порядка. С необычайной горячностью трактовались при этом вопросы нравственности, как системы социально-бытовых отношений, одобряемой и поддерживаемой общественным мнением трудящихся в условиях переходного времени. Некоторые ораторы, правда, отрицали самую целесообразность этического подхода к предмету. Так, т. Мойрова говорила: «Что мы, — буржуазные нравоведы, что занимаемся какой-то нравственностью? Мы должны ставить вопрос попросту: мы не можем сейчас дать помощь женщине и ребенку со стороны государства, — помогайте

так, как вы имеете возможность»¹⁾. Но такие высказывания насчитываются единицами. Наоборот многие и притом весьма авторитетные ораторы сосредоточили едва ли не главный огонь на вопросах нравственности. «Мы должны внушить,—говорил т. Сольц,—у нас должно быть такое общественное мнение, чтобы не было таких вещей, как беспорядочный, хаотический брак. Я нередко указывал, что мы боремся с пьянством гораздо больше, чем с безобразием в половой жизни. А по-моему эти явления—одинакового характера. Если коммунист выпьет, то его исключают из партии, а если он три раза в год меняет жен, то вы ему ничего не говорите»²⁾. Тов. Рязанов обосновывал тот же взгляд, исходя из выдержанного коллективистического представления о браке и считая, что наша молодежь введена в заблуждение мелкобуржуазной романтикой, обманно выдаваемой за чистопробный революционный коммунизм:

«Я вам говорю не только для вас, а для наших сбитых с толку комсомольцев, для молодежи, для тех, которые идут нам на смену: не всякое спаривание есть брак (шум, аплодисменты). Им надо знать, что если они вступают в брак, а не в спаривание, то это есть не только личный акт, не акт двух лиц, а это есть акт глубоко общественный и социальный, требующий вмешательства общества и регулирования этим самым обществом (аплодисменты). Только тогда, когда бедная комсомолка будет знать, что этот брак есть известная форма санкционирования в глазах общества, есть для нее обязанность, налагаемая на нее миром, совокупностью и обществом, то она скажет всякому кобелеобразному молодцу: «Потерпи, над нами не каплет». Только тогда она будет знать, что дело идет о браке, не просто о юридическом договоре, из которого вытекают только имущественные права и последствия, а о нравственном союзе, создаваемом и санкционируемом тем кодексом морали, о котором напомнил т. Белобородов. Только когда они будут знать, что, вступая в брак друг с другом, они берут на себя обязанности, не только перед собой, но и перед обществом, они будут к этому относиться серьезно, а вы не будете выходить на кафедру и рассказывать анекдоты (Голос с места: «Старинка»). Старинка? Не всякая старина плоха. Только в браке, в нравственном союзе, основанном на взаимном уважении друг к другу и на доверии, только в таком союзе, в основе которого лежит сознание своих общественных обязанностей, станет невозможным всякое проявление животной разнузданности, прикрываемое интеллигентскими фразами».

Другие ораторы сделали практическое приложение теории, развитой т. Рязановым. «Государство предписывает, что когда вступает в брак молодая пара, то она должна иметь в виду и обязываться, во-первых, взаимно материально помогать друг другу и, во-вторых, воспитывать детей, содержать их, кормить, обучать и т. д.». Семейственная ячейка есть первостепенной важности орудие общественного распреде-

1) Третья сессия ВЦИК XII созыва, бюллетень № 14, стр. 34.

2) Бюллетень № 13, стр. 26.

ления. В коммунистическом обществе, где социализация производства дополнится социализацией потребления, эта роль семейной ячейки сама собою отпадет, но до того времени государство с плановым хозяйством в высокой степени заинтересовано учетом и организацией капиллярных сосудов распределения—семей. Вслед за тем указывалось, что в крестьянской стране настоящий вопрос приобретает особенно важное значение. Согласно земельному кодексу, двор есть семейно-трудовое объединение лиц, сообща ведущих сельское хозяйство, иными словами, не только, или даже не столько потребляющая, сколько производящая ячейка. Экономической базой этой ячейки является в земледельческих областях земля, власть которой, как показано еще Глебом Успенским, дает себя чувствовать по всем измерениям крестьянского быта сверху и донизу. Земля, как предмет хозяйствования, сообщает связанным с нею юридическим отношениям особенные черты определенности и долгосрочности. Постановления крестьянских сходок клонились поэтому к всемерному упрочению и оформлению брачных отношений. Так, Ухтоостровское общество, Холмогорской волости, Архангельской губернии, вынесло пожелание о необходимости регистрации брака, иначе «без этого будет больше в деревне разврата и других вольностей». В том же смысле высказались сходы сел Малетино и Пиремени: в их постановлениях подчеркивается, что материальные обязательства должны вытекать только из зарегистрированного брака. Нелепо утверждать, что в данном случае мы имеем дело только с деревенской отсталостью или предрассудками. Несомненно, такое настроение крестьян обусловлено коренными свойствами современной деревенской экономики. Это признал и секретарь ВЦИК т. Киселев, сделавший отсюда подлежащие выводы и для всей экономики страны:

«Если мы не создадим прочных основ семьи, не создадим прочных отношений в смысле взаимоотношений членов семьи и раздела имущества, то мы, само собой разумеется, ослабим и распатаем ту экономическую базу, на которой строятся индустриализация нашей страны и рост нашего хозяйства».

3

Противники обязательной регистрации выдвигали свое понимание брака в коммунистическом обществе, обосновывали свое понимание этики в пролетарском быту, доказывали, что правящий класс не должен плестись в хвосте отсталой деревни, а творить новый революционный быт и новое право. Эта точка зрения встречала поддержку в резолюциях многих рабочих собраний. Даже на Украине, вообще говоря, более приверженной к регистрации, чем РСФСР, нередко были постановления в роде следующего: «Шлюб є по суті приватна справа громадян, яка абсолютно не торкається держави... добровільний союз, що вчиняють громадяне, чоловік та жінка між собою на підставі взаємного природженого потягу та дружби»¹⁾. Читатель без труда переведет на русский язык эту формулу,

¹⁾ «Семья, опека, брак». Сборник материалов. Харьков, 1926. Стр. 78.

имея в виду, что «шлюб» значит брак. Однако в последнем счете спор был разрешен вне тех или иных теоретических доводов силою самих фактов. А факты свидетельствовали о том, что значительное количество брачующихся избегает оформления своих отношений. Д. И. Курский привел цифры переписи 1923 г., согласно которым число показанных браков превышало число зарегистрированных, примерно, на 70—100 тысяч. Московский губсуд обследовал на выборку 300 алиментных дел. Оказалось, что из 300 детей от случайной связи произошло 14, от кратковременного сожительства до одного года 68, от длительного сожительства 41. Правда, супружеские пары, в среде которых возникают алиментные споры, дают больший % не зарегистрированных браков, чем остальные. Однако и с этой поправкой без преувеличения можно будет сказать, что до 15% брачующихся не доводят о своих отношениях до сведения государства. Чем это вызывается, трудно объяснить. Без глубокого проникновения в цифровую материал и монографической (хотя бы по способу Ле-Пле) обработки отдельных типичных случаев, всякое объяснение явится поверхностным и лживым, невзирая на изящество внешней формы и даже quasi-марксистскую оболочку, которую можно натянуть на него при помощи двух-трех цитат и такого же количества общих фраз. Но самый факт бесспорен, и законодателю приходится либо принять его в соображение при издании закона, либо резко осудить данное явление, мобилизовав против него, если не правительственную машину, то, по крайности, общественное мнение трудящихся. На этот последний путь ВЦИК совершенно основательно стать не пожелал. Рабоче-крестьянские законодатели нашли чрезвычайно практичный выход из положения. Им удалось обеспечить защиту фактических брачных отношений и в то же время поощрить регистрацию брака в интересах как самих брачующихся, так равно общества и государства. В окончательном виде 1 статья нового закона гласит:

«Регистрация брака устанавливается как в интересах государственных и общественных, так и с целью облегчить охрану личных и имущественных прав и интересов супругов и детей. Брак оформляется регистрацией в органах записи актов гражданского состояния (ЗАГС) в порядке, определенном разделом IV настоящего Кодекса».

Значение этой статьи окончательно раскрывается из сопоставления ее с другими статьями Кодекса, устанавливающими новый для нашего законодательства институт фактического брака. Закон (ст. 12) воздерживается от исчерпывающего определения последнего и дает только примерный перечень доказательств, коими должен руководствоваться суд в случае спора. Такими доказательствами являются: «факт совместного сожительства, наличие при этом сожительстве общего хозяйства и выявление супружеских отношений перед третьими лицами, в личной переписке и других документах, а также, в зависимости от обстоятельств, взаимная материальная поддержка, совместное воспитание детей и пр.». Необходимо иметь в виду, что перечень этот примерный, и что в живой действительности может не хватать одного или нескольких признаков,

указанных в законе, и, напротив, могут оказаться признаки, законом не предусмотренные. Даже такой характерный для брака признак, как совместное сожителство, не имеет абсолютного значения: бывает, что один из супругов уехал в длительную (на 2—3 года) служебную командировку в отдаленные местности Союза, а другой с детьми остался на месте прежнего жительства. В спорных случаях суд из совокупности обстоятельств заключает, брачные или какие-либо иные отношения имели место между сторонами.

Каковы же правовые последствия такого фактического брака для супругов? Говоря кратко: *имущественные права и обязанности, вытекающие из брака, одинаковы для супругов записанных и не записанных, но в тех случаях, когда речь идет о правах или обязанностях публично-правовых, они вытекают только из записанного брака.* Имущественные последствия брака закон определяет в следующем виде. Имущество, принадлежавшее супругам до вступления в брак, остается раздельным их имуществом. Имущество же, нажитое супругами в течение брака, считается их общим имуществом. Размер причитающейся каждому из супругов доли, в случае спора, определяется судом. Не ясно, какими пределами должен руководствоваться при разделе суд (кроме случаев раздела с.-х. имущества), но, очевидно, на первом плане будет стоять количество труда, вложенное каждым из супругов в фонд общего благосостояния. Само собою, что частности имущественных отношений между супругами могут регулироваться или договорным порядком на общих основаниях, лишь бы при этом не случилось умаления имущественных прав той или другой стороны, напр., совершенного отказа жены от каких бы то ни было прав на общее имущество. Особыми статьями закон обеспечивает право каждого супруга на получение, в случае нужды, материальной поддержки от другого (ст. 14 и 15). Это право не тотчас погашается и расторжением брака. При нетрудоспособности и нуждаемости одной из сторон оно существует до года после расторжения брака. При безработице—только до 6 месяцев; притом пособие выдается в размере, не превышающем соответствующего пособия соцстраха. Но для того, чтобы получить преимущества, связанные с браком в области политических прав, участия в жилищных товариществах, льгот, связанных с воинской повинностью и т. п., необходима регистрация.

Самый порядок регистрации брака содержит некоторые изменения в сравнении с порядком 1918 года. Брачующие должны дать подписку о том, что они взаимно осведомлены о состоянии своего здоровья, в частности, в отношении венерических, душевных и туберкулезных заболеваний. Кое-где раздавались требования запретить вступление в брак лицам, страдающим сказанными недугами. Требования эти отпали в виду последовавшего раз'яснения, что запретить больным брачные отношения немислимо. Запретить можно только запись их брака, в результате какого запрещения они своих браков регистрировать не будут, и, таким образом, целый ряд фактов, имеющих существенное значение для охраны народного здоровья, ускользнет от учета соответствующих органов. Далее,

каждый из брачующихся обязан указать, в который по счету брак, зарегистрированный или незарегистрированный, он вступает, и сколько он имеет детей. Здесь уже начинаются серьезные трудности. Указать число детей и зарегистрированных браков дело простое. Гораздо сложнее указать число браков фактических, в виду спорности этого понятия; даже судьям дан только примерный перечень признаков, распорядиться коими они должны в зависимости от особенных обстоятельств каждого случая. Простой же гражданин должен будет крепко думать, прежде нежели определить— как считать данный эпизод в его жизни: фактическим браком или всего лишь любовной связью. Можно сказать— не беда, если и ошибется, но, оказывается, что ошибка может повлечь за собой печальные последствия, ибо статья 133 Кодекса заботливо предупреждает об уголовной ответственности за ложные показания. Надо, впрочем, надеяться, что здравый смысл уголовных судей, вместе с правильным применением тех статей Уголовного Кодекса, которые трактуют природу преступления вообще и умышленного в частности (ст. 6 и 10 в Угол. Код. редакции 1926 г.), найдет выход из формальных трудностей, порождаемых новым законом о семье и браке.

/

По вопросу о разводе особо горячих споров не было. Громадное большинство сходилось на том, что свобода расторжения брака должна быть сохранена полностью. Более серьезные сомнения возникли по вопросу о допустимом числе браков для одного и того же лица. Дореволюционное законодательство категорически устанавливало, что вступление в четвертый брак воспрещается. При этом совершенно не принимались во внимание причины прекращения первых трех браков, может быть, совершенно не зависевшие от воли супруга. Напр., у женщины первый муж умер от болезни, второй погиб на войне, а третий бросил ее и исчез без вести. В четвертый брак она все равно вступить не могла. По настоящему времени вопрос ставится иначе: не следует ли пресечь возможность вступления в брак тем лицам, которые многократными разводами доказали свою плохую приспособленность к семейной жизни? На этот вопрос многие крестьянские общества России и Украины ответили утвердительно. Прилукские селяне требовали «ограничить число раз вступления в брак лицам, которые разводятся без всяких причин». Проскуровский женотдел высказался за желательность установления законных поводов к расторжению брака и даже исчислил эти поводы, примерно отвечавшие поводам, известным церковному праву и буржуазному законодательству, до прелюбодеяния включительно. Были даже предложения запретить виновнику развода вступление в новый брак в течение полугода по расторжении старого. Граждане Черкасского района считают возможным допускать развод только в течение первых пяти лет брачной жизни, а один из сельсоветов Киевщины предложил ограничиться для этой цели годичным сроком. Многие собрания высказывались за лишение лиц, имевших четыре развода, права на пятый

брак. Иные считали, что для этого вывода достаточно уже трех разводов.

ВЦИК не считал возможным принимать по данному вопросу какие бы то ни было запретительные меры. Да они были бы и беспредельны. Во-первых, ограниченные в праве регистрации всегда имели другой исход—утешиться после 4 неудачных зарегистрированных браков 5-м фактическим. Во-вторых, поскольку регистрация связывалась с обязательством взаимного осведомления о количестве прежних браков, каждый мог получить отчетливое представление о семейственных данных своего предполагаемого спутника жизни и сделать подобающие выводы. Если он или она не останавливаются перед союзом с шестикратно-разводившимся супругом—это их дело. Должностное лицо ЗАГС'а с беспристрастным спокойствием выполнит все необходимые формальности и регистрирует седьмой брак. По этому пункту следовало бы выразить лишь то пожелание, чтобы сведения, даваемые о прежней брачности, подтверждались официальными документами, а не подпиской только самих брачующихся. Уголовный закон не есть надежное предупредительное средство от ложных подписок. Опасаться, что требование документов или, на худой конец, свидетельских показаний чрезмерно усложнит брачную запись, вряд ли правильно. Достают же люди все необходимые документы, когда речь идет о продаже дачи или иного малоценного строения. Степень важности «брачной сделки» в глазах самих супругов колеблется в зависимости от их вкусов и воззрений. Нередки будут и такие, которые приобретение дачи сочтут более важным и серьезным делом, нежели приобретение жены. Но закон, ограждающий также интересы государства, расценивает положение иначе, а следовательно может и предъявить требования доказательств, отвечающих серьезности дела.

5

По принципиальному вопросу об обязанности родителей содержать детей существенных разногласий не возникало. Здесь оставались в стороне даже признаки зарегистрированного или фактического брака, либо просто половой связи. Интересы ребенка должны быть обеспечены, независимо от того, в каком порядке он произведен на свет. Государство содержать детей, от содержания которых уклоняются родители, не в состоянии. Справедливо и естественно, чтобы обязанности по отношению к ребенку несли виновники его появления на свет. Но, если не вызвала сомнений самая необходимость алиментов, то размеры и порядок их взыскания стали предметом жарких споров. При этом обнаружилось некоторые уродливые стороны нашего быта.

Депутат от Коломны, тов. Ларкин, жаловался на паразитизм, вызываемый легкостью, с которой суды присуждают алименты: «У нас на Коломенском заводе работает много женщин, и большинство этим занимается: посылают в мастерские узнавать, какой разряд получает данный рабочий,—если он по третьему или четвертому, то она на него иска не подает, а подает иск на того, который получает восьмой или девятый раз-

ряд, потому что с него можно получить не 3—4 руб. в мес., а гораздо больше». Т. Гнипова метко описала наводимый алиментами страх: «Наконец-то, мы добились того, товарищи-мужчины, что нам стали помогать детей рожать. Раньше мать боялась, что дочка в подоле принесет, а теперь отец боится, чтоб сын не принес»¹⁾. Депутат с Урала, т. Баикин, поставил вопрос о том, как бороться с профессиональными алиментщиками: «Я думаю, нам придется тоже твердо сказать: раз женщина, действительно, искала себе алиментов и имела не одного сожителя, то нужно до некоторой степени сделать нагрузку и на нее. (Голос с места: «Не возражают».) Иначе кособоко получается, если возлагается ответственность на одного мужчину, когда суд устанавливает пять отцов. Это никуда не годится. Мы говорим о многоженстве, а тут выходит многомужество»²⁾. Все эти указания имели серьезные корни в действительности. Главнейшим из них явилась, повидимому, знаменитая «третняя» практика народных судов по алиментным делам. Закон возлагал на отца *участие* в содержании ребенка и больше ничего. Это значит, что каждый из супругов—как отец, так и мать—должен был нести свою долю расходов по содержанию ребенка. При определении доли суду надлежало учитывать два момента: 1) примерную стоимость содержания ребенка; 2) имущественное положение обоих родителей. Вместо того, в целом ряде случаев автоматически присуждались треть или четверть жалования отца. Если отец получал солидный оклад, взыскиваемая сумма покрывала расходы по содержанию ребенка с громадным излишком, который делался источником паразитического существования для матери. Между тем, родители редко расставались по-хорошему. Обыкновенно, разлуке предшествовало много взаимной горечи и мути. К моменту суда между людьми существовала, в лучшем случае, безразличная отчужденность, чаще же—ненависть и отвращение. Типичны поэтому случаи, когда отец требовал ребенка себе, не желая, чтобы бывшая жена пользовалась его деньгами. Новый закон (ст. 48) подчеркнул обоюдную обязанность родителей содержать детей. Но, само собою разумеется, что предусмотреть все извороты жизненных отношений закон не может, и для правильного его применения требуется продуманность и осторожность в практике низовых судов, которой и общество и руководящие органы должны уделить много больше внимания, чем уделяли до сих пор.

Специальные трудности вызывает вопрос об алиментах в тех случаях, когда по обстоятельствам дела трудно установить отца, то-есть когда мать в период зачатия ребенка состояла в близких отношениях с несколькими мужчинами. Подобные факты обнаруживались большею частью в связи с иском, предъявленным женщиной к одному из этих лиц. Желая избавиться от ответственности, привлеченный заявлял известное еще римскому праву *excusatio plurium constupratorum*, то-есть возражение о соучастии нескольких виновников. Кодекс 1918 года принимал в этом

¹⁾ Бюлл. 14, стр. 17 и 21.

²⁾ Там же, стр. 31.

случае последствия так называемой теории деликта, то есть правонарушения, и возлагал алиментарную ответственность на всех «правонарушителей», иначе говоря, на всех мужчин, которые по естественному ходу вещей *могли* быть отцами ребенка. Такое правило приносило иногда неприятные неожиданности для граждан, признавших свою связь с истицей, вопреки истине и с единственной целью оказать дружескую услугу товарищу, которого они рассчитывали этим способом избавить от платежа алиментов. Отречься же от столь несчастливо данных показаний мешала грозная 178 (ныне 95) статья Уголовного Кодекса, карающая лжесвидетельство. Правда, наш законодатель, изыскивая такой выход из положения, отнюдь не руководствовался доктриной деликта, имевшей глубокие корни в учениях церковного права о прелюбодеянии. Он принимал, как сказано выше, только ее следствия, подводя под них иные предпосылки, которые весьма метко и выразительно изложил на сессии ВУЦИК один из депутатов: «Раз батька не знайшли, треба найти гроши». Действительно, «гроши» отыскивались, но этим далеко не разрешались трудности положения. Из обязанных судебным решением к платежу лиц все, или все, кроме одного, искренно считали себя без вины виноватыми и несущими кару за чужой грех. Это отягощало положение матери-взыскательницы и, кроме того, усиливало стремление плательщиков тем или иным способом уклониться от платежа,—стремление, достаточно сильное само по себе. Подрастающий же ребенок делался невольной мишенью беспощадных насмешек товарищей. Быть, по старому слову, безотцовщиной все-таки легче, чем быть чадом нескольких непризнающих тебя отцов. Новый закон принял иное решение: из числа возможных отцов суд избирает одного и на него возлагает обязательство платежа. Этот выход, как можно предвидеть, повлечет за собой судебное отцовство для наиболее обеспеченного из ответчиков. Конечно, и при таком решении чувство справедливости остается неудовлетворенным, но ничего другого придумать нельзя, покамест медицина не придет на помощь юриспруденции и не изыщет способов точного определения отцовства по составу крови или иным поддающимся измерению физиологическим признакам.

6.

Алиментарные обязанности закон устанавливает не только в отношениях между супругами, родителями и детьми. Это лица, обязанные к платежу, так сказать, в первую очередь, при чем дети точно также должны доставлять содержание своим нуждающимся нетрудоспособным родителям. Но в случае невозможности взыскать платеж с первоочередной группы, имеется в запасе вторая. Это, во-первых, дед и бабка по отношению к внукам и обратно. Во-вторых, нуждающиеся несовершеннолетние братья и сестры по отношению к своим братьям и сестрам, обладающим достаточными средствами (ст. 54 и 55). Отсюда еще не следует, что законодатель рассчитывал опереться на тесные семейные связи, существующие между сказанными родственниками. Каждодневная действитель-

ность говорит о чрезвычайном распаде связей даже в более узком семейном кругу, о неустойчивости супружеского союза и весьма раннем отрыве детей от родителей. Судебная практика по жилищным, алиментным и другим делам накопила к сказанному богатый пояснительный материал. Художественная литература непрестанно живописует его в своих образах. Широкая же семья, состоящая из деда, бабушки, детей и внуков, если не живущих под одним кровом, то связанных хотя бы постоянными родственными отношениями и оказывающих друг другу при нужде поддержку, стала за редкость и в деревне. Наблюдать ее приходится разве в тех местах, где сохранились остатки родового быта (горцы Кавказа, кочевники Кавказстана), или попросту крепкая патриархальная власть стариков (казацкие земли, раскольничьи поселения на Керченце и в других местах). Совершенно очевидно, что в обычной семье рассчитывать на добровольную готовность нести налагаемые законом обязательства не приходится. Но законодатель связан в своих действиях неумолимым фактом: бедностью государства, ограниченностью средств казны. Поэтому он пытается разрешить вопросы социального обеспечения средствами индивидуалистической, хотя бы и расширенной семьи.

Насколько велики трудности такого разрешения вопроса, можно видеть хотя бы из следующих, довольно типичных, дел, проходивших перед московским губернским судом:

1. Мать 65 лет, неспособная к труду, живущая при одном из сыновей, женатом. Всего детей трое. Все рабочие—равной квалификации, специальности и заработка. Мать жалуется на то, что ее обижают, не поддерживают. Суд присудил со всех троих, соответственно их заработку: с первого—6 р., с второго—8 р., с третьего—16 р.

2. Родители 65 и 60 лет; оба немощны, живут отдельно от детей, трое сыновей—все служащие. Родители жалуются на то, что дети им не помогают. Присуждено со всех троих соответственно заработку 25 р., 15 р. и 5 р., всего 45 руб. на обоих.

3. Мать крестьянка, 60 лет, живущая при сыне крестьянине, работающем на заводе на жалованьи 50 р., подает в суд на сына. Заявляет, что ее не кормят, гонят из дому, заставляют спать в сенях. Сын женат, детей нет. Истица просит на содержание и установить право на комнату.

Ответчик согласен определить ей место для ночлега (у печи) и давать ей содержание продуктами. Присуждено 10 руб.

4. Мать крестьянка, имеющая дом, одну корову и надел $1\frac{1}{2}$ дес., оставшись без мужа с двумя детьми, взыскивает 20 р. в месяц с своего сына, живущего отдельно. Сын—кочегар на железной дороге, имеет семью из двух человек. В иске отказано¹⁾.

Трудности возрастут во много раз, когда суды систематически будут присуждать на содержание более дальних родственников, как-то дед и бабушка. О прародителях новый закон, кстати сказать, умалчивает, в то

¹⁾ См. любопытнейшую брошюру А. Стельмаховича «Дела об алиментах», М. 1926. Разработанный автором материал заслуживает пристального внимания всех, интересующихся вопросами быта.

время как старый предусматривал и их содержание тем же порядком, а между тем нельзя оставлять без той или иной защиты в законе столь глубоких и, конечно, совсем уже беспомощных старцев, какими бывают люди, дожившие до взрослого третьего своего поколения. Случай, правда, не особенно частый, но все же не долженствующий совершенно исчезать из поля зрения законодателя. Это, однако, трудность еще не столь большая. Гораздо сложнее станет дело с толкованием «возможности» получать содержание от первоочередных алиментодателей. Должна ли невозможность выразиться в судебном отказе по иску, или в удостоверенной судебным исполнителем невозможности взыскания присужденной суммы, или уже в одной затруднительности разыскать в необозримых пространствах Советского Союза обязанное лицо? Судебной практике придется немало ошибаться, прежде чем ей удастся установить правильную и житейски практичную линию в этом вопросе, затрагивающем интересы огромного количества социально слабых элементов общества.

Вместе с тем, твердое и настойчивое применение такого закона должно будет повести к механическому расширению и сплочению семьи как объединения родственно-трудового. Прежде всего это относится, конечно, к деревне с малой денежностью ее хозяйства, но и мало зажиточная городская семья—а таких подавляющее большинство—предпочтет взять человека в дом, чем посылать ему деньги на сторону. Во-первых, легче выкроить лишний ломоть хлеба и тарелку щей, чем выкроить несколько рублей из тесного—в обрез—бюджета. Во-вторых, в доме может пригодиться рабочая сила иждивенца. В-третьих, если случится ему найти какой-нибудь немудрящий приработок (девчонка может же, например, семечками торговать, или старуха-бабка брать какую-нибудь мелочь от соседей в постирушки), то облегчится хоть немного общее семейное бремя. В деревне же мальчишка 12 лет—работник, имеющий определенную цену, а иногда даже кое-какой голос в хозяйстве, а деды, и очень древние, случается, не без пользы для общества ходят пастухами. Я не хочу сказать всем этим, что новый закон повернет вспять колесо истории и воссоздаст широкую семью. Повороты такого рода производятся силою общих экономических условий, а не декретом, хотя бы имеющим важное бытовое значение. Но соответствующие ложбинки новый закон нарежет в жизненной толще. Уследить их количество и глубину можно будет лишь тогда, когда перепись какого-нибудь 1936 года даст материал для сопоставления с результатами переписи, ныне производимой. Впрочем, может быть, к тому времени мы так разбогатеем, что государство сможет принять на себя часть обязательств, возлагаемых ныне на родственников. Тогда, конечно, будет изменен и самый закон. Нелишне добавить, что хотя старый Кодекс разрешал эти вопросы так же, как разрешает их новый, судебная практика в городе мало давала материала для суждения о возникающих отсюда отношениях и неурядицах,—в деревне несколько больше, но все же недостаточно. Почему так, сказать трудно. Может быть, нарезки, которых мы ожидаем от нового закона, намечены в жизни уже восьмилетним действием старого.

7

Таковы те части нового закона, которые вызвали наибольший интерес общества и печати. Почти незамеченными прошли положения об опеке и попечительстве. Несколько едких и основательных замечаний во ВЦИК было сделано по вопросу о возрасте и фамилии брачующихся. В отношении возраста вполне определившееся мнение большинства требовало его повышения. Тов. Баикин указал на противоречие между интересами отдельного крестьянского хозяйства и интересами государства в целом: «Брачный возраст определяют в 16 и 18 лет. Это более или менее удобно для крестьянства, так как крестьяне женятся, чтобы приобрести себе лишнюю рабочую силу, и видим, что женщина в 16 лет—сама, как ребенок, а через год у нее у самой ребенок. Такое потомство, конечно, не может быть крепким, это не может способствовать культурному развитию. Я приведу некоторые цифры из статистических данных Выксинского уезда по призыву этого года на военную службу. Людей призывного возраста у нас 1.200, а на военную службу принято было 120 человек, это значит, что *только* 10% способно нести военную службу; признано негодными к службе 409 чел., т.-е. 33,8%, ограниченно-годными—488 чел., т.-е. 40%, и нуждающихся в отсрочке и льготах—192 чел., т.-е. 15,8%. Из этих цифр мы можем видеть, какие предпосылки дает нам наше поколение, какое количество у нас физически здоровых людей и способных носить оружие,—всего 10%. Картина очень печальная. Я хочу подчеркнуть, что необходимо, в первую очередь, повысить возраст брачующихся, предположим, установив возраст от 17 или 18 лет для женщины, а для мужчины от 21 года»¹⁾. Сессия определила брачный возраст в 18 лет для мужчины и женщины (ст. 5).

По вопросу о фамилии члены ВЦИК крестьяне еще на II сессии высказали неожиданные, но по-хозяйски деловые соображения:

«Докладчик сказал, чтоб одну фамилию в браке не писать, что навязывать фамилию, это—буржуазная тенденция. Я над этим задумался: ведь, она по добровольному соглашению идет за меня, раз она со мной расшится, почему же она будет протестовать против моей фамилии. Например, у меня четыре сына, один берет жену, а она говорит: «Я буду Белугина»; жена другого сына говорит: «А меня будут звать Боброва»; у третьего—«Сухарева» и т. д. Что же у нас в одном сельском совете будет три алфавита. Когда придется справку брать, скажут: «Как твоя фамилия?».—«Блинова».—«Тут твоей фамилии нет, а вот есть Белугина»,—тут и выйдет путаница»²⁾.

Однако широкому обсуждению вопрос о фамилии не подвергался, и сессия сохранила ныне действующий порядок: супруги могут принять после брака фамилию мужа или жены или остаться при добрачных фамилиях по своему усмотрению (ст. 7).

¹⁾ Бюлл. 14, стр. 30—31.

²⁾ II Сессия ВЦИК XII созыва, бюлл. 5, стр. 256.

Все изложенное показывает, что новый закон есть отчасти разрешение вопросов семейного быта на основе накопленного государственным аппаратом и советской общественностью опыта, отчасти постановка этих вопросов перед опытом ближайших лет и подрастающих поколений. На сессии ВЦИК раздавались довольно авторитетные голоса, требовавшие дальнейшей проработки вопроса и утверждавшие, что к нему придется возвращаться еще не раз и не два. Особенности трудности вызывались различием между условиями городского и деревенского быта. Они отчасти были преодолены отсылкой деревенских семейно-имущественных споров по целому ряду вопросов к Земельному Кодексу. Однако полного преодоления этих трудностей новый закон не дает, да и не может дать, ибо право не властно осилить противоречия общественной экономики: оно в лучшем случае может только смягчить их. Но, независимо от тех или иных своих частных пробелов и недостатков, новый Кодекс о семье и браке явится важной вехой в истории советского права, как первый опыт непосредственного привлечения широких масс трудящихся к обсуждению законодательного акта огромной важности.

Лариса Рейснер¹⁾

К годовщине смерти

КАРЛ РАДЕК

Близится десятая годовщина того дня, когда в темной ночи человечества, над военными окопами, взойшла в ярком блеске красная звезда Советов. Из огня орудий, из крови павших, из пота рабочих на военных заводах, из страданий миллионов, спрашивавших себя о смысле своих страданий,—родилась Октябрьская революция. Рев пушек, тьяканье буржуазной и социал-демократической прессы пытались заглушить ее; но, твердая, непоколебимая, она стояла, и все человечество робко обратило на нее свой взор. Одни—с благословениями и надеждой, другие—с проклятиями и бранью. Она была гранью двух миров—мира, погибающего в грязи, и мира, рождающегося в муках. Она была пробным камнем для духа. Все, что было «духом» буржуазного мира—не только его попы и ученые, не только писатели и художники, но и все «интеллектуальные» элементы рабочего движения, т.-е. громадное большинство буржуазной интеллигенции, соблаговолившей «спасать» пролетариат,—все они испугались лика пролетарской революции. Люди, как Каутский, Плеханов, Гэд и др., всю жизнь призывавшие революцию, теперь отвернулись от нее.

Та часть западно-европейской интеллигенции, которая отнеслась сочувственно к Октябрьской революции, видела в ней лишь конец войны, бунт против войны. Лишь немногие увидели начало нового мира, увидели его с трепетом. В России к большевикам примкнула лишь незначительная часть интеллигенции. Русские интеллигенты, даже те, которые, как Горький, близко стояли к пролетариату, не могли себе представить, чтобы эта отсталая страна могла прорвать фронт мирового капитализма.

В числе немногих, которые не только решительно примкнули к борющемуся пролетариату, но с глубоким сознанием мирового значения происходящего, с несокрушимой верой в победу, с восторженным кличем,

¹⁾ Настоящая статья является предисловием к немецкому изданию собрания сочинений Ларисы Рейснер.

была и Лариса Рейснер. Ей было лишь 22 года, когда пробил смертный час буржуазной России. Но ей не было дано увидеть десятую годовщину революции, в рядах которой она мужественно сражалась, битвы которой она описывала, как может описывать только тот, в ком душа большого поэта соединилась с душой большого борца.

Две-три книжки— вот все литературное наследство Ларисы Рейснер. Ее единственная тема— Октябрьская революция. Но пока люди борются, мыслят и чувствуют, пока их влечет узнать, «как это было», они будут читать эти книги и не отложат их; пока не дочитают до последней страницы, ибо от них веет дыханием революции.

Еще не время писать биографию этой выдающейся женщины. Эта биография включила бы не только захватывающие страницы из политической истории Октябрьской революции, но позволила бы глубоко заглянуть в историю духовной жизни дореволюционной России, в историю рождения нового человека. Здесь я набросаю лишь несколько мыслей, лишь несколько штрихов и заметок, которые послужили бы вехами для такой работы.

Лариса Рейснер родилась 1 мая 1895 г. в Люблине (Польша), где ее отец был профессором Пулавской Сельско-Хозяйственной Академии. Остзейская кровь ее отца удачно сочеталась в ней с польской кровью матери, наследие старой немецкой культуры ряда поколений строгих законников с пылкостью страстной Польши.

Она воспитывалась в Германии и Франции, куда уехал ее отец для научных занятий, и где он остался политическим эмигрантом. На ее глазах в родительском доме протекала тяжелая душевная борьба. Из юриста-консерватора и монархиста отец вырабатывал в себе республиканца и социалиста. Обстановка, в которой выросла Лариса, резко переменилась. Русских профессоров сменили немецкие демократы—Барт, Шрэггер—и социал-демократы.

Умные живые глаза маленькой девочки замечали многое. Она видела Бебеля, веселого Карла Либкнехта, с которым часто виделся профессор Рейснер—главный эксперт в Кенигсбергском процессе. На всю жизнь запомнила Лариса, как она ходила в гости к «тетушке Бебель». О дымящемся кофейнике, который появлялся на столе во время этих посещений, о сладком пироге, которым потчевала ее «тетушка»—она рассказывала как будто это было вчера. Эти воспоминания послужили основой той теплой привязанности, которую Лариса Рейснер питала к Германии. Дети рабочих из Целендорфа, с которыми она ходила в школу, рассказы работницы Терезы Бенд, помогавшей ее матери по хозяйству,— все это жило в воспоминаниях Ларисы; и когда она в 1923 г. проживала нелегально в Берлине в рабочей семье, она чувствовала себя там, как дома. И старушка-работница, которая мыла ей голову, и ее внучка, с которой Лариса ходила гулять в Тиргартен, все они видели в ней близкого им человека, а не интеллигентку-чужестранку.

Русская революция, волны которой перекатывались через немецкую границу, находила отклик в душе маленькой девочки. Отец и мать

поддерживали постоянные дружеские связи с русскими эмигрантами-революционерами. Правда, малютка не могла знать, что письма Ленина к профессору Рейснеру станут впоследствии ее гордостью. Товарищи, таинственно появлявшиеся и исчезающие, конечно, возбуждали сильнее ее воображение. Наступила революция 1905—1906 г., отец ее мог вернуться в Россию; Лариса очутилась в Петербурге. До сих пор путь ее вел прямо к революции. Здесь он сворачивает в сторону; и удивительно, как она вообще не сбилась с верной дороги, дороги всей своей жизни. Ее отец, профессор государственного права, марксист, вступает в борьбу с либеральной профессурой Петербургского университета. Великий мир науки—это очень маленький мирок ученых. И нет той грязи, мелочи, подлости, которой бы великие ученые не пользовались в борьбе с противником. Радикала заподозрили—да в чем же ином заподозрить радикала?—конечно, в тайной связи с реакцией. Старая кумушка Бурцев вязался в эти сплетни, имея к тому личную склонность. Годами профессор Рейснер боролся за свою политическую честь против «великой кривой» из «Пер Гюнта», против клеветы, басен, шушуканья, против подозрений, которые нельзя опровергнуть, за которые нельзя привлечь к ответственности. Он отошел от политической жизни. Дома воцарилась нужда, заботы и, наконец, озлобление и безнадежность. Маленькая девочка, связанная с родителями тесными узами любви, отлично понимала, почему пустеет родительский дом, почему все реже слышится голос отца, почему часами не смолкают его шаги. Эти воспоминания оставили глубокий след в ее душе, но, хотя они воздвигли стену между ней и революционными кружками, они не могли отвлечь ее от проблем социализма. Еще в гимназии, пребывание в которой было настоящей мукой для талантливой и живой девочки, она пишет драму «Атлантида», напечатанную в 1913 г. издат. «Шиповник», не знавшим автора. Эта драма, не выдержанная по форме, показывает уже направление мыслей Ларисы. Она изображает человека, который хочет своей смертью спасти общество от гибели. Ребяческая драма! «Человек» никогда не сможет спасти общество от гибели. Но девочка, написавшая эту драму, долгими ночами, сидя на постели, думала о человечестве и его страданиях. Материалом для этого первого произведения Ларисы послужила книга Пельмана «История древнего (античного) коммунизма и социализма». Это тем более интересно, что Лариса находилась в то время под непосредственным влиянием Леонида Андреева. Этот крупный писатель-индивидуалист был не только ее учителем в литературе, но и влиял на ее духовное развитие. Но он не мог отклонить ее от избранного ею пути. Ни он, ни поэты кружка «акмеистов»—как Гумилев—вливающие на нее со стороны формы. В 1914 г., когда все эти поэты превратились в Тиртеев (воинственных певцов) империалистической бойни, она, как и отец ее, не колеблясь ни минуты, решительно выступает в защиту международного социализма.

Они закладывают последнее, чтобы получить средства на издание журнала «Рудин», начать борьбу с предателями международной соли-

дарности. Только политическим одиночеством семьи Рейснеров, отличающимся известным охранке, объясняется возможность появления подобного журнала. Иначе достаточно было бы беспощадно злых карикатур на Плеханова, Бурцева и Струве, чтобы его прикрыли. Борьбу с цензурой и с материальными затруднениями вела девятнадцатилетняя Лариса, и она же вела в журнале идейную борьбу блестяще отточенными стихами и острыми саркастическими заметками. Но эта борьба должна была кончиться. Как всякая война, она требовала денег, а денег не было. Когда уже нечего стало закладывать, журнал прекратил свое существование. Лариса начинает сотрудничать в «Летописи», в единственном в то время легальном интернационалистском журнале.

* * *

С первого момента февральской революции Лариса приступает к работе в рабочих клубах. Кроме того она пипет в газете Горького «Новая жизнь», которая, не решаясь выдвинуть лозунги Советской власти, вела борьбу против коалиции с буржуазией. Ее памфлет против Керенского показывает, что она своим тонким художественным чутьем сразу почувствовала гниль и внутреннюю пустоту правительства Керенского. Очень интересны ее маленькие наброски и очерки, в которых она описывает жизнь рабочих клубов и театров в дни, предшествовавшие Октябрю. В этих очерках поражает глубокое понимание стремления народных масс к творчеству. В том, что для интеллигентского высокомерия было предметом презрительной усмешки, в неуклюжих попытках рабочих и солдат дать на сцене оформление жизни,—она разглядела проявление творческих усилий нового класса, новых общественных слоев, желавших не только воспринимать действительность, но и оформлять и передавать ее. Ее глубоко творческая натура ощущала творческий порыв революции, и она последовала ее зову.

В первые месяцы после Октябрьской революции она работала по приему и инвентаризации художественных музейных ценностей. Прекрасный знаток истории искусств, она помогала спасти и сохранить для пролетариата многое из наследия буржуазной культуры. Но вот начинаются первые бои с контр-революцией. Нужно было сперва отстоять свою жизнь, свое право на существование, для того, чтобы положить основы для дальнейшего творчества революции. Лариса, вступившая теперь в партию, отправляется на чехо-словацкий фронт. Она не может быть только зрителем в борьбе между старым и новым миром. Она работает в Свияжске, где выковывалась в борьбе с чехо-словаками Красная армия. Она участвует в борьбе нашего волжского флота. Но она не рассказывает об этом в своей книге «Фронт». Она рассказывает здесь только о боях Красной армии, но скромно умалчивает о своем участии в них. Так пусть о ней расскажет другой участник этих боев, А. Кремлев, товарищ Ларисы; в «Красной Звезде», органе Реввоенсовета, он пишет по поводу ее смерти:

«Под Казанью. Белый идет напролом. Узнаем, что у нас в тылу—Тюрляма—прорвались белые, уничтожили охрану и взорвали 18 вагонов со снарядами. Наш участок разрезан на-двое. Штаб здесь, а что стало с теми, кто отрезан?»

Неприятель идет на Волгу, в тыл не только отрядам, но и флотилии. Под Свияжском застрелял поезд Троицкого.

Приказ: идти в прорыв, узнать и связаться с отрезанными.

Идет Лариса, берет Ванюшку Рыбакова-салагу (мальчик!) и еще кого-то,—не помню,—и прут втроем.

Ночь, дрожь от холода, одиночество и неизвестность. Но Лариса идет так уверенно незнакомой дорогой!..

У деревни Курочкино кто-то заметил,—обстреливают, стелют,—трудно ползти. Переplet! А Лариса шутила—и от скрытой тревоги был только бархатнее голос.

Выскочили из полосы обстрела—ушли!

— Вы устали, братишка?.. Ваня? А ты?

Она была недосытаемо высока в этот миг, с этой заботой. Хотелось целовать черные от дорожной пыли руки этой удивительной женщины.

Она ходила быстро, большими шагами,—чтобы не отстать, надо было почти бежать за ней...

А к утру—в стане белых. Пожарище, трупы—Тюрляма. Отсюда, изнемогая, шли на Шихраны, где стоял красный латышский полк, и была установлена связь с поездом Троицкого.

Фронт связан. И эта с хрупкой улыбкой женщина—увел этого фронта.

— Товарищи, устройте моих братишек... А я?.. Нет, я не устала!

... А потом: разведки под Верхним Услоном, под двумя Сорквашами, до Пьяного Бора. По 80 верст переходы верхом без усталости!

В те дни было радости мало. И только не сходила улыбка с лица Ларисы Михайловны в этих тяжелых походах.

А потом Энзели, Баку, Москва!

И не Лариса Рейснер умерла, а женщина с баррикады.

Вот что вспомнил матрос из десанта».

В походе матросы любили ее, горячо, по-братски, потому что мужество соединялось в ней с простотой и человечностью; в отношениях массы к ней не было фальши, никому не приходило в голову, что она на фронте не только товарищ по оружию, но и жена командующего флотом—она в 1918 г. вышла замуж за Раскольникову. И точно также, будучи комиссаром морского штаба в Ленинграде в 1919 г., она умела установить прекрасные дружеские отношения с специалистами флота—адмиралами Альтфатером и Беренсом. Ее культурность, чуткость, такт не давали почувствовать адмиралам царского флота, что они находятся под контролем чужого человека.

В 1920 г. она уезжает в Афганистан, куда мужа ее назначили полпредом. Два года она проводит при дворе восточной деспотии, принимая вынужденное участие в блестящих дипломатических празднествах, ведя

дипломатическую игру в борьбе за влияние на жен эмира. «Блестящая» и грязная работа, за которой не трудно было оторваться от революции молодой женщине, отрезанной от борющегося пролетариата! Лариса Рейснер читает серьезную марксистскую литературу. Изучает английский империализм, историю Востока, историю освободительной борьбы в соседней Индии. Там, в горах Афганистана, она чувствует себя частицей мировой революции и готовится к новой борьбе. Ее книга «Афганистан» доказывает, как расширяется ее горизонт, как из русской революционерки она становится бойцом международной пролетарской армии.

В 1923 г. она возвращается в Советскую Россию. Страна рабочих и крестьян имеет теперь совсем иной вид, чем когда она ее покинула. Спартански-строгий военный коммунизм, который казался непосредственным прыжком из капитализма в социализм, уступил место нэп'у. Лариса понимала, как и все мы, необходимость этого шага. Нужно было дать простор хозяйственной инициативе крестьянства не только для того, чтобы получить сырье для промышленности, но просто, чтобы не умереть с голоду. Лариса понимала это умом. Но можно ли этим путем прийти к социализму? Ответы, которые давали ей и партия и она сама, не могли успокоить ее душевной тревоги. Она понимала, что невозможно продолжать режим военного коммунизма. Но в глубине души она оплакивала героическую попытку с оружием в руках пробиться к новому общественному строю. Да, правда, улицы наших городов ожили. Грузовики нагружены товаром, магазины открыты, фабричные гудки зовут к работе, но, может быть, растем не только мы,—растут и буржуазные элементы? Сможем ли мы с ними справиться? Не проникло ли разложение и в наши ряды? Не заразятся ли наши хозяйственники, вынужденные участвовать в торговле, ядом капиталистической морали? Не захватит ли гниение и организма партии? Все лето 1923 г. Лариса беспокоится и с внутренним содроганием осматривается кругом. В сентябре она приходит ко мне с просьбой помочь ей выехать в Германию.

Это было после массовых забастовок против правительства Куно, когда пролетарские массы Германии снова пытались сбросить оковы. Пуанкаре занял Рур, марка падала с головокружительной быстротой, и, затаив дыхание, русский пролетариат следил за положением в Германии. Ларису тянуло туда. Тянуло сражаться в рядах германского пролетариата и приблизить его борьбу к пониманию русских рабочих. Ее предложение меня очень обрадовало.

Если немецкие рабочие не могут создать себе ясного представления о том, что происходит в России, то и русские рабочие представляют себе борьбу немецкого пролетариата несколько упрощенно и схематично. Я был убежден, что Лариса лучше, чем кто бы то ни было, сможет установить связь между этими двумя армиями пролетариата. Ибо она не была художником-созерцателем, но художником-борцом, который видит борьбу изнутри и умеет передать ее динамику—динамику человеческих судеб. Но в то же время я чувствовал, что ее поездка в Германию—бегство от неразрешенных сомнений.

Лариса прибыла в Дрезден 21 октября 1923 г. в момент, когда войска генерала Мюллера заняли столицу Красной Саксонии. Как солдат, она поняла необходимость отступления. Но когда, несколько дней спустя, пришли сведения из Гамбурга о восстании, она вся ожила. Она хотела сейчас же отправиться в Гамбург и ворчала, что ей пришлось остаться в Берлине. Целые дни простаивала она у лавок с толпой безработных и голодных, пытавшихся за миллионы марок купить себе кусочек хлеба, просиживала в больницах, переполненных изможденными работницами с их горькими думами и заботами. Я в то время жил конспиративно, встречаясь лишь с партийными лидерами, которые сами не имели возможности непосредственно общаться с массами. Лариса жила жизнью этих масс. В разговоре с безработным в Тиргартене, 9 ноября на с.-демократической панихиде по германской революции, наконец, на серебряной свадьбе в коммунистическом кругу,—всегда она находила путь к сердцам людей, всегда она умела схватить кусок их жизни. Она жила среди рабочих масс Берлина, которые были ей так же близки, как пролетарские массы Петербурга, как матросы балтийского флота. Гордо возвращалась она с демонстрации в Люстгартене, где берлинский пролетариат наглядно доказал генералу Секту и его броневикам существование «запрещенной» коммунистической партии.

Наконец, Лариса получила возможность уехать в Гамбург, чтобы описать и запечатлеть для германского и мирового пролетариата борьбу гамбургских рабочих.

«После всего дряблого и жирного здесь встречаешь нечто твердое, сильное и живучее», — писала она тотчас после своего приезда в Гамбург.—«Сначала было трудно побороть их недоверие, предубеждение. Но как только рабочие Гамбурга увидели во мне товарища — я смогла узнать все, все их простые, великие и трагические переживания».

Она жила среди покинутых жен гамбургских борцов за свободу, разыскивала беглецов в их убежищах, ходила на судебные заседания, на с.-демократические собрания. А по ночам она читала Лауфенберга, историка Гамбурга и гамбургского движения. Целые кипы материала, собранного ею за эти недели, лежат сейчас передо мной. Они показывают, как она работала,—с чувством глубокой ответственности, с чувством человека, для которого ничтожнейший эпизод этой борьбы звучит «песню песней» о человечестве. Уже в Москве она проводила многие часы с одним товарищем, который руководил восстанием и вынужден был затем бежать. Она проверяла с ним весь этот материал, списываясь с товарищами, когда у нее возникало сомнение относительно отдельных фактов. Маленькую книжку «Гамбург на баррикадах» писал не увлекающийся художник, но борец для борцов. Сотни сражений, битв и схваток дал германский пролетариат своим врагам, и ни одна не описана с такой любовью, с таким уважением, как эта борьба гамбургских пролетариев. Лариса Рейснер щедро одаряла тех, кого она любила, и почтенный рейхс-трибунал не ошибся, когда приказал предать огню эту тоненькую книжечку русской коммунистки. Лариса Рейснер возвратилась из Герма-

нии,—поражение не сломило ее. В Гамбурге она видела огонь под пеплом. Она видела, как поражения воспитывали сильных людей для будущих битв. Но вместе с тем она узнала, что нельзя рассчитывать на близкую победу революции в Европе.

После своего возвращения в Советскую Россию, она должна была разобраться в самой себе, разобраться в том, что делалось внизу, в массах, которые, в конце концов, диктуют ход истории. А так как она была человеком, непосредственно воспринимающим действительность, то она не могла добиться этой ясности путем чтения и споров. Она едет в горно-промышленные и угольные районы Урала и Донецкого бассейна, она едет в текстильный район Иваново-Вознесенска, она едет в мелко-буржуазную Белоруссию. Целые недели проводит она в вагоне, в экипаже, верхом. Снова она живет в рабочих семьях, спускается в шахты, участвует в заседаниях фабричной администрации, завкомов, профсоюзов, ведет беседы с крестьянами—ежедневно, ежечасно она нащупывает путь во мраке, чутко прислушиваясь к жизни. Ее книга «Уголь, железо и живые люди»—плод этой работы,—а это была работа, тяжелая и физически, и морально, за которую взялись бы немногие писатели; и все же в ней дана лишь ничтожная часть того, что она пережила, продумала, прочувствовала.

С этой книги начинается и художественно и идеологически новый период в творчестве Ларисы Рейснер. В этой книге она, как коммунистка, стала на твердую идеологическую почву, а, как писательница, нашла свой стиль. Ее сомнения исчезают. Она видит, как ведут строительство рабочие массы. Они строят социализм, порой обливаясь потом у доменных печей, порой спускаясь полунагими в шахты, порой проклиная низкую заработную плату, но в лучшей части своей они твердо убеждены, что эти муки, этот каторжный труд, все это—во имя социализма. Она узнает в неуклюжем грубоватом хозяйственнике своего старого товарища по фронту, который и здесь должен железной рукой натягивать поводья и в то же время чутко прислушиваться к массам, чтобы учесть все пути и возможности. Она видит те колоссальные силы, которые революция пробудила в низших слоях народа. И это укрепляет в ней веру в то, что мы сможем преодолеть все затруднения, связанные с возрождением капиталистических тенденций. Она знает, что мелко-буржуазная стихия—это болото, которое может затянуть грандиознейшее сооружение, она видит, какие странные цветы распускаются на этом болоте. Но в то же время она ясно видит путь борьбы с опасностями, грозящими республике труда, плотины, которыми сумеет оградить себя пролетариат и коммунистическая партия. И когда она добилась этой ясности, когда она решила, что ее место в этой борьбе, она принялась точить свое оружие. Ее оружием было ее перо. Лариса раньше мало думала о том, для кого она пишет. Она прекрасно знала историю литературы и искусств; и в стиле ее—богатом и изысканном—отразилась не только присущая ей от природы наблюдательность, но и многовековая культура, нашедшая в ней такое прекрасное воплощение. Стиль «Фронта» и «Афганистана» напо-

минает тонкое кружево, филигранную работу. Теперь она сознательно отбрасывает часть этих украшений, упрощает узоры своих вышивок. Она не старается быть «популярной» для рабочего читателя. Она хочет создать для пролетариата полноценное произведение искусства.

Лариса много работает в конце 1924 и в 1925 году. Она принимает участие в комиссии Троцкого по улучшению качества продукции. Она перечитывает множество книг по русской и мировой экономике. Я не стану утверждать, что она любила цифры. Проработав один-два скучных учебника, она всегда умоляла дать ей что-нибудь «вкусное» о нефти или хлебе и отдыхала над книгой Делези о нефтяном тресте или эпосом Норриса о пшенице. Вместе с тем она серьезно изучала историю революции. Она готовится к докладом о революции 1905 года для ячейки школы броневиков; и когда, после изучения конкретного материала, она приступает к статьям Ленина из этой эпохи (1904—1908 г.г.), она открывает величие простоты в стиле нашего учителя и находит ключ к эстетическому восприятию его сочинений, казавшихся ей до того времени слишком сухими. Таким образом ее искусство впитало в себя новые элементы. Достаточно прочесть описания Крупновских заводов и заводов Юнкера в ее «Стране Гинденбурга» или ее «Декабристов». Первые два описания выдержаны в техническом стиле. Это не значит, что она уснащает свой язык техническими терминами. Но интерес к экономике научил ее мыслить технически. Она воспринимает машину, заводское строение не только зрением, но и мыслью. На стиль «Декабристов» влияет историческая перспектива. Но опять здесь не подделка, не искусственная архаизация стиля. Она видит людей в исторической перспективе.

Но история и экономика не являются для нее исключительной самоцелью: она исследует в них человеческие взаимоотношения—как жил человек и как он боролся в данных условиях. Рядом с колоссальным заводом Круппа, Лариса рисует жалкую рабочую казарму; в декабристе Каховском она выявляет «униженного и оскорбленного» человека и набрасывает незабываемый силуэт немца-законника, который выдумывает для царя идеальную бюрократию и кончает жизнь в снегах Сибири, осмеянный и забытый. Она показывает нам жалких червячков, раздавленных гигантом техники или колесом истории.

Созревшая, как художница и революционерка, Лариса Рейснер готовилась к новой работе. Она задумала трилогию из жизни уральских рабочих: первая часть—крепостная фабрика во время Пугачевского бунта, вторая—эксплуатация рабочего во времена царизма, третья—строительство социализма. Одновременно она задумала галерею портретов предшественников социализма: не только портреты Томаса Мора, Мюнцера, Бабефа,Blanки, но и портреты «незаметных героев революции»—начиная с первых шагов ремесленного пролетариата и кончая титанической борьбой наших дней. Порой она пугалась задач, которые она себе ставила. Она была очень скромна и часто сомневалась в силе своего дарования. Но она несомненно справилась бы с этими задачами, ибо силы ее росли с каждым днем.

Но ей не было суждено выявить то, что в ней дремало. Она пала не в борьбе с буржуазией, не тогда, когда она так часто смотрела в глаза смерти, а в борьбе с природой, которую она так нежно любила. Тяжело больная, с последним проблеском сознания, она радовалась солнцу, лучи которого посылали ей прощальный привет. Она говорила о том, как хорошо будет ей в Крыму, куда она поедет по выздоровлении, и как приятно будет, когда ее измученная голова наполнится свежими мыслями. Она обещала, что будет бороться за жизнь до конца, и она отказалась от борьбы лишь тогда, когда окончательно потеряла сознание.

Две-три небольшие книжки — вот все литературное наследство Ларисы Рейснер. Но они будут жить до тех пор, пока будет жить память о первой пролетарской революции. Они будут возвещать о том, что эта революция была для всех народов, для Запада и Востока, для Гамбурга и Афганистана, для Ленинграда и Урала. И женщина-воин, в уме и сердце которой все находило отклик, восстанет и после смерти из своих книг живым свидетелем пролетарской революции.

Критические заметки

О рассказах Сергея Малашкина

Вяч. ПОЛОНСКИЙ

I

Она заинтересовывает даже внешним видом, эта книга с старомодным и потому необычным заглавием:
Луна с правой стороны
или
необыкновенная любовь.

Надо отдать справедливость автору, книга останавливает внимание не только старомодной и интригующей внешностью: в ней есть острота, она интересна. Ее можно бранить, но бездарной назвать ее никак невозможно. И вместе с тем какая это нервная и неровная книга, местами талантливая и убеждающая, местами серая, как солдатское сукно. Впрочем, позвольте перебрать, насколько это позволяют размеры журнальной статьи, ее достоинства и недостатки. Начнем наше знакомство с повести, именем которой названа книга. В этом обстоятельстве чуется некий намек: не подчеркивает ли автор, что именно *это* произведение заслуживает наибольшего внимания?

II

Малашкин принадлежит к числу тех молодых писателей, которые превосходно понимают, что искусство писать—не легкое искусство. Недостаточно располагать житейским опытом. Сырой материал фактов и наблюдений надо превратить в художественную ткань. Мало иметь хороший сюжет: надо его увлекательно развернуть. Книга Малашкина приятна прежде всего явным старанием интересно разворачивать сюжет. Он располагает события в неправильном порядке, нередко забегая вперед, иногда возвращаясь назад, вводя в повествование дневники и письма, даже целые рассказы, сопровождая его авторскими замечаниями. В его повестях есть архитектура—а это большое достоинство. Прием разворачивания и делает «Луну с правой стороны» увлекательной, хотя в ней много длиннот, отступлений, лишнего материала, без кото-

рого автор с успехом мог бы обойтись. Интерес читателя возбужден, в отступлениях и вводных рассказах он ищет разгадку, находя ее лишь на последних страницах. Благодаря удачной композиции, повесть в 120 страниц читается, как небольшой рассказ.

Правда, в таком развертывании сюжета Малашкин не открывает Америк. Он лишь следует хорошим образцам. Больше, чем кто-нибудь другой из молодых, Малашкин учится у классиков. Выбор его своеобразен: Гоголь и Достоевский оказали могущественное влияние на нашего автора. Это сказывается не только в композиции некоторых его вещей, интересной, хотя по-старомодному громоздкой, но в выборе материала для повествования и в приемах его обработки. Влияние Достоевского сказывается еще в том, что об'ектом своих художественных воплощений т. Малашкин избрал «больных типов». Такое признание автора имеется в предисловии к первой повести, и это озадачивает, так как героиня Таня Аристархова, на наш взгляд, никакими душевными болезнями не страдает.

Расскажем вкратце и очень схематично ее «ужасную драму», «необычайно» потрясшую знакомых Тани, брата, а в особенности автора повести.

III

Драма Тани Аристарховой заключается в том, что она, появившись в городе, попала в дурную среду. А среда погубила Таню. Внутренне чистая, она без любви сошлась с одним, который ее бросил, потом с другим, которого бросила она, а затем, из рук в руки, без настоящего чувства, докатилась до двадцать второго мужа, прослыла «распутной девкой», справляет афинские ночи, курит «анашу», пьет вино, «пользует другие наркотические средства», и так далее, и так далее. Автор не скупится на подробности, чтобы показать, до каких пределов дошла его героиня: в одну ночь ее «целуют шесть дылд». Чтобы не оставить никаких сомнений на этот счет, автор рисует «тринадцатую ночь» у Тани Аристарховой, знакомит нас с друзьями героини и с их времяпрепровождением. Мы видим девиц в газовых платьях, наброшенных на голое тело, с просвечивающими теми именно местами, которые необходимы автору, чтобы показать всю глубину падения Тани Аристарховой. Девочки не только носят прозрачные платья, но обнажают груди для удовольствия своих партнеров; последние, натурально, «лапают» девиц с благосклонного разрешения автора, подчеркивающего в соответственных местах те или иные недозволенные действия кавалеров. Кавалеры ведут себя, как молодые сутенеры, девицы далеко позади оставили героинь «Ямы» Куприна или «Красного Фонаря» Эльзы Ерузалем. Вот в каком стиле из'ясняют они свои чувства при появлении нового «кавалера»:

«Ты что, тоже в него метишь, а? Свежего захотела?»

Перед нами «рай», как о нем мечтают молодцы из Чубарова переулка. Но чубаровцы—не имеют идеологии. В салоне же Тани Аристарховой не просто развратничают, а с философией. Франтоватый дегенерат с чубом, свисающим на лоб, Исайка Чужачок, взобравшись на стол,

опять-таки с благосклонного разрешения автора, предлинно тянет лудную канитель о свободе пеловых отношений, о том, что надо отбросить старые формы любви, раскрепостить женщину, и другое, в том же роде. Перед нами теория «стакана воды» в живом виде. Надо признать—вид мерзкий.

Картина, изображенная в «тринадцатой ночи», и речи, произносимые Чужачком, могут показаться оригинальными лишь читателю, который только по наслышке знаком с эпохой реакции после революции 1905 года. В те дни—половая проблема была наимоднейшей в среде упадочной интеллигенции. В тогдашних «лигах свободной любви» проделывалось то же самое, что проделывается в «салоне» Аристарховой. Нынешний Чужачок лишь совершает плагиат, выдавая за собственные домыслы эротическую белиберду, дословно повторяющую старую и затрепанную фразеологию распоясавшихся эротоманов.

Волна эротической беллетристики несла на своем гребне таких героев упадка, как Анатолий Каменский с его «Ледой» и незабвенным поручиком Нагурским, который, однако, щенок—рядом с Таней Аристарховой, так далеко шагнула она от распутников того времени. «Санин» Арцыбашева был идеологом этой эпохи, а поэт М. Кузьмин, кроме ряда по справедливости забытых повестей, оставил четверостишие, которое можно было бы поставить эпитафией ко всей тогдашней упадочной литературе:

Лебедь, рыба, рак, осел
Любят все прекрасный пол.
Отчего же нам даны
Лицемерные штаны?

Если бы друзья Тани Аристарховой были поначитанней,—я не сомневаюсь, стихи эти они написали бы на своем знамени, так метко «в точку» попадает их цинизм, который не хочу назвать скотским только потому, что эпитет этот неблагозвучен. А чубаровцы—разве не пришли бы в восторг от этих самых стихов? Не было бы на Лиговском бульваре песенки более популярной, чем эта. Но чубаровцы столь же мало начитаны, как и друзья Тани Аристарховой. Чубаровцы, кроме того,—практики, люди «дела». Без долгих размышлений они попросту скинули с себя «лицемерные штаны», т.-е. сделали именно то, к чему пространно и слюняво призывают молодежь теоретики «стакана воды». Менее решительно, но в том же направлении, действуют друзья Тани Аристарховой. Салон ее—тот же Чубаров переулочек, только принявший более изысканные формы. Присмотримся поближе к центральной фигуре этого «салона».

IV

Таня Аристархова—сложна. Она ни в какое сравнение не может идти с героинями прежних «лиг свободной любви». Автор подчеркивает ее «необыкновенные» свойства. Он не жалеет красок, чтобы представить ее во всей красе. После двадцать второго мужа Таня,—наконец-то!—полюблала по-настоящему. Она приглашает любимого человека к себе, именно для

него устраивается «тринадцатая ночь». Вот как об'ясняет Таня этот свой замысел:

«Я еще накануне просила подруг, чтобы эту решающую для меня, а так же для Петра, ночь провести более бесшабашно, более разнузданно, чем все ночи, которые мы до этого провели, вернее не провели,—а прожгли. Этой ночью я хотела во всей отвратной красоте показать себя Петру, дать понять ему, что я скверная и невозвратно погибая и не пара ему. Я велела каждой подруге надеть на себя газовое платье, да так, чтобы все тело из него просвечивало и жгло страстью. Сама я тоже, как видите, щеголяю в газовом платье, из которого все затрепанные прелести моего тела просвечивают»...

Она старается «зачаровать» Петра «бесстыдством своих движений». С натерзает и терзается сама, сладострастно мучительствует, расковыривает рану своей души, обнаруживая истрепанность не только молодого тела, но полную душевную затасканность, гнилость воображения. Истерическая психология Тани напоминает истерзанных женщин Достоевского. Это—рафинированная, развинченная интеллигентка, ломающая руки и вместе с тем кокетливо поглядывающая в зеркало. Сергей Малашкин хочет показать нам глубокое страдание ее души, разочарованной и мятущейся, но из-под маски, напяливаемой автором, упорно вылезают черты самодовольной и самовлюбленной мещанки. Мы приведем небольшой отрывок из ее дневника, где описывается сцена, самая «репительная» в ее жизни, когда она, после «тринадцатой ночи», осталась наедине с Петром:

«В комнате была луна и была она с правой стороны, было от ее света ослепительно хорошо, а зеркало казалось большим черным омутом; в этом омуте отражалась я так, что даже засмотрелась на себя, даже очень приятно улыбнулась себе, подморгнула левым глазом: «а все же ты, Танька, недурна, хотя и очень распутная девка». И верно, я еще была очень хороша собой—высока, стройна, волосы имела роскошные, черные, как вороново крыло, лежали они сейчас свободно волнистыми прядями, кольцами рассыпались по плечам и по спине; с лица я тоже была очень мѳложава и хороша, считали меня красавицей и все еще восемнадцатилетней девушкой; глаза у меня большие, голубые с крупными зрачками; губы не тонкие и не толстые, но страшно выразительные, так что по моим губам всегда узнавали, что я из центральной России, настоящая славянка, а в особенности в тот момент, когда я улыбалась».

И дальше, все с тем же пошлым самодовольством, размазывает она об изяществе своего тела, упиваясь собственными прелестями, обнаруживая этой самовлюбленностью небольшую глубину своего духа. Кроме нее самой для Тани ничего не существует. Она—индивидуалистка до мозга костей. В центре всех ее размышлений стоит именно «я». «Мне кажется, что жизнь моя прошумела и ушла»; «Я разве нужна для жизни»; «Я сказала себе»; «Я закрывала глаза»; «Я не вижу быстрого полета лет»; «Я не могу даже различить запаха остаркового чебора от запаха первых фиалок»—скажите, какое несчастье! «Я не могу молодо плакать»;

Я не могу молодо смеяться»; «Я потеряла не только способность обоняния»; «Я потеряла зрение»; «Какой у меня хриплый нехороший смех».—Я! Я! Я!—только о себе, о своих удивительных страданиях, ослепленная собою, ничего не видящая в мире, кроме себя!

Чему ж тут удивляться, если надутая, самовлюбленная и по существу пустая девушка, эгоцентрически настроенная, лишенная к тому же воли, попав в дурную среду, поддалась вредным влияниям (а велико влияние среды!) и превратилась в ту «распутную девку», которую весьма живописно изображает автор.

V

Но вот что удивительно: Таня Аристархова, погрязшая в пороках,— на самом-то деле не развентившаяся интеллигентка, не самовлюбленная мешанка, но коммунистка, комсомолка, а гнилое болото, ее окружающее, болото это—обретается в недрах комсомола.

Это комсомолки ведут такие речи:

«Неужели мы нынче не устроим афинскую ночь?»

Это ведь комсомолка, «судорожно» (почему-то) трясясь всем телом, заявляет:

«А мне страшно хочется покурить анаша».

Это комсомолка приглашает к себе пьяную (комсомольскую же) компанию.

«Довольно! теперь по домам. А ежели желаете, то ко мне: у меня есть анаша, вино и можно отпраздновать «афинскую ночь».

Вряд ли надо добавлять, что «тринадцатая ночь», так живописующая комсомол, обойдет белую печать под злорадное улюлюканье:

«Вот они какие, комсомольцы, видали?»

Повесть, написанная с намерениями самыми лучшими, в некоторых частях своих может быть воспринята, как памфлет, как злая карикатура, дающая извращенное представление о молодежи.

Все это произошло оттого, что автор, задавшись похвальной целью нарисовать картину разложения нравов, действительно имеющих место в отдельных прослойках комсомола, как художник, не справился со своей задачей.

Показав комсомольцев и вузовцев в таком омерзительном виде, автор подчеркивает, что это не весь комсомол, что это только незначительная его часть, и даже не часть, а всего лишь отдельные представители. Но вся беда в том, что эти «отдельные» представители показаны с помощью художественных средств, а об остальном, неразложившемся комсомоле мы слышим только слова. «Разложившихся» видим до тонкостей, а неразложившихся даже не чувствуем: они где-то там, далеко, в тумане.

Тот самый Петр, который появился в роли невольного спасителя Тани, также вышел из комсомола. Вот какие речи слышим мы из его уст:

«Ну, зачем вы пригласили меня к себе? Зачем? Затем, чтоб я увидел этих старичков из комсомола, всю их разнузданность, услышал исходящее от них, как от разложившихся трущов, смердящее зловоние? Ведь

это трупы! Трупы! Как вы могли сойтись с ними? Как вы могли ~~попасть~~ в такое общество? Неужели вы думаете, что эти типы, которые были полчаса тому назад, являются представителями нашего миллионного комсомола? Нет. Я тоже вышел из нашего комсомола, но я не встречал таких типов, что были у вас, да и сейчас, несмотря на некоторые уродливые явления в нашем комсомоле, как мечанство, нытье, лентяйство, самомнение, нежелание учиться, работать над собой, чтобы выработать из себя хороших большевиков и заполнять собою, редющие ряды старой гвардии,—я совершенно не встречал в своей работе таких отвратительных типов, на которых я сегодня до омерзения насмотрелся вот в этой самой комнате. Я спрашиваю у вас: скажите, откуда вы откопали таких типов, что полчаса тому назад сидели в этой комнате, пили, жрали, похабничали, парни вели себя непристойно с девицами, а девицы еще более непристойно, еще более омерзительно с парнями? Я спрашиваю, откуда? Неужели это комсомольцы? Неужели их еще не выгнали? А эти газовые платья, надетые на голые тела?»

Мы разделяем и недоумение, и негодование Петра, но обращаемся с ними не к Тане, а к автору, который должен же понимать, что распределение света и тени в искусстве играет огромную роль. Ведь не Таня в самом деле сочинила «тринадцатую ночь» с ее комсомольскими участниками? Значит эти комсомольцы *были*. А если были, то где? Когда?

В центральной части своей повести автор вызывает недоверие. А это недобрый знак. Настоящее искусство убеждает без доказательств; даже когда говорит о небывалом. Искусство плохое не убеждает и тогда, когда воспроизводит действительно случавшиеся случаи.

Я не хочу сказать, что в комсомоле нет дряни. Отрицать это—значило бы идти против фактов, всем известных. К сожалению, и в комсомол, и в нашу партию просачивается человеческая труха, элементы, нам чуждые социально и психологически. Бывают, наконец, случаи, когда под влиянием внепартийного окружения разлагаются и настоящие партийцы. Но все это *отдельные случаи*, которые партия ликвидирует без труда. В нашем миллионном комсомоле, охватывающем не только молодежь рабочего класса, но также мелкобуржуазный молодежь деревни и города, имеется много элементов, более или менее легко поддающихся разлагающим влияниям. Есть и упадочничество, и распутство, и грубость нравов, и разгильдяйство, даже простое негодяйство: ведь среди чубаровцев оказалось несколько комсомольцев. Но я утверждаю, что ничего подобного салону, который устроила у себя Таня Аристархова, где девицы кружатся в газовых платьях, курят анашу (наркотик, как говорят, один из самых дорогих), пьют вино и устраивают «афинские ночи» по рецептам старых буржуазных «лиг свободной любви»,—*ничего подобного в комсомоле не было, нет и не могло быть*. Вся «тринадцатая ночь», болезненно эротическая, лишняя в новости, «сочинена» автором, потерявшим чувство меры. Он сгустил краски. Оттого-то разложившиеся представители комсомола, выведенные в ней, не убеждают при учете всех комментариев и примечаний автора. Даже как отдельные представители они

фальшивы, говорят чужие слова, действуют, подобно марионеткам. Просто не веришь в Чужачка и прочих участников оргии. Это—заводные куклы, понадобившиеся автору для иллюстрации Таниного падения. Они лишь запутали автора, пытающегося об'яснить, растолковать, как, что и почему: ведь Аристархова—необыкновенная девушка, преданная революции, умница, с душой, как же могло случиться, что она пошла по стопам Исайки Чужачка?

Автор, разумеется, великолепно сознает, что «просто так» это произойти не могло. Он вкладывает поэтому в уста Тани такой комментарий:

«Николай, прошу тебя никогда не смешивать детей ответственных работников, детей советских служащих, а больше всего подозрительную молодежь, приехавшую с окраин, с молодежью от станка, с настоящей рабочей молодежью».

В этом комментарии есть то именно *огульное обвинение* всей «нерабочей» молодежи, приехавшей с окраин, *против которого необходимо бороться*. Курьезнее всего, что это огульное обвинение автор вкладывает в уста дочери деревенского кулака, наиболее яркой представительнице той самой «подозрительной» окраинной молодежи, в большинстве своем крестьянской, против которой она, под диктовку автора, предостерегает брата. Но ведь и этот комментарий не об'ясняет, почему наша по-настоящему революционная Таня, очутившись среди «подозрительной» молодежи, не сумела уберечь себя от гнилого влияния? А ведь это центральный вопрос, на который должен быть дан ответ. Сама Таня Аристархова в своей «горькой исповеди» сваливает все на вузовскую ячейку, в которую она попала после рабочего района. Таня уверяет даже, что в 1923—24 году она оказалась «единственной защитницей старой ленинской гвардии». Выходит так, будто за это именно ячейка и постановила исключить ее из партии. А после того, как райком восстановил Таню в правах, но не уважил ее просьбу и не отпустил работать в рабочий район, эта, видите ли, «единственная защитница старой ленинской гвардии»—сшила газовое платье, стала курить анаша, пить вино, завела табунок любовников и решила устраивать у себя афинские ночи. Так выходит по ее рассказу. Она скромно заявляет при этом, что не винит райком. Скажите, какое великодушие! «Я виню только себя, только себя».

Изобразительность повести оказывается внешней. Рисую психологическую драму, автор не сумел распутать ее узлов. Набросав ряд картин, не лишенных большой остроты, он запутался в мотивах, не связал концов с концами, лишив свою повесть всякой убедительности. Оттого-то при чтении ее постоянно возражаешь автору, не доверяешь ему, разрываешь белые нитки, которыми сшивает он повествование.

Что Таня Аристархова, дочь деревенского кулака, могла попасть в комсомол—этому веришь. Но что она была подлинной комсомолкой—в это не верится.

Что она могла «разложиться» и докатиться до двадцать второго мужа—невероятного здесь мало. Но что в этом виноват райком, не отпустивший ее на работу в район,—это, извините, чепуха.

Что Таню исключили из партии—сомнений не возбуждает. Но что ее исключили зря—весьма сомнительно.

Что среди комсомольцев имелись и имеются экземпляры, разложившиеся сами и разлагающие других,—к сожалению, отрицать нельзя. Но что эти экземпляры могли так организованно, с буржуазным шиком существовать в комсомоле, устраивая афинские ночи с вином, анашей и роскошными нарядами комсомолок—вот в это позвольте мне не поверить.

Я верю также, что т. Малашкин хотел написать хорошую, коммунистическую повесть. Я не верю только, что это ему удалось, хотя бы в малой степени.

Что в образе Тани Аристарховой автор желал показать нам девушку, прошедшую сквозь огонь и воду, и сохранившую себя для борьбы—«положительный тип», возвеличивающий, а не унижающий комсомол—это мне ясно. Но что вместо света, против своих желаний, он бросил на комсомол тень, показав его в непристойном виде, — на мой взгляд вряд ли это м. б. оспорено.

Тов. Малашкин не достигает цели, к которой стремится. Скажу больше: его повесть может вызвать эффект, противоположный тому, какого хочет автор. Любители «занимательного» чтения с острой приправой эротики найдут здесь для себя много «щекотливого». Следует даже опасаться, что старую литературу «с клубничкой» может вытеснить молодая литература с комсомолкой, делающей аборт, с афинскими вочами и соблазнительными всякими сценами, разжигающими нездоровое любопытство у молодежи и вызывающими обильное слюноотечение у старичков. В литературе, посвященной так наз. «половой проблеме», есть всегда опасность «перегиба». Здесь нужен величайший такт и великое целомудрие. Самое заострение внимания на «половой проблеме» говорит о нездоровой атмосфере. Когда же «половая проблема» начинает «размазываться» в газетах, журналах, книгах,—опасность возрастает. Неумелая борьба с половой распущенностью может сопровождаться ростом половой распущенности, так же точно, как неловкое тушение огня иной раз способствует его распространению.

Такого «величайшего такта» не оказалось в повести С. Малашкина. Он не сумел остановиться на какой-то грани, дальше которой идти нельзя. «Тринадцатая ночь», написанная с лучшими намерениями,—разжевывает и размазывает все то, о чем с достаточной полнотой говорится в других местах повести. Но все это, разумеется, пол-беда. Малашкин не задавался целью дать «занимательное» чтение. Он ставил своей задачей нарисовать «больных типов» наших дней, членов коммунистической партии. Он хотел показать нам «недюжинного человека», «необыкновенную девушку», преданную коммунистку, с умом и большой душой, которая, тем не менее, не устояла против соблазнов. Вот здесь-то и терпит автор поражение. Разврат и распутство показать ему удалось. Не удалось лишь убедить нас, что его героиня—не мещанка, случайно затесавшаяся в партию, а всамделишная коммунистка с глубокими чувствами и подлинной революционной страстью. Этого показать не удалось прежде всего потому, что

распутство Тани оказалось *немотивированным*. А поскольку нет убедительной мотивировки—постолюк остается распутство, как таковое, с вишишжом, с картишками, с любовничками, с пьяными оргиями—мало ли сливняков отдаются власти похоти, начиная с блудливой проповеди теории «стакана воды», и кончая Чубаровым переулком. Вообще—надо сказать — от «стакана воды» до Чубарова—один шаг. Салон Аристарховой—лишь полустанок на этом пути. И ложь «Луны с правой стороны» заключается в том, что слабовольную распутницу Малашкин пытается нарядить в одежды трагической героини, да еще с партбилетом в кармане. Лжив в корне облик организаторши афинских ночей, которая посещает райком, а в краткие перерывы между оргиями тянет канитель о деревне, о великом Октябре, о с'ездах партии, о партийной литературе. Ведь сообщает же автор, что на столике Тани лежат стихотворения Блока и пудра «Лебедь». В этом сочетании пудры и Блока и заключен стиль Аристарховой. Когда же она, под диктовку автора, разглагольствует о «политике партии в деревне» и о том, что четырнадцатый е'езд правильно (умница наша Таня!) наметил на целое десятилетие линию работы в деревне, и что ей «жутко» от деревни, да еще вкривь и вкось склоняет имя Ленина—сердишься на автора за бестактность и хочется оборвать его героиню:

— Если куришь анашу—кури, устраиваешь афинские ночи—устраивай, но оставь, пожалуйста, партию в покое, и не клади под пудру «Лебедь» брошюры партийных вождей. Всему свое место.

Что Таня Аристархова—«чуждый» элемент в партии (райком зря восстановил ее в правах), видно хотя бы из того, что на всем протяжении длинной повести эта «мятущаяся» душа даже не пытается искать в партии какие-нибудь зацепки для своего спасения. С одним партийцем вступает она в сношения, с Петром, но сношения эти—половые. Никого, кроме любовника, не нашла Таня в партии, чтобы обратиться за помощью. Партии—нет. Партия не существует. Аристархова сама по себе; партия сама по себе. Здесь, случайно и независимо от своей воли, автор правильно установил отношения между Таней и партией.

Столь же изолирован от партии и комсомол, представленный бандой разложившихся чубаровцев.

Это все, что дала партия Тане Аристарховой. А когда ей стало невозможно даже с новым любовником, она уехала спасаться.—Куда?—На север, в сосновый лес, где «на лыжах каталась, на охоту ходила... и вела, говорят, девическую жизнь». В одиночестве, вдали от партии, среди сосен, наша героиня почерпнула новые силы для жизни. Она вернулась возрожденной, и зажила счастливо со своим мужем. Добродетель возторжествовала.

VI

Хочется отметить еще одну черту в психологии Аристарховой, *отрагательно* подчеркиваемую нашим автором.

В повести есть лейт-мотив, скользящий по страницам и часто с себе напоминающий. «Луна с правой стороны», пахнущая антоновскими ябле-

ками, да и сами антоновские яблоки даже приедаются читателю. Этот запах появляется неспроста. В сознании Тани счастье, *праведный* путь жизни, ассоциируется с антоновскими яблоками, с первыми подснежниками, с черноземом. Когда же она погрязает в жизни *неправедной*—исчезает антоновка, луна перестает пахнуть, вянут подснежники и фиалки. Это до приторности надоедливо подчеркнуто автором. А чтобы никаких сомнений на счет лейт-мотива не оставить, наш автор вкладывает в уста героини следующую тираду: «Глубоко чувствуя ужасный, потрясающий до самой глубины, разрыв человека с природой, я быстро вскочила со срубленного дерева, упала на колени, со всей силой запустила пальцы в рыхлую землю, выворотила большой кусок земли, судорожно поднесла его к глазам, стала рассматривать — он был жирен, ноздреват, был полон лопнувших зерен, из бурой кожуры которых выглядывали нежные бело-синие, бело-розовые зародыши растений— был похож на тот самый кусок земли, который три года тому назад я держала в руках».

Не плохие строки. Если бы они выражали Танины настроения, это было бы уместно: Таня—дочь кулака; деревенская психология в ней оказалась неистребленной. Можно было бы предположить, что автор-коммунист здесь-то и видит кое-какие причины Таниных злоключений: не преодолев в себе крестьянской «души», с «властью земли», с тягой к деревенской «природе», Таня, очутившись в городе,—затосковала в несродной обстановке. На этой почве *отрыва* от «отчего дома» в современной нашей литературе выросла лирика Есенина, в ее упадочнической части какими-то нитями связанная с настроениями Тани Аристарховой. В лейт-мотиве, поэтизирующем «чернозем», как символ деревенской природы, звучит та самая крестьянская романтика, которая характерна для произведений Есенина, Клычкова, Орешина. Эта романтика не только поэтизирует деревенскую природу: она заострена против индустриального города. Оттого-то она реакционна. Характернейшей чертой нашей молодой крестьянской литературы является анти-урбанизм, анти-индустриализм, поэтизирование «деревенского рая». В унисон этим нотам крестьянской поэзии звучит Танино прославление чернозема, запаха антоновских яблок и первых подснежников.

Но вот что примечательно: Сергей Малашкин солидаризируется со своей героиней. Нетрудно увидеть, что он сам тоскует о «черноземе»— не случайно ведь героиня его залечивает душевные раны не в рядах товарищей по борьбе, не в коллективе, а в одиночестве, где-то в сосновом лесу. Правда, врачи обычно отсылают переутомленного человека отдохнуть подальше от города, но ведь «болезнь» Тани «*социального*» порядка; ее не вылечить санаторным режимом и медикаментами.

Смешно, разумеется, не признавать отрыва от природы современного городского человека. Не менее смешно «отрицать» природу, не любить ее, не чувствовать ее живительной прелести. Но нельзя с точки зрения пролетарской идеологии противопоставлять, как потерянный рай, природу деревни современному городу. Надо раз навсегда *закончить*

е напрасными сожалениями о том, что индустриализм современности убивает и разбивает прелести деревенского жития. Города растут и будут расти, культура будущего, социалистическая культура будет культурой городской, а не деревенской. Вне огромных городских образований немислима концентрация и умножение производительных сил человечества, а вне роста производительных сил у человечества нет будущего. Потому-то вздохи о «страшном», о «потрясающем» отрыве от природы—суть реакционные вздохи, а идея, проповедующая возврат к природе, т.-е. уход из города,—реакционная идея.

VII

«Луна с правой стороны» оказывается слабым произведением также со стороны языка, тягучего и однообразно интеллигентского. Язык, которым пишет свои письма из деревни комсомолка Таня, не внушает доверия. А прием, каким сделана «Луна с правой стороны», требует веры в то, что письма не «сочинены» автором, но в самом деле писаны Таней. Без этого доверия рушится обаяние, на которое рассчитывает автор.

«Лицо комбедчика Акима»—пишет пятнадцатилетняя деревенская девушка—говорит обратное и тоже верно,—одним словом, что крестьянин в полосе гражданской войны может служить хорошим барометром, благодаря которому и без газет можно вполне хорошо узнавать политическую погоду». В таком стиле прилизанной газетной передовицы написана почти вся повесть. Однообразие языка сопровождается банальными сравнениями. «Широко открытые безумные глаза»—это давно стало штампом. «Муки восторга», «потрясающий поцелуй», «потрясающе нежный» шопот—все это невыразительно, м. б., потому, что употреблено в превосходной степени. *Простоты мало*. «Я возненавидел отца всеми фибрами своей детской души»—вот как разговаривает крестьянская молодежь. А ведь в искусстве сословное происхождение героев тогда лишь убедительно, когда *показано* в языке, в поступках, в психологии. Мне думается, что эти недостатки объясняются малой «выдержанностью» повести. Автор поспешил с ее напечатанием—явление, к сожалению, обычное среди молодых писателей. Результаты—налицо. Непроработанная вещь—при остром материале—изобилует промахами. Только торопливостью я могу объяснить такие, наприм., незначительные, но недопустимые погрешности. «У ней круглое, загорелое, со *стареющими* угрями лицо». Что это значит—*стареющие* угри? «По моим щекам катились *капли* слез»—но ведь слезы иначе не катятся, как именно *каплями*, даже если уверяют, будто они льются «ручьями». В «Большом человеке» мы читаем о сугробе *снега*, хотя, по совести, не знаю: бывают ли какие-нибудь иные сугробы, кроме снежных. В рассказе «Большой человек» вахмистр *лежал* на четвереньках». Но ведь смысл-то «четверенок» в том и состоит, что на них не лежат, а *стоят* или ползут. Не правда ли? Все это обнаруживает некоторую нечувствительность к языку. Она почти не дает себя знать в «Большом человеке», но не редка в «Луне с правой стороны». «Пока

я курила и *через глаза* пускала дым»—говорит Таня. Это очень неточно: пускать дым через нос—ясно, но «через глаза»—темно до чрезвычайности. Неправа Таня, когда рассказывает, будто она «встала и, *раскачиваясь* из стороны в сторону бедрами», пошла, и т. д. Не могу представить, как женщина *раскачивается* бедрами. Покачивать бедрами, раскачивать бедра—это еще куда ни шло, есть такая привычка у иных женщин (среди комсомолок я не встречал). Но *раскачивать себя* бедрами—вещь немислимая. Описывая Исайку Чужачка, Таня указывает на «маленький и круглый, как дырка, рот, на его крупные зубы». Но в этой характеристике одна часть противоречит другой: если рот маленький и круглый, как дырка, то *крупные* зубы не могут бросаться в глаза—«широкие, желтые, хищные, выдающиеся вперед, зубы». Все это, разумеется, мелочь, но когда она перестает быть случайностью—мимо нее пройти нельзя. А я опасаясь, что при невнимательном отношении к языку такие промахи у т. Малашкина могут превратиться в нередкое явление. Чтобы не показаться голословным, приведу еще несколько примеров. Нельзя, наприм., «*облокотиться на локоть*». Это происходит у Малашкина дважды: в «Огломонах» и в «Навождении», где молодой человек «*облокотился*» правым *локтем* в душистое сено. Облокотившись локтем, этот молодой человек откусывает соломинку и откусываемые кусочки выплевывает на телегу, «а некоторые *висели* у него *на хорошо выбритом* розовом подбородке».—Но ведь в том-то и беда, что если подбородок *хорошо выбрит*, соломинки висеть не могут: им не за что зацепиться.

Нехорошо также звучит: «он снова *громко* захохотал».—Ведь «*тихо*» хохотать нельзя. Хохот тем и отличается от смеха, что он *громок*.

Иногда образ у Малашкина случаен. «Она вывертывалась перед мужем, как змея перед игроком на свирели». Что женщина вывертывалась, как змея—это не очень плохо. Но почему «перед игроком на свирели»? Ясное дело—связь «игрока» со свирелью случайна и поверхностна. Оттого-то образное выражение делается безобразным. Результат, противный тому, какого добивался автор.

VIII

Мы подробно остановились на повести «Луна с правой стороны» именно потому, что при всех своих недостатках—она талантлива и оставить ее незамеченной невозможно. Повесть привлекает внимание, дарит воображение, не оставляет читателя равнодушным. Она затрагивает одну из *самых* больших проблем современности—а это уже большое достоинство. Но если «Луна с правой стороны» могла бы оставить кое-какие сомнения на счет литературного дарования автора, то второе крупное произведение в той же книге разрушает всякие сомнения: «Больной человек»—вещь большой силы. В художественном отношении она много выше первой. «Больной человек», мне думается, вообще лучшее, что написано до сего времени Малашкиным. Эта вещь не менее остра, чем «Луна с правой стороны»—автор умеет находить материал, волнующий

и значительный. Если в первой повести качество обработки уступает качествам материала, то в «Большом человеке» эти элементы приведены в гармонию. Художественная плотность ткани, мастерски развертываемый сюжет, выразительность отдельных сцен—все это приятно поражает в молодом писателе. Главное действующее лицо—комиссар Завулонов, участник гражданской войны—сходит с ума и кончает жизнь самоубийством:—фигура, исключительно трудная для воплощения. Надо сказать, что препятствия с успехом преодолены автором. Наиболее трудные сцены бреда сделаны тонко и убедительно: безумие Завулонова *показано*, оно ощущается, реально до осязательности, а вместе с этим живет, как реальность, смутный и тревожный мир призраков, тесно сплетающийся с миром действительным. Постепенное помутнение сознания, неуравновешенность и нервность, мир, деформирующийся в потрясенном мозгу,—все это воспринимается, как настоящее искусство. Здесь не возражаешь автору: сцены в трактире, сумасшедший полет в Москву, фронт, ночные тени, превращение мира реального в мир видений,—все это показано сквозь горячечную фантазию больного комиссара. Повесть ведется с нераслабленным напряжением; прочитанная, она западает в память.

Но и в этой сильной вещи дают себя знать дурные стороны Малашкина.

Не удовлетворяясь ролью художника, он хочет быть комментатором. Малашкин не только показывает, но еще поясняет. Свою «поэтическую» речь он прерывает самой обыкновенной «прозой». В «Большом человеке» это менее заметно, чем в «Луне с правой стороны», но все же и здесь имеет место. Малашкин как будто опасается, что читатель не поймет его, а если поймет, то превратно. Поэтому, дав яркий образ Завулонова, он пытается репликами отдельных лиц, вкрапленными в повесть, или своими личными замечаниями «прокомментировать», как, что и почему. Он как будто забывает, что задача «растолковать» и есть задача художника, *но растолковывать-то надо средствами искусства*, т.-е. с помощью художественных приемов. Малашкин-комментатор определенно срывает работу Малашкина-художника. Попытки комментатора «объяснить»—лишь вносят путаницу. Так именно и обстоит дело с вопросом: каковы корни трагедии Завулонова—личные или социальные? Автор с большой грустью и совсем в тоне упадочнических настроений Завулонова говорит о современной обывательской жизни, трудной и непонятной, которая плывет неизвестно куда, от которой жутко так, «что падает и замирает сердце». Говорит он о том, что «чего-то жаль», «жаль какую-то птицу, которая побывала в руках, пощebetала какие-то особенные песни, показала на один миг свои огненные перья и улетела». «Да и была ли в руках такая птица? Уверяют, что была. Это не Завулонов тоскует, это наш автор комментирует трагедию своего героя. «И вот об этой самой птице под песню «жалостливой бабы», за бутылками пива тоскует уездная молодежь. Под эту же самую песню за бутылками пива тоскуют и пожилые...» и так далее, и так далее.

Этот пессимизм размазывается от имени автора, хотя он противоречит другим авторским высказываниям в той же повести. Примем «пессимизм», как попытку «объяснить» нам трагедию Завулонова. В этой тоске по «улетевшей птице» автор, очевидно, видит основную причину «завулоновщины». На такую «разгадку» указывает сам Завулонов, это повторяют слушатели рассказа, присоединяя к «тоске» еще испытания нэпа. На первый взгляд комментарий не оставляет желать лучшего. Но лишь на первый взгляд. Теоретическое рассуждение автора противоречит художественному смыслу образа Завулонова. Художник-Малашкин несогласен с Малашкиным-комментатором. В повести мы имеем облик героя, обреченность которого делается явной *в те именно дни, когда он крепко держал «птицу» в руках* и любовался ее огненными перьями, а нам подсовывают комментарий, по которому выходит, что Завулонов погиб оттого, что «птица» улетела. Входило это в замыслы автора или не входило, но Завулонов показан упадочником еще задолго до того, как появился нэп.

Я не хочу сказать, будто тоска по улетевшей «птице с огненными перьями» кое для кого не оказалась гибельной; бесспорно также, что нэп с его соблазнами, на почве этой тоски, развратил и разложил многих. Но судьба комиссара Завулонова, героя повести «Больной человек», независима от тоски по улетевшей птице и от нэпа с его разлагающим влиянием. Завулонов, каким он изображен в повести «Больной человек», показан как *больной человек*, в своей наследственности, в своей физиологии, в себе самом несущий свою гибель. Была «птица» в его руках, или не была, пришел нэп, или не пришел—Завулонов был «больным человеком» уже в яркие годы гражданской войны. Художественная интуиция не изменяет автору, когда он характеризует нам своего героя, как человека «неразговорчивого, хмурого, или, как принято говорить о таких людях—замкнутого». Завулонов любил сумерки, не зажигая огня и откинув голову на спинку мягкого кресла, «подолгу засиживался и неподвижно синими глазами смотрел в какую-нибудь одну точку, так почти всегда». Достаточно внимательно поглядеть на такого «хмурого» человека, неподвижно и подолгу смотрящего в одну точку, чтобы сказать: с ним что-то неладно. Улетевшая «птица» могла лишь обострить в Завулонове кое-какие черты, нэп мог усилить развитие болезни, но сама-то болезнь гнездилась в нем задолго до «птицы» и нэпа.

В разгаре гражданской войны Андрей Завулонов был комиссаром по борьбе с дезертирством. То были дни деникинщины, когда «огненные перья» птицы горели всеми цветами. Автор рисует сцену (Завулонов и машинистка) надрывную, болезненную, вызывающую в памяти сладострастное мучительство Достоевского. Здесь Завулонов «сквозь хохот и слезы» является нам истерзанным и развинченным упадочником. На почве этого упадочничества, страсти к мучительству, нервической неуравновешенности и расцветает завулоновщина. Погоня за дезертиром и убийство доканали нашего героя: больная психика не выдержала, и Завулонов сошел с ума.

В похвалу Малашкину необходимо отметить, что, изображая Завулонова, вопреки своему заданию подчиняясь художественной интуиции, Малашкин сцену погони за вахмистром, т.-е. событие, бывшее как бы исходным пунктом безумия Завулонова, рисует уже сквозь бредовую призму потрясенного завулоновского сознания. Эти страницы—самые яркие в книге. Вахмистр иногда представляется двойником Завулонова, и в некоторых ремарках можно усмотреть, как автор (сознательно или бессознательно?) подчеркивает это обстоятельство. Завулонов не просто гонится за дезертиром, классовым врагом, но за *человеком вообще*, человеком с «общечеловеческой» точки зрения. Не дезертира убивает Завулонов, а самого себя: таков как будто смысл погони. Словами Завулонова автор выясняет это обстоятельство, говоря о дыме, который протягивал между ними какие-то общечеловеческие ниточки. Ниточки эти, исходившие от вахмистра, опутывали сердце Завулонова всечеловечностью, «рассказывали о всечеловеческой любви и о том, что все люди одинаковы». Завулонов, убив вахмистра, усомнился в своем праве убивать, но, размышляя, отбрасывает сомнения: «Мне стало страшно, противно за себя, как это я мог допустить такую слякоть... Ведь всечеловечность в наше время—это слякоть, она разбавляет волю, ослабляет боевую силу, а главное разряжает жажду к победе...». Но Завулонов—болен, его воля расслаблена, боевая сила растрочена—и *слякоть побеждает*. Убив вахмистра, Завулонов не может его позабыть—вахмистр преследует его, вахмистр является на яву. Безумие овладевает Завулоновым. Завулонов погибает.

Так—уже не в комментариях, а в художественном образе, под маскировкой слов о нэпе и об улетевшей «птице» с огненными перьями—раскрывает драму Завулонова автор. Но ведь эта «разгадка» противоречит авторским комментариям! Ведь безумие овладело Завулоновым *до нэпа* и даже до того, как ему показалось, будто улетела синяя птица революции.

Художественная трактовка образа Завулонова и авторские попытки об'яснить трагедию героя расходятся в разные стороны. Завулоновщина—как она показана автором—не социальное, а *патологическое* явление, поскольку, разумеется, патология не обусловлена *непосредственно* социальными причинами. Оттого-то повесть имеет характер скорее клинического этюда, чем полотна, из которого можно было бы сделать социальные выводы. Подойди автор к Завулонову не со стороны патологической, а со стороны социальной, могло бы получиться интересное произведение о бойце, не выдержавшем испытаний будничной, негероической, трудной фазы революционной борьбы, которая последовала за окончанием гражданской войны. Нам думается, что такое именно намерение автор себе и ставил, но осуществить его ему не удалось.

Про автора можно сказать словами Грибоедова: шел в комнату, попал в другую.

Упадочничество не патологического, а социального происхождения ждет еще своего художника. Вот тема, которую следует заняться.

Но она требует совершенного отказа от «патологии». А тов. Малашкин, неизвестно почему, внимание свое устремляет на «болезни» духа в смысле клиническом, а не социальном.

Из этого странного пристрастия к «больным типам» можно было бы сделать некоторые выводы, характеризующие писательскую индивидуальность нашего автора, выводы, которые будут несколько парадоксальными, приняв во внимание пролетарскую репутацию т. Малашкина. Будет, конечно, печально, если талант этот окажется преимущественно способным на художественное отображение патологически ущербленных героев. Пристрастие к «больным типам»—само по себе нездоровое пристрастие. От него хотелось бы предостеречь т. Малашкина.

* * *

В наших «заметках» мы коснулись лишь двух крупных повестей Малашкина. В книге помещены еще три рассказа: «Навождение», «Работники», «Огломоны». Это—ранние произведения, от присутствия которых книга ничего не выигрывает. Рассказы эти следовало бы напечатать, лишь основательно переработав. После повестей, о которых говорилось выше, они поражают своей вялостью, бесхарактерностью, отсутствием сюжетного хребта: какая-то серая канитель, которую, как в «Огломонах», можно продолжать до бесконечности. «Работники» могли бы быть хорошим рассказом, но духовное перерождение героя показано крайне поверхностно, а облик Ленина, мелькнувший на страницах, бледен и не дает представления о могучей силе вождя. Включение этих рассказов в первую книгу можно об'яснить лишь неопытностью автора. Но ведь без неудач редко бывает хорошее начало. А у Малашкина есть много данных писать крепкие вещи. Он умеет находить материал острый и волнующий. У него большой интерес к человеку, к трагическим изломам его души, к процессам, глубоко захватывающим человеческое сознание. Личный опыт т. Малашкина тесно связан с пролетарской революцией—это значит, что в творчестве его дух Великого Октября должен найти свое отражение. Он имеет смелость безбоязненно касаться самых тревожных проблем, не останавливаясь перед рискованной их трактовкой. Малашкин, наконец, в отличие от многих молодых писателей, превосходно сознает, что вне мастерства—нет искусства.

Все эти качества позволяют нам с надеждой смотреть на будущее этого молодого писателя.

Но чтобы овладеть этим будущим, ему не мало еще придется поработать и над своим материалом, и над самим собой.

ТРИБУНА

Ряд вопросов, связанных с развитием современного искусства и литературы, вызывает горячие споры. Считаю полезным отражать на страницах журнала наиболее значительные моменты литературной борьбы, редакция «Нового Мира» с настоящего номера открывает новый отдел— «Трибуна», в котором будет помещать статьи в «дискуссионном порядке».

Редакция.

Л. А. В. ЛУНАЧАРСКИЙ. Ревизор Гоголя-Мейерхольда.—**П. А. БЕЗЫМЕНСКИЙ.**—
Начистоту.

РЕВИЗОР ГОГОЛЯ-МЕЙЕРХОЛЬДА.

А. В. Луначарский.

1. Два слова о прошлом

Видно мне на роду написано особенно часто расходиться с большинством наших театральных критиков по вопросу о Мейерхольде. Сколько было всяких похвал и восторгов по адресу «Великодушного рогоносца»,—мне же этот спектакль показался крайне грубым, его оформление художественно неоправданным. Я до сих пор остаюсь на той точке зрения, что «Рогоносец» имел значение, может быть, для внутреннего развития Мейерхольда и в этом отношении был необходимым моментом, но представляет собою и для него нечто безусловно превзойденное. Хотя в 3-й афише ТИМ'а и утверждается, что этот спектакль все еще живой и боевой, но думаю, что он сейчас может заинтересовать разве только с «академической» точки зрения.

Начиная с «Леса», я почувствовал благотворный перелом в творчестве Мейерхольда. Этот чуткий человек начал понимать, что новшества и трюки, талантливое, но озорное ломание, во что бы то ни стало, старого театра,—

все это м. б. и хорошо, но далеко не то, что, как хлеб, нужно нашей публике. В «Лесе» уже был сделан подход к постановке по-новому старой задачи— выделения социальных типов, типичных положений. Спектакль при всем богатстве находок был, однако, как-то неубедителен, не чувствовалось внутреннего единого стержня. Мейерхольд стоял на перепутье между тем, чтобы «дерзить» старому театру и действительным созданием нового реализма.

«Бубус» был дальнейшим шагом в этом направлении. Критика его не поняла и разругала. В нем были, конечно, и остроумные выдумки, на которые так плодотворен Мейерхольд: бамбуки, пред'игра и т. п. Но если осмеяния, которым хотел подвергнуть Мейерхольд Листа и Шопена, не удались, то подведение под весь спектакль музыкальной основы придало ему неожиданную ритмическую четкость.

Я должен сказать, что давно уже мечтал, да и говорил (напр., моя большая речь «О музыкальной драме»), о подчинении драмы, с ее, так сказать, обывательской рыхлостью, стройным

ритмам, какие царствовали в опере и особенно в балете. Если эти два искусства необходимо драматизировать, т. е. сделать более реалистически сочными их приемы, то драму, казалось мне, в какой-то осторожной мере необходимо ритмизировать. Ритм движения и музыки, определяемый музыкой, вместе с тем сейчас же должен был отразиться и на ритмичности в пространстве, так сказать, на большей графической четкости всей сцены во всякий момент действия. Здесь известное место мог, по моему тогдашнему мнению, занять и конструктивизм.

Продвижение ко всему этому было в «Бубусе» чрезвычайно заметно. И в то же время эта ритмическая композиция во времени и пространстве не убавила внутренней правдивости, т. е. социальной карикатуры, которая преследовалась спектаклем. Неудивительно, что на большом диспуте после «Бубуса» я не мог не отметить те огромные продвижения Мейерхольда к тому театру, который нам нужен. В свою очередь Мейерхольд откликнулся на мое тогдашнее заявление и подчеркнул, что он действительно сознательно идет в сторону социомеханики, как мы тогда с ним выражались.

Параллельно «Бубусу»,—как во многом весьма совершенная агитка, построенная на тех же началах,—сверкнул «Рычи Китай», все еще чуточку переобремененный—в данном случае, этнографической «китайщиной».

Самым замечательным в «Мандате» было, рядом с замечательным текстом Эрдмана (*прекрасный текст*, заметьте; комедия же средняя), талантливое соединение правдивого реализма, одновременно синтезирующего явления и конкретно живого, с вольной фантазией в постановке.

Как великий график, беря живые явления действительности, каждое из них доводит до его сущности, не разрывая при этом связи с полнокровной действительностью, и потом, быть может, комбинирует эти вещи и фигуры самым причудливым образом, так и Мейерхольд, разрывая условности сцены и условности действительности, делал гигантский шаг в сторону совершенно сво-

бодной театральности. Он жонглировал своими великолепными Гулячкиными и всем их антуражем, он фантастицировал, забавлялся ими, но ни разу, особенно же в финале, эта забава не была неоправдана. Самые неожиданные трюки, в том числе и невероятное оформление финала, превосходно подчеркивали обрисовываемую сущность.

Художник-реалист не смеет быть рабом действительности. Это правило столь же важное, как и правило держать тесную связь с этой действительностью, не разрывать с языком привычных для публики явлений.

Конечно, великий реалистический театр прошлого всегда шел по этому пути. Но итти по какому-нибудь пути означает: итти вперед.

«Горе от ума», «Ревизор», «Женитьба» предполагают не одну только правду, но и гротеск, карикатуру, и вне атмосферы такого гротеска не могут не поблекнуть. Но почему с этими старыми, а также и с новыми произведениями, не позволить себе опыта пропустить их через гораздо более толстый слой многообразно изогнутого рефрактора гротеска?

«Ревизор» есть новое завоевание по этому пути. «Ревизор»—это самый убедительный спектакль Мейерхольда. Здесь он имеет дело с текстом, разумеется, еще более высокого качества, чем текст «Мандата», здесь он имеет дело с прекрасно развертывающимся действием, здесь он имеет дело с типами, по всей справедливости претендующими на то, чтобы, оставаясь возможно более крепко в лоне своей живописной эпохи, вырастать до общечеловеческих масок, по крайней мере, в пределах внесоциалистического общества.

II. Гоголя обидели

Имел ли Мейерхольд право изменять Гоголя, совершенно вольно трактовать его? Конечно, он имел на это полное право.

.. Полноте разглагольствовать об этой форме пietetа перед классиками! Кто же не знает, что классиков из классиков—Эсхила и Аристофана—во всех

нынешних театрах мира дают так, что не остается и самомалейшего сходства с первоначальным спектаклем, какой они сами видели и, может быть, сами ставили? Кто же не знает, что шекспировские пьесы подвергаются всевозможным переделкам, сокращениям, искажениям, и что отдельные постановки какого-нибудь «Гамлета» отличаются друг от друга и от первоначальной постановки театра «Глоб», как совершенно разные пьесы? Почему никто не возмущается, когда Леконт де-Лиль переделывает «Эриний», а Гофмансталь «Электру»? Почему «Федру» совершенно по-новому писали, только слегка сверяя с шедевром Эврипида, и Сенека, и Расин, и Д'Аннунцио? Почему никто из нас не сомневается, что Пушкин мог быть только оборочен и обрадован «Борисом Годуновым» Мусоргского, хотя Мусоргский прибавил целый ряд сцен, убавил другие, и у него на сцене люди не говорят, а поют под музыку, что, конечно, ни капельки не входило в соображение Пушкина?

Другое дело, что нам необходимо хранить не только самые точные тексты пьес, но и воспроизводить в наших академических театрах в возможно более точном виде старые постановки. Вот с этим я согласен, и я бы задал вопрос, напр., Малому театру: уверен ли он, что у него все обстоит благополучно по части действительно талантливого и достаточно точного воспроизведения постановки шедевров русского классического театра в том виде, в каком они были более или менее одобрены их непосредственными творцами?

Но ведь смешно же в самом деле на театр Мейерхольда возлагать почтеннейшую обязанность музейного консерватора. Ведь если даже Малый театр, на который эти обязанности возлагаются совершенно законно, рядом со спектаклями старого стиля ставит спектакли нового стиля, то уже совсем безобразно запрещать самые смелые полеты фантазии театру, который целиком является лабораторным, экспериментальным, ищущим.

Пушкин сказал: «Мне не смешно, когда маляр презренный мне пачкает Мадонну Рафаэля»; но если бы кто-

нибудь на этом основании заявил, что, оставляя Мадонну Рафаэля в Дрезденской галлерее, он желает написать версию, вариант, может быть, даже карикатуру на Мадонну,—то, разумеется, не Пушкин стал бы ему запрещать это. Иначе можно было бы сказать: как вы смели, Александр Сергеевич, после евангелия изобразить по-своему благовоещение в вашей «Гаврииаде»?

Еще понятно, когда консервативные элементы нашего общества возмущаются новшествами; но когда я слышу коммунистов, которые заявляют: «но позвольте! это же скандал, это не настоящий Гоголь»,—то приходится действительно пожать плечами и признать, что в одном и том же мозгу может ужиться революционнойшая политика и эстетское мешанство.

Хотите настоящего Гоголя, так идите в театр, который имеет своим назначением его давать, а к Мейерхольду ходите не за настоящим Гоголем, а за современным Гоголем, за Гоголем, отраженным в сложнейшей поверхности зеркала нашего сознания.

Второй вопрос: имел ли право Мейерхольд пользоваться вариантами, которые Гоголь отбросил?

Нам говорят; «Гоголь знал, почему отбросить тот или другой вариант, зачем же возобновлять их?» Ну, Гоголь даже совсем сжег свой второй том, и мы знаем, что сжег он его под давлением враждебной среды. Кто может поручиться, что тот или другой вариант не были выброшены Гоголем, чтобы не слишком шокировать чопорную публику петербургских чиновников? Кто может поручиться, что соображения о цензуре не висели над ним? Вот мы скоро будем видеть «Бориса Годунова», как его задумал Мусоргский. Мы знаем, что этот гениальный музыкант согласился пропустить его через оформление искусного и светского Римского-Корсакова, но еще огромный вопрос, не потерял ли в этом оформлении первоначальный «Борис» трех четвертей своей титанической мощи?

Оговорюсь. Те варианты, которые дал Мейерхольд, не представляют собою новых открытий, и я вполне представляю, что тому или другому зрителю

окончательный текст «Ревизора» может нравиться больше Мейерхольдовского, но, тем не менее, все новые фразы, которые я слышал со сцены, свежие и забавные, чисто гоголевские фразы, и слышать их было приятно и радостно.

III. Внешний вид спектакля

Самое замечательное во внешнем стиле спектакля—это его поразительная художественная законченность. Часто, глядя даже на самые лучшие спектакли в самых лучших театрах, я все-таки чувствовал, как незаполнена, как незакончена вся сцена, как картина. Часто вы имеете перед собою большую сцену, в углу которой происходит какой-нибудь диалог. И если вы сосредоточиваете на этом углу ваше внимание, то все остальное просто пропадает, тревожа вас, так сказать, своим присутствием в подсознании и в неясном поле зрения. Если ваш взгляд начинает блуждать по всему целому, которое ведь все-таки есть какое-то художественное произведение, то вы рассеиваетесь по отношению к действию. Я уже не говорю о том, что актеры почти всегда (с этим боролся конструктивный театр) ползают по полу огромной сцены, так что $\frac{2}{3}$ ее остаются совершенно незаполненным пространством. Мало того, чрезвычайно редко режиссура достигает совершенства, чтобы решительно каждая фигура, молчащая в данное время, на каждое положение головы, ноги, руки находящегося на сцене было включено в общую композицию.

Только та картина или, еще лучше, цветная гравюра хороша, в которой все линии, краски соединены в неразрывное целое. Художник ни одной точки не ставит без расчета на всю композицию, как ни одного звука не допускает композитор вне того же тончайшего художественно-математического расчета.

Вот это-то и достигнуто Мейерхольдом в его «Ревизоре», по-моему, в совершенно неслыханных размерах. Большая сцена остается в большинстве случаев незаполненной (хотя она и утилизируется в некоторых сценах, но не претендует на интерес); это—боль-

шой полукруг из полированного дерева с дверями. Действие же преподносится как бы в корзине зрителям. Выдвигается определенная площадка, где вещи и люди действуют уже закономерно, исходя из данной художественной воли. Эта площадка залнавается соответственным светом (с большим искусством) и после этого представляет собою как бы движущийся букет, как бы упорядоченнейший калейдоскоп. Люди и вещи как бы непрерывно, в сплошной динамике, следующие друг за другом цветные гравюры.

Я утверждаю, что абсолютно любой момент всего этого большого спектакля, заснятый цветной фотографией, представлял бы собою законченную художественную картину,—подчеркиваю, законченную до самой малейшей мелочи.

Второй оригинальной чертой стиля этой постановки было не отсутствие декораций (не в этом дело, и уж, конечно, не в изощрении конструкций в их первоначальных архитектурно-механических формах), а чрезвычайно удавшаяся попытка заставить играть реальные вещи. Изгнаны не только декорации, но и бутафория. Это подлинная мебель, подлинный фруты, гастрономические продукты, как и подлинный люди в подлинных платьях, комбинация людей и вещей, непосредственно взятых у действительности. Тут никакого художественного претворения, по мнению Мейерхольда, не нужно. Тут он в полном смысле слова материалист. Но эти подлинные вещи поднимаются, тем не менее, до высокой живописной значимости, благодаря композиции и освещению.

Здесь я не могу не сделать некоторого упрека Мейерхольду.

Исходя из этого задания и стремления сделать свой спектакль нарядным и радостным, Мейерхольд преувеличил роскошь мебели и роскошь костюмов, в особенности у Анны Андреевны. Конечно, те прекрасные вещи из красного дерева и карельской березы, которые так удачно отыскал Мейерхольд, яревосходны и высоко художественны; конечно, туалеты Анны Андреевны напоминают предестные вещи Кустодьева

в области купеческого изобилия и сдобности, но, тем не менее, для среды небольшого провинциального города и небольшого калибра чиновника они художественно не оправданы. Было бы еще интереснее видеть то же усилие Мейерхольда без этого большого количества эстетского сахара. Правда, это превосходнейший рафинад, он несомненно доставляет удовольствие зрителю, но мало ли чего! Увлечаться чителю чувственным удовольствием глазами в каком случае не следует. Анну Андреевну, благодаря этим платьям и преувеличенной обрамленности ее всякими эффектами, режиссер выдвинул чересчур на первый план и нарушил в некоторой степени внутреннюю стройность спектакля. Это критическое замечание, которому я не придаю чрезмерного значения; и повторяю: сама идея игры вещами, а не бутафорией, прекрасна и очень хорошо использована Мейерхольдом.

IV. Все наоборот

Критику и публику очень шокировало то, что Мейерхольд сломал все те традиции, в которых обыкновенно дается «Ревизор», и сломал круто. Некоторым показалось даже, что все сделано «просто наоборот»: например, говорят, Осип должен быть старым, а его делают молодым. По этой логике Хлестакова нужно было бы сделать старым; однако Мейерхольд не сделал этого.

Дело, конечно, не в том, чтобы сделать все шиворот-навыворот, а в том, чтобы постараться сломать традицию и дать совершенно новую, свежую, неиспользованную версию. Это, конечно, право всякого большого художника.

Почему наша музыкальная критика с большим основанием требует, чтобы классики, включая самого Бетховена, находили у наших исполнителей фортепьянной камерной или симфонической музыки новое, соответствующее нашему времени толкование, и почему такого же требования нельзя поставить театральному новатору?

Многие из этих новшеств Мейерхольда вполне оправдываются,—например,

хотя бы Осип. Правда, вообще фигура Осипа в старых «Ревизорах» богаче, многое из его роли Мейерхольд просто устранил, она стала менее заметной. Но, тем не менее, фигура продувного парня, прошедшего через Питер, сама по себе чрезвычайно любопытна. Избегая, как всюду, монолога, Мейерхольд создал премилую сценку интимного дуэта этого парнишки Осипа с какой-то трактирной служанкой, оправдал полностью несколько нелепо звучащие в устах старого Осипа слова о том, как можно шмыгнуть с извозчика в подворотню, придал известную пикантность милостивым ухаживаниям городничихи за молодым и разбитым слугой гостя, заставил несколько раз фыркнуть в очень подходящих местах этого единственного представителя народного здоровья во всей пьесе,—вообще дал чрезвычайно любопытный и интересный вариант, за который можно сказать ему спасибо, хотя я не знаю, пойдут ли многие театры по этому пути и отстранят ли приличного, доброго, старого Осипа, освященного традицией, и, конечно, превосходного.

Возмущаются также переделкой Добчинского и Бобчинского.

Мне она показалась вариантом также великолепным. Никакой особенной мрачности, каких-то злодейских тонов, которые некоторые критики усматривали в этих двух провинциалах, я в этих фигурах не видел. Комизм, на котором играет Мейерхольд, заключается в следующем: вместо торопливости и суетливости, не совсем понятных на фоне тягучей и медленной жизни вечно сонного провинциального городка, он дает чрезвычайную замедленность в жестикуляции и речи. Это люди, привыкшие рассказывать все обстоятельно. И я не знаю, что больше соответствует этому длинному с разными отступлениями рассказу,—такой обстоятельности, такому начинанию от Адама, данным Гоголем совершенно выразительно,—торопливая ли и захлебывающаяся речь или такое, исполненное крайней обстоятельности и неторопливости, желание помучить своих слушателей, которым снабжает Мейерхольд свои фигурки. Я радикально

не согласен с теми, кто говорит, что Добчинский и Бобчинский вышли неправдивыми. Добчинский и Бобчинский даются, как две почти илоунские фигуры. Нигде почти у Гоголя нет столько шаржа, как в этих двух фигурах, и как раз впервые у Мейерхольда я увидел на их месте реальных живых людей.

Нельзя перечислить всех тех «наоборот», которые удачно произвел Мейерхольд, давая живую, свежую версию. Но, конечно, есть и неудачные моменты. Так, например, неудачен городничий.

Артист Старковский играет в общем очень недурно и достигает в заключительной сцене довольно большой силы. Но весь тип задуман как-то неубедительно. Всегда несколько не доверяя речи, всегда несколько заслоняя ее действием, Мейерхольд доклад городничего в первой картине сопровождает всякими леченнями, манипуляциями доктора, которые отвлекают от главного действия; и вообще стремление изобразить городничего истеро-неврастеником, во-первых, в дальнейшем забывается, а, во-вторых, вряд ли подходит к этому толстокожему типу. Вообще трудно сказать, что это собственно за городничий, из каких он, каково его прошлое. На мой взгляд, городничий, в этом смысле, не доделан, а поискать и здесь сочную фигуру, которая в то же время отходила бы от традиционного бурбона, очень интересно.

Словом, поискать-то следовало бы, а вот найти пока не удалось.

У. Логика спектакля

В спектакле Мейерхольда нашли мистицизм. Вот уж истинно, обжегшись на молоке, дуют на воду. Нашли даже двойников! Прочитав несколько рецензий, я так и пошел с недоумевающим любопытством посмотреть, как же это так В. Э. Мейерхольд, заклятый враг всякой мистики (недавно он даже психологию отрицал), будет показывать двойников, разводить гофманщину, дostoевскую белую питерщину и т. д. Конечно, ничего подобного не оказалось.

Да простится мне это замечание, — но ведь в этих самых поисках мистицизма и в испуге перед двойниками сказывается, что не только значительная часть нашей публики, но и значительная часть нашей критики попросту не умеет смотреть на сцену.

Я не беседовал с Мейерхольдом о внутренней логике его спектакля и о причинах, которые побудили его ввести дополнительные лица без слов и т. д., но я совершенно убежден, что то, что я скажу здесь, совпадает с его намерением, потому что все это материалистически ясно, никакими туманами не заслонено.

Мейерхольд исходил из того положения, что монологи не должны быть допуссаемы. Можно соглашаться или не соглашаться с этим, но длинный разговор с самим собою показан Мейерхольду вещь неуклюжей и устаревшей. Так как у Гоголя есть сведения о каком-то офицере-попутчике, большом картежнике и выпивохе, с которым по пути встретился Хлестаков, то Мейерхольд и воспользовался этой фигурой. Он заставляет этого самого игрока и пропояну сопровождать Хлестакова, как тень. Из него Мейерхольд сделал настоящий шедевр. Это сине-бледное лицо, эта изломанная бровь, эта провинциальная «роковитость», это беспрестанное непробудное пьянство, эти молодеватые танцы под хмельком, эта циничная издевательская усмешка, сменяющаяся трупным выражением до полусмерти напившегося человека, — все это до такой степени превосходно, все это так в стиле эпохи, что из партнера, который оживляет игру Хлестакова и дает возможность обогатить мизансцены, Мейерхольд шагнул к личному творчеству, театральному и в то же время не драматургическому. У офицера нет слов, он никак не влияет на ход событий, он поэтому находится вне литературной драмы. Это есть оживленная человеческая мебель, аксессуар и, вместе с тем, это незабываемый тип.

С совершенно исключительной талантливостью воспользовался этим офицером Мейерхольд для одного поразительного, глубоко психологически

оправданного трюка. Хлестаков заметил, что его приняли за другого. В нем уже смутно, полусознательно зарождается идея использовать положение, раздувшись индюком, поэксплуатировать недоразумение провинциальных пентюхов. Поэтому у своего спутника он занимает шинель и кивер, оставляя ему старую военную шапку и поношенный плащ, и с этой минуты выступает уже действительно как какая-то важная птица. Самая психология его меняется в этот момент. На наших глазах испуганный фертик, чиновник из самых нечиновных, превращается в фантазмагорическую фигуру самозванца. Только это вполне оправдывает все дальнейшее. Малосенький чиновник, у которого никакого гардероба не может быть, почти невероятен в дальнейшем, как Хлестаков. Что же, воображают, что ли, чиновники, что это переодетый ревизор? Между тем, эта шинель с меховым воротником, этот высокий кивер не могут не ошеломить сразу уездную мелкоту.

Спектакль, разбитый на 15 картин, прием, который любит Мейерхольд и который заимствован им у кино, разворачивается в таком порядке: первые две сцены с разными вариациями идут без больших сюрпризов, третья картина, «Единорог», уже вводит то, что часть критиков приняла за мистику. Когда Анна Андреевна остается одна, вокруг нее начинают появляться офицеры—два, четыре, шесть, восемь. Они поют ей комическую серенаду, из какого-то ящика, в конце концов, выскакивает еще один, который стреляет из пистолета.

Что это за абракадабра? Правда, офицеры эти—чудесные типы, вполне в стиле эпохи. Правда, серенада эта полна превосходного брио, и вся сцена с шумным одобрением воспринимается публикой. Но все же, где это происходит? Реальность это, гофманщина, галлюцинация?

Это ни то, ни другое, ни третье. Это такой же трюк, который хороший иллюстратор может позволить себе, сделав виньетку. Если, например, автор кончает главу такими словами: «голова ее вечно была полна офицерами в свер-

жающих мундирах, рассыпающихся перед нею в комплиментах и ежеминутно готовых застрелиться ради ее глаз», то это самое выражение может быть иллюстратором превращено в виньетку, хотя бы даже столь фантастического характера, что вышеупомянутые офицеры были бы размещены непосредственно в черепе Анны Андреевны. Вот это самое делает и Мейерхольд. Он претендует на то же право, каким пользуется кино: мечты, и всякие другие характерные внутренние переживания инсценировать как фантастическую реальность. Я не знаю, пользовался ли этим кто-нибудь раньше в театре. Я знаю, что в кино это уже теперь постоянный, азбучный прием, и Мейерхольд разрешил его с необыкновенной грацией и убедительностью.

Четвертая и пятая картины не возбуждают особых затруднений. В шестой («Шествие») нельзя не отметить совершенно изумительные мизансцены. Движения самого Хлестакова и всей массы и превосходная игра Гарина образуют исключительное по выразительности зрелище. Нельзя не отметить здесь и прекрасный момент, когда Гарин-Хлестаков поет о цели жизни, которая заключается в срыве цветов наслаждения, и в то же время противно и рвотно плюет. Здесь уже есть одна из тех черт сценически подчеркнутой философии жизни, осужденной Гоголем в «Ревизоре», которая вот этим простым жестом подымается на огромную высоту обобщения. Это смачный, противный, сопровождающийся отрывкой плевок, при легкомысленно-веселом, полупьяном, до глубины души убежденном лозунге о срывании цветов наслаждения, с какой-то пронзающей силой заставляет вас почувствовать, что такое меццанский гедонизм.

Седьмая картина «За бутылкой толстобрюшки» сделана необыкновенно тонко. В ней Хлестаков пьян, пьян настолько, что действительность представляется ему почти сказочной. Он не только врет, он упивается своей ложью, малейшие его желания кажутся ему исполняющимися моментально. Звучит волшебная музыка, когда это ему нужно. Появляются перед ним те дели-

катесы, о которых он размечтался, и т. д. Таким образом, картину эту надо принимать не как чистую действительность, а как действительность, окутанную дымкой пьяного полусознания.

Мистика ли это? Да с каких же пор, чорт возьми, это мистика? Почему же романист имеет право рассказывать, каким представляется мир пьяному человеку, а театр этого *показать* не может? Правда, до сих пор мы всегда требовали от театра, чтобы нам было показано только то, что видит публика. Исключение делалось для мистических привидений или псевдо-научных галлюцинаций. А Мейерхольд пошел гораздо дальше,—не привидения и не галлюцинации, а действительность, искаженная алкоголическим возбуждением.

Еще больше поражает и возмущает непривычных зрителей и критиков, не умеющих разобраться в совершенно логичных, но новых для театра приемах, картина восьмая «Взятки».

Но надо же помнить, что предыдущая картина «Слон повален с ног» показывает Хлестакова спящим мертвым, пьяным сном. В течение дня ему уже удалось обобрать чиновников. Во сне носятся перед ним в странном смещении все эти морды. Проходят перед ним вереницей кокетничающие женщины, ему кажется, что к нему так и тянутся дрожащие руки с подношениями, что на него валятся тучи конвертов со взятками.

Оправдана и мысль о сценическом изображении через главное действующее лицо, о том, чтобы показывать нам действительность через глаза Хлестакова.

Мейерхольд использовал это сначала, заставив нас посмотреть на сцену десерта в доме городничего через опьянение, а затем на пережитое Хлестаковым в курьезной стилизации пьяного сна.

Но разве это не смело? Разве это не расширяет техники сцены? Разве это не отводит нас от превосходной, но слегка надоевшей и, будем до конца правдивыми, немножко монотонной сцены с реальным появлением перед Хлестаковым одного чиновника за дру-

гим с подношениями? Пусть остается и та версия, но нельзя не приветствовать этой новой, в которой столько фантазии, хотя и нет никакой нездоровой фантастичности, ибо сон есть часть действительности. Сновидения некоторых типов могут лучше характеризовать их, чем их поступки в бодрствующем состоянии.

На такой же поразительной высоте находится небольшая сцена «Лобзай меня». Я уже сказал, что это настоящая комедия любви. Любовь, во всяком случае мещанская любовь, взята здесь в такой крутой критический переплет, прожжена такой азотной кислотой, что невольно волнение охватывает внимательного зрителя. Тут есть все—есть сладостная музыка, танцы, влюбленность и ревность, непостоянство мужской любви, женское кокетство, все те элементы, из которых соткана постоянно возобновляющаяся ткань любовной игры. И посмотрите, каким ужасом веет от всего этого! Этот посоловель, пьяный кадетик, бренчащий на пианинах, это сентиментальное пение, этот угар, эта фривольность, где скот так близок (Мейерхольд не испугался даже увести свою очаровательную Анну Андреевну за нуждой и заставить ее так испуганно побледнеть под напористым вопросом Хлестакова: «куда вы уходили!»)—это было бы непристойно, если бы это не было так метко. Это нужно именно для того, чтобы показать, какой ничтожной перегородкой отделено все это мнимое и пошлое «веселье» обывательской эротики от клоузета.

Смотря эту сцену, я с некоторой жутью думал, не замахивается ли здесь Мейерхольд вообще на любовь, вообще на всякую эротiku.

Но нет, это не надоевшая уже тоже христианская сказка о порочности всякой любви, так как она физиологична, и о мнимой декоративности и лживости всей надстройки над физиологией. Не по этой ложной линии идет Мейерхольд, он идет именно по пути размашистого гнева, расшибающего вдребезги издевательством бальную поэзию самцов и самок, прикрывающих свою грубую и грязную похоть шельфовыми

платьями, контрдансами и слащавыми звуками.

Дальше на некоторое время есть срыв. Картина «Господин финансов» мне не нравится. Она не убедительна. Может быть, следовало бы пойти дальше и изобразить настоящую сцену трагикомического народного горя. Но до этого Мейерхольд не дошел. Сцена с унтер-офицершей очень груба. По-моему, ее следовало бы изменить. Все остальное, повторяю, недостаточно оригинально. Нет в этой, по существу очень сильно задуманной, сцене, которая никогда не была в театре показана с подлинно Гоголевской силой, настоящего захвата.

Гораздо лучше «Благословение» и превосходна «Мечта о Петербурге». Это одна из лучших картин. Мейерхольд завалил сцену всякой гастрономической жратвой с иордансовской щедростью. Пухлые, сытые, самодовольно тающие супруги городничие, окруженные всем, что можно придумать на потребу брюха, брюхом грезят о своем будущем. С невероятной выпуклостью, которую я никогда не ощущал при чтении «Ревизора» Гоголя и на спектаклях, сделалось для меня ясным, что Гоголь сквозь сатиру на мелкое чиновничество, — конечно, с известными повестками всей самодержавно-бюрократической «невестке» — бил глубже в основное плотоядно-чревоугодное мирозерцание этой «толстозадой» Руси.

Что лежит в основе той непривлекательной редакции буржуазного мира, которую представляла собою эта «кондовая Русь»? — откровенное и даже не украшенное никакими фиоритурами чревоугодие, жратва. Вот слова, которые сложились Успенским и Щедриным, как постоянный фонд печальной российской симфонии: жрать, тискать женские тела, угарно надмываться над ближним своим, топтать его ногами, самому самозабвенно угодничать перед выше стоящими для того, чтобы иметь право еще жирнее жрать, еще круче топтать, — вот крепкий каркас миро-

созерцания и чиновников снизу доверху, и купцов снизу доверху, и, с маленькими исключениями, абсолютно всего общества. Мейерхольд со своей стороны доводит эту сцену до чего-то фламандского по округлости, по изобилию, по каким-то ручейкам топленого масла, которые омывают остров блаженных, где городничий с супругой, сидя между фруктами, окороками и битой птицей, летают на крыльях самой возвышенной плотоядной фантазии. И музыка способствует этому возвышению торжествующей свинной жизнерадостности. Но, с другой стороны, каркас-то этой тупой звериности сквозит здесь, словно вся сцена просвечена лучами Рентгена.

Превосходен и финал. Не говоря уже о великолепной подготовке падения четы городничих с высоты в глубину бездны и о разнообразии типов, о прекрасно организованной суете и толкотне до отказа переполненной гостиной, не останавливаясь на последних аккордах, взмахом волшебной палочки гениального режиссера Мейерхольд вдруг показывает страшную автоматичность, ужас наводящую мертвенность изображенного Гоголем все еще живущего рядом с ним мира. В то время, как группа безобразных кукол навек замирает, испуг этих уродов перед какой-то нависшей над ними громовой ревизией, — движение, которое их раньше одушевляло, проявляется в механизированном тупом тапце, в судорогах которого мечется через зрительную залу гирлянда всей этой человеческой нечисти. Разложив этот мир на покой и движение, Мейерхольд властным голосом художника-ясновидца говорит: вы мертвы, и движение ваше мертво.

Со спектакля уходил взволнованный радостью перед достижениями русского театра, и с жутким чувством многообъемлющей сатиры Гоголя на человечество, каким он его знал.

Вероятно, споры о «Ревизоре» еще продолжатся. Что же — посприим!

II. НАЧИСТОТУ

(Вынужденный ответ Лефу)

А. Безыменский

Нападать на Леф,—задача, мне лично неприятная, даже обидная.

В то время как идет отчетливо ясная консолидация правого крыла литературы, в то время как растет ново-буржуазная литература, а довольно близкая нам в творчестве Л. Сейфуллина оголтело нападает на критику, защищая таких кристаллических буржуазных писателей, как Эренбург и Булгаков,—в это время нападать на друзей и соратников—не хочется.

Однако это необходимо сделать, ибо Леф теряет общественную перспективу, ибо снова в его методах спора и «самоопределения» прорывается струя того невыносимого гениальничанья, которое мешает ему разбирать друзей и врагов, мешает ему крепко ходить по нашей простой и честной советской земле.

1

Одной из основных идей, которые не дают Лефу спать, является та идея, что вся литература идет от него, Лефа. Он, именно он,—самый революционный фланг литературы. Он безгрешен по части заимствований у кого бы то ни было. Все только у него учатся. И вообще достойна внимания только та литература, которая подражает Лефовской.

В таком именно плане и выступают Лефы за последнее время на диспутах.

Лефы жаждут самоопределиваться во главе литературы. «Самоопределяются» они не в борьбе с ново-буржуазной литературой, а в нападках на пролетписателей. Мы не хотим думать (хотя это иногда обидно напрашивается), что они это делают в порядке конкурентном. Мы хотим думать, что они честно считают себя единственным вождем и настоящим пупом литературы.

А вот это и неверно. Это и надобно раз'яснить, чтобы товарищески помочь Лефу понять его настоящее место и истинное значение в литературе, кото-

рые, конечно, никто не отрицает и не думает отрицать.

У И. Сельвинского есть исключительно интересное стихотворение «Наша биография»¹⁾. В нем он открыто и честно говорит о своем месте в литературе и революции. Мы проникаемся огромным уважением к личности поэта, сознающего, что иного пути, чем с пролетариатом, у него нет. Он не заявляет, что его место во главе пролетариата. Он осознал свое место *рядом* с рабочим классом, он жаждет найти свое место *среди* пролетариев, но не претендует с места в карьер на роль вождя.

Вот *такого* понимания своей роли и места у Лефа нет.

Да, Маяковский сломал метр классиков. Да, он обогатил литературу множеством богатейших ритмов. Да, у него учились и будут учиться.

Но зачем же, закрыв глаза и уши, отрицать, что многие его уже перешагнули; что многие научились синтезировать ломаный ритм со «старыми» ямбами, чего до сих пор *не* умеет Маяковский? Зачем отрицать, что Лефы сами учатся у пролетлитературы, в чем совсем не стыдно сознаться. Кому же не видно, что тематика Лефов, что их робкий и пока неумелый переход к человеку и будням человеческим идет от пролетлитературы, являющейся в этом отношении несомненным гегемоном.

А если взять поток стихов, имеющийся у редакций из провинции, то невооруженному глазу будет видно, что литература, идущая из низов, менее всего Лефом взрошена. Разве это не трагедия Лефов, что единственный его сын—С. Кирсанов, да и тот... от чужого. Действительным его отцом является И. Сельвинский.

Если эти замечания «уязвят» Лефов—втройне обидно. Никто их уязвлять не

¹⁾ См. разбор этого стих. в статье Лелюва в янв. книге «Нов. Мира».

«собирается. Но от показа истины мы тоже не собираемся отказываться.

2

Одним из любимейших Лефом способов доказательства, что он во главе литературы,—является выдергивание из произведений авторов других групп тех мест, которые похожи на те или иные отрывки из произведений Лефов. Делается это с таким видом, что у легковверных людей получается впечатление, что они-то уж, Лефы, безгрешны в этом на 150%.

Лично по отношению ко мне это сделал Н. Асеев в рецензии на мою книгу «Ордер на мир» в журнале «Новый Мир». Странно, конечно, что в виде примеров приводились мои стихи 1920 (двадцатого) года. Но это неважно. Обиды моей на Асеева никакой нет. Не отрицаю, что учился у Маяковского тоже и что в стихах двадцатого года были места, похожие на отрывки Маяковского.

На одной лекции Маяковский торжественно заявил, что он дважды подымал «сердце, как стяг» до того, как это сделал А. Жаров в стихотворении «Старым друзьям». Там и тут Лефы старательно подчеркивают эти якобы заимствования у них. Ладно.

Однако на секунду обратимся к произведениям Лефов,—хотя бы только к произведениям Маяковского, ибо он несомненный вождь группы, считающей себя вождем литературы.

С какой целью я это делаю—об'ясню ниже.

Вот место из стих. Маяковского «Не любилейте» («Известия»):

Глаз на мелочь—
приказ Ильича.

Надо
в каждой пылинке
будить уметь
Большевистского пафоса медь.

Быть может, это действительно приказ Ильича, но в литературе вопрос об умении «за каждой мелочью революцию найти» разработан отнюдь не Маяковским. Это место—списано у другого.

Вот место из стих. «Сергею Есенину». По поводу него написана самим Маяков-

ским целая статья в «Новом Мире». Статья, во всяком случае, интересная. Но обратим особенное внимание на заявление Маяковского, что он этим стихотворением, а особенно двумя последними строками, «перерезал» заявление Есенина, что «в этой жизни умирать не ново, да и жить, конечно, не новей». Вот эти две строки:

В этой жизни—помереть нетрудно,
Сделать жизнь—значительно трудней.

Однако сравним эти строки из стихотворения, написанного в 1926 году по поводу самоубийства Есенина, с двумя строками из моего стихотворения «О знамени и поросенке» (глаз на мелочь!), написанного в 1924 году по поводу самоубийства Кузнецова:

Умереть?—да это, брат, пустое!
Жить смог!—а это тяжелей.

Пусть Маяковский будет спокоен. Авторского гонорара я у него за эти строки не попрошу! Но... пусть Лефы поймут кое-что.

Конец поэмы Маяковского «Ленин» (1925) тоже почему-то очень схож с концом поэмы «Война этажей» (1924).

А вот интонация. Привожу отрывки из моей эпиграммы на... Маяковского «Ода скромности» («Комс. Правда»).

... Всегда и везде
орет
про это.
Про это...
как это...
про себя.
... Из гроба прочтет он
трехдневную лекцию
Про это...
как это...
о себе.

А вот отрывок «Письма к Горькому»:
Кажется, это вы открыли
«Мощи»..

как его...
Калининкова.

Интонация заимствована Маяковским. Пусть! Своему—не жалко.

Ах, какой этот Безыменский!—скажут читатели. Все про себя, если даже это и верно. Нехорошо все-таки...

Пусть поверят мне, что это делается не для самовосхваления. Обвиняю ли я Маяковского, я еще не сказал. А Лефы и меня, и других обвиняют в заимствованиях.

Однако что это? Вот конец стихотворения «Товарищу Нетте»:

Мне бы
 явить и явить,
 сквозь годы мчась
 Но в конце хочу,—
 других желаний нету:
 Встретить я хочу
 свой смертный час
 Так,
 как встретил смерть
 товарищ Нетте.

Где это мы слышали? А! У Багрицкого:

Так пускай и я погибну
 У Попова Лога
 Той же славною кончиной,
 Как Иосиф Кюган.

Не хотите ли от Сельвинского? Пожалуйста. По манере сравнивания подражаю в данном случае Асееву... И так, у Маяковского:

Навстречу,
 медленней, чем тело тюленьё,
 Пароход из Мексики,
 а мы туда.
 Иначе и нельзя.
 Разделение

Труда.

А у Сельвинского в поэме «Мотья Малхамувес»:

... Что вы смотрите, как какие-нибудь цу-
 ция:

Вы ввозили сюда, мы вывозим туда.
 В наше время, время революции,
 Нужно же какое-нибудь разделение труда.

Еще на секунду задержимся на стих.
 «Блэк энд Уайт»:

В Гаванне
 все
 разграничено четко:
 у белых доллары,
 у черных—нет.

Ай, ай, ай! А не Уткин ли писал
 как-то:

Мотэле чинит жилетня,
 А инспектор носит портфель;

или:

Мотэле мечтает о курице,
 А инспектор
 Курицу ест.

И ведь в словах

Белый ест
 ананас спелый,
 черный—
 глинью моченый,
 белую работу делает
 белый,
 черную работу
 черный

и во всем этом стихотворении ясно чувствуется веяние ритмики, темы и манеры Уткина в «Повести о рыжем Мотэле».

Все эти примеры не исчерпывают возможности подобрать новые и новые доказательства моей мысли. Их, впрочем, достаточно. Факт неоспорим. Даже Маяковский, — глав-Лэф, — заимствует строки, интонации и манеру у других, главным образом, у пролетписателей.

Следовало бы заняться подробнее вопросами формы у Лэфов. Это дело не мало бы нанесло зияющих ран кичливости Лефа его исключительным мастерством. Ограничимся указанием, что Лэфы пишут и презираемыми ими ямбами и честными хорями, а иногда загибают эдакий цыганистый размерчик, который не спасешь никакой разбивкой.

Не счет вести покойникам,
 Не оды дням писать,
 Опять за подоконником
 Темнятся небеса.

.....
 И дальше шаг свой выченаь
 В походные следы,
 Над выработкой ситчика,
 Над выплавкой руды.
 (Асеев: «Октябрь». «Известия»).

Попадают строки, за которые мы бы ругали даже начинающего:

Его прислали для проведения режима,
 Средних способностей, средних лет.
 В мыслях—планы, в сердце—решимость,
 В кармане—перо и партбилет.

(Маяковский: «Фабрика бюрократов»).

Но возвратимся к вопросу о заимствованиях.

— Придирки!—скажут Лэфы.

Отвечаю честно:

— Да. Может быть, и придирки.

У нас не разработан совсем вопрос о заимствованиях и подражаниях. У нас не разработан вопрос о сознательности и подсознательности заимствований. Мы мало задумывались над тем, хорошо или плохо сделал Гоголь, написавший гениальную вещь, но украсивший для нее тему у Нарезного. Или Лермонтов, из маленькой Пушкинской вещи сделавший поэму. Говорят, «победителей не судят». Почему? Попробуем

их судить. Может, мы их оправдаем. Но надо сознательно к этому подойти, если заимствование не является простым плагиатом, который, конечно, может вызвать лишь несомненное отвращение.

Вопрос туманный. Вот почему я и говорю:—Может, это придирки.

Если это придирки, *тем более* надо раз и навсегда отбить охоту у Лефы пользоваться такими «методами» доказательства своей вождистости, такими «методами» дискредитации других. Дискредитации не получится, а бревно сравнения больно ударит их самих. Ибо долго играть на неосведомленности читателей нельзя.

Маяковского я не виню. Но его безгрешность в заимствованиях—дугая. То же и у других Лефов.

3

Да и вообще упреки их в заимствованиях более, чем странны, равно как и многие другие упреки.

Есть у Лефов нетерпимость, заключающаяся в морали:—«Мне можно, а тебе нельзя».

Маяковский несколько раз обрушивался на меня за то, что я для поэмы «Война этажей» взял его (!) слово: «земшар».

Признаться, я долго недоумевал и продолжаю недоумевать.

И мне, и читателям помнится, что автор «Мистерии Буфф» приглашал всех, кому это захочется, перерабатывать его поэму, дополнять, изменять, в зависимости от изменения событий. Недвусмысленно можно было его понять так, что, например, Кирсанов, Жаров или Чихачев могут переделать поэму и пустить ее уже под своим именем.

В. Каменский мне и В. Сerezникову два часа говорил о лефовском принципе:—Бери моё, изменяй, выпускай,—не жалко.

А тут—одно слово! Неужели Маяковский обеднел? Ну, если даже обеднел, то сердиться за это незначит. Слово «земшар» услышал я и взял из комсомольской песни.

Говорил «бери», а дошло до дела—«не смей!»

А вот другие попреки, столь же странные со стороны Лефы.

Н. Асеев на страницах «Ленинградской Правды» обвиняет пролетпозетов в небрежно сделанных строках, в халтуре и пр.

Ну, товарищ Асеев! Если пролетпозэты и халтурят, то Лефы в этом отношении для них действительно непревзойденные учителя. На страницах «Известий» ряд ваших стихов, и особенно Маяковского, иначе, чем халтурой, не назовешь. Небрежность, трюизм, поверхностно взятая тема, тощий юмор—вот их отличительные черты¹⁾.

Интереснее всего вот что. Предположим, что Лефы бросились доказывать, что Жаровская халтура—действительно халтура, а их стихи халтурными не являются. Тогда Жаров, *по их же мере*, может гордо заявить:

— Это не халтура, а исполнение социального заказа на стихи, посвященные темам дня.

— Но они сделаны небрежно и плохо?

— Может быть. Вернее, нет. Вам плохо, мне хорошо. Но соцзаказ...

И пошла писать губерния!

Лефы любят говорить об агитационных стихах. Лично мой взгляд на них совпадает с мнением Лелевича (см. журнал «Комсомолия»). Агитки нужны. «Агитка» не значит непременно «плохое стихотворение». Работать над агиткой надо не менее добросовестно, чем над любым стихотворением. Люди, презирующие агитку,—эстеты, ничего не понимающие в задачах класса. Агитка—один из родов оружия поэтов революции, не менее нужный и важный, чем остальные.

Лефы плохо делают агитки, которые они на словах уважают. Тем обиднее, ибо великолепное «Письмо к Горькому» Маяковского заставляет думать, что он работает на два плана: план халтурный и план поэтический.

В лучшем случае большинство стихов Лефов в «Известиях» просто неважные стихи. Тогда пусть Лефы бросят требовать от других поэтов сплошных

¹⁾ Подробнее это разобрано в статье М. Р. в «Комс. Правде».

шедевров, да еще лефовского типа. Пусть честно сознаются, что невозможно давать гениальные стихи под ряд, и что бывают у всех и снижения, и срывы, и под'емы. Пусть честно сознаются, что снижений и срывов у них не меньше, чем у кого бы то ни было. Они не сверхчеловеки, ни, тем более, не сверхжиди.

Пусть не обвиняют других в халтуре. Им обвинение возвратится обратно. Получится плоскость взаимных обвинений, совершенно препятствующая действительно товарищеской, нужной нам, взаимокритике.

В низведении споров к взаимным обвинениям—*новичны Лефы*. Ибо они только ругают всех «прочих», тщательно замалчивают действительные достижения других поэтов или говорят о них вскользь. А по отношению к себе—как раз наоборот.

Ругать Жарова, но говорить только о поэме «Мекка», хотя бы действительно очень плохой, не упоминая поэмы «Гармонь» и ряда хороших стихов; ругать Уткина даже по поводу восьми (!) строк; ругать Доронина вообще и в частности; не упоминать вовсе замечательной поэмы близкого нам Багрицкого «Дума про Опанаса»; похлопывать этак по плечу (надежкики подает!) В. Саянова и то только потому, что у него много формальных приемов Лефа; ругать пролетписателей в отдельности и огулом,—вот отношение Лефа к пролетлитературе, по крайности, так, как оно проявляется в печати.

Что недостатки и промахи у пролетписателей есть—бесспорно. Но то, что обсуждение их у Лефов нетоварищеское—тоже бесспорно. Весьма вероятно, что я в оценке тех или иных произведений буду больше согласен с Лефами, чем с другими критиками. Но против упорной огульной хулы пролетарской литературы надо восстать решительно. Тем более, что умолчание о собственных недостатках зияет у Лефа непреложно.

4

Естественно предположить, что нападки на пролетписателей—только небольшая часть работы Лефа и что главная борьба их направлена против ново-

буржуазной литературы, против нашего общего врага.

К сожалению, этого нет. В этой области Лефы молчат. Иногда они поучают. Но всё тех же пролетписателей.

Маяковский обрушился на Уткина, говоря, что писать о гитаре вообще мешанство. А стихи Уткина начинаются так:

Не этой песней старой
Расотпанного дня,
Интимная гитара,
Ты трогаешь меня.

Можно спорить с последними строками Уткина, просящего любимую подарить ему гитару, если придет война. Уж лучше подарить что-либо другое для битвы с буржуями, даже если гитара когда-то подняла настроение уставшего эскадрона. Но не смотря в содержание, бухать о мешанстве—непозволительная передержка.

Маяковский ругает Жарова за «слинию ног», но не говорит, что мысль поэта в основном *правильна* и только жаль, что отсутствует ощущение другой опасности для девушек: опасности пудр, кружевцов и кармина. Маяковский безапелляционен:—А? Линия ног? Мешанство!—и точка.

В борьбе с литературой враждебной нам и чужой—Лефы молчат.

Нет, впрочем, иногда говорят. Но... лучше уж молчали бы.

Асеев в обзоре «Нового Мира» одобряет Спасского, поющего исключительно о «небес кристальном усмирном склоне». И тут же рассыпается перед «культурой стиха» Софии Парнок, гнусно-интеллигентская природа которой явствует из каждой ее строки.

Спасибо вам за такую «культуру вообще» и такую «культуру стиха»! Нет культуры стиха «вообще»!

Общественный горизонт у Лефов затемнен. Несомненно революционные в поэтической практике, они не имеют установки в области борьбы во-вне.

5

Лефы—соратники, друзья, Лефы—товарищи. Они ведут работу, нужную и литературе, и революции.

Однако:

Во многих вещах своих они срываются как революционеры («рыжим

крашено время»); они не безгрешны по части заимствований; они очень даже не безгрешны по части халтуры; нападают они почти исключительно на «пролетаров», как выражается Асеев; они не отрелись от зауми и формальных эквивоков; они учатся у пролетлитературы, но молчат об этом, нервно вздрагивая при упоминании об этом; теоретические вывихи у них бесспорны (отрицание и литературы, и театра, и кино, и всего на свете у Третьякова, теории Шкловского, «культура стиха» по Асееву; они, как группа, непрерывно «гениальничают»...

Леф не знает своего места, вернее, не хочет его знать, путает свои задачи, тупит свое оружие в нападках на «пролетаров», не борется направо. Нет у него честного признания, что он — одна из близких пролетариату групп, работающих, т.-е. и ошибающихся и срывающихся и не безгрешных.

6

В 1922—23 годах, когда создавалось напостовство и создавался ВАПП, нам пришлось, кроме основной борьбы с т. Воронским, выдержать несколько ожесточенных схваток с Лефом. Однако борьба скоро смягчилась и почти прекратилась, так как и Лефы и «пролетары» (в лице группы «Октябрь») увидели, что врагов здесь нет, а есть друзья, работающие для одной цели, но разными методами.

Было заключено соглашение ВАПП 'а с Лефом. До лета 1925 года, до резолюции Ц. К., борьба против капитулянтства отнимала все силы у ВАПП 'а. Соглашение с Лефом действовало, но не активно.

После резолюции Ц. К., Лелевич выдвинул проект Федерации Советских писателей, как левого блока ВАПП, ВСКП, Лефа, конструктивистов и близких нам попутчиков, хотя бы временно остающихся в рядах ВСП.

Но—произошло «18 Брюмера Луи Авербаха».

Леф часто терял руль и ветрила. Слабость, а за последний год полное отсутствие тесной работы с ВАПП 'ом повлиял на это решительно.

7

Леф потерял ориентацию.

Но пусть помнит Леф, что конечные цели и его и ВАПП 'а одни и те же. Ведь если даже создастся федерация с ВСП, все равно нам всем надо будет всячески сплачивать все революционные силы для борьбы с правыми попутчиками, для братского привлечения на нашу сторону промежуточных слоев писательства.

Пусть помнит Леф, что ВАПП (несмотря на его *авербаховое* руководство)—единственная организация писателей рабочего класса, в единении с которой он сможет правильной работать и вернее бить.

Осознав свое место и свои задачи, Леф сумеет найти в рядах ВАПП братскую руку для совместной работы.

Советская писательская общественность у нас отсутствует. Над созданием ее не работают по настоящему ни ВАПП ни Леф. А ведь им, плюс конструктивисты, плюс ВСКП (т.-е. левому блоку) и надлежит быть на этом поприще первыми работниками.

Пусть Лефы об этом тоже не забудут. Ибо их методы споров к этой цели не ведут.

Правда, и с другой стороны есть факты, препятствующие этому. К таким фактам я отношу отказ двух пролетписателей выступать с одним из Лефовцев. Я лично нахожу, что это явление того же невыносимого гениальничанья

8

Нападать на Леф—неприятно и даже обидно. Делать это все же приходится. Не мы виновны в этом.

Я думаю, что читатели видят, что это делается не для уязвления Лефов, ни, тем более, для их дискредитации, а для общей пользы.

Мы говорим Лефам:

— Для совместной борьбы с новобуржуазной литературой, для создания все равно необходимого сплочения революционных писательских сил, для совместной товарищеской работы и критики, для неустанного продвижения вперед,—руку, товарищ!

Дома и за границей

ЛИТЕРАТУРА, ИСКУССТВО, БЫТ, ПОЛИТИКА

1. В. ФРИЧЕ. Искусство Мамоны. — 2. А. ДЕРМАН. Замечательная книга. — 3. ФРОЛ СКОБЕЕВ. Литературный ларек. — 4. Н. КАРЖАНСКИЙ. Под часами. — 5. Б. КУШНЕР. Берлин.

1. ИСКУССТВО МАМОНЫ

В. Фриче

Так озаглавил Уп. Синклер свое последнее публицистическое выступление ¹⁾. Подвергнув раньше более или менее острой критике такие стороны американской буржуазной культуры, как школа, университет, церковь, пресса, он в этой новой книге ставит своей задачей осветить положение американского писателя в условиях капиталистической действительности. Содержание «Искусства Мамоны», впрочем, значительно шире, представляя краткую историю развития европейской и американской литератур с момента их зарождения, но наибольший интерес имеют для нас характеристики именно американских писателей, те, приводимые писателем, данные, которые рисуют их положение в капиталистической Америке и их установку на эту капиталистическую действительность.

Если писатель вышел из буржуазии и если он в своих произведениях идет навстречу вкусам и потребностям господствующей верхушки, то жизнь его — сплошное удовольствие, триумфальное шествие по земле, — слава, деньги — все к его услугам. Пример — Ричард Дэвис. Он выступил с романом «Искатель приключений», повествовавшем о рыцарственных похождениях молодого плутократа из 5 Авеню — это был очень ловкий комплимент по адресу якобы

исполненной всяческого благородства миллиардерской олигархии, и с тех пор Дэвис был и остался ее любимцем и баловнем. Ему платят бешеные гонорары не только за его романы, но и за его репортаж, например, о футбольной игре, за его военные корреспонденции, и т. п. Дэвис, впрочем, и не скрывает, во имя чего пишет. Однажды У. Синклер встретил его в кино, где демонстрировалась фильма, переделанная из его романа, и Дэвис в разговоре с ним заметил:

«Ну, вот вы пишете книги, потому что у вас есть что сказать, а я пишу, чтобы делать деньги».

Однако большинство американских писателей (вторая половина XIX в. и начало XX ст.) были связаны не с буржуазией, а с мещанскими и трудовыми слоями населения и общества. У. Уитлэн — сын столяра, в отрочестве рассыльный, потом наборщик; Марк Твэн начал свою карьеру плотником, лодчманом, рудкопом; Годэлль был в молодости наборщиком, потом репортером; Бирс — сын мелкого фермера; Генри — служил в аптеке, в банке; Дж. Лондон — сын сельского рабочего и т. д. Для этих, из низов вышедших, писателей жизнь была, конечно, не праздничной прогулкой, как для певца плутократии, Дэвиса. И потому есть что-то, как подчеркивает Синклер, — роковое, трагическое в судьбе американского писателя демократического крыла. Стефен Крэп, автор популярного в Америке романа «Сенатор», умер 28 лет от туберкулеза.

¹⁾ Уп. Синклер, — «Искусство Мамоны». Опыт экономического исследования. Изд. «Прибой». Ленинград. 1926.

Франк Норрис, автор трилогии о пшенице, погиб в 32 года от болезни желудка. Филиппс, бытописатель средних классов, автор романа «Сюзанна Ленокс», был убит каким-то сумасшедшим, когда ему было всего 42 года. Можно прибавить: Герни спился и погиб в 42 года; Джек Лондон, поднявшийся постепенно из бедных нищеты на высоты жизни, покончил с собой в 40 лет.

Так стирает американская машина жизни тех, для кого литература есть средство самоутверждения и служения обществу.

Какова должна была быть реакция этих писателей мелкой буржуазии на эту капиталистическую машину, которая их давит, калечит, уничтожает? Когда они выступили в середине прошлого века—индустриализм в Америке только еще намечался, как намечалось только что классовое расслоение общества—они (мы здесь дополняем Синклера для большей наглядности) приветствовали, как Уитмэн, эту новую Америку, столь мало похожую на феодальную Европу, как некую грандиозную шумящую кузницу труда, как единую «промышленную демократию», где человек человеку товарищ и брат. В 80 годах подобная социальная идиллия была уже явной утопией или—правильнее—архаизмом, и сам Уитмэн стал бить отбой, видя, как единая «промышленная демократия» раскалывается на два враждебных класса, об'явил индустриализм злом, призывая вернуться назад к мелко-буржуазному прошлому на основе относительного имущественного равенства. Такую же эволюцию от признания капитализма до его утопического отрицания пережил—как указывает Синклер—и Годэлльс. Выступая на литературное поприще во второй половине XIX в., это был благодушный, спокойно-уверенный мечтанин, считавший буржуазный мир лучшим из всех миров, сформулировавший свое и своих героев мироощущение в словах одного из них: «Я чувствую себя прекрасно в буржуазном мире. Я всегда умел хорошо зарабатывать и заботиться о моей семье. Глубоко верю, что это именно то, чего люди должны добиваться, а когда они этого не де-

лают, они сами виноваты». А к концу века от этой благодушной веры писателя-оптимиста не осталось ничего. Поэт «улыбающейся» Америки превратился в едкого сатирика капиталистической действительности, раз'едаемой социальными противоречиями («Путешественник из Альтрурии»). На склоне жизни Годэлльс, об'явил себя социалистом, но был всего-на-всего толстовцем, социальным романтиком, как и старик Уитмэн со взором вспять, обращенным в прошлое.

По мере роста—на рубеже XX в.—классовых противоположностей, по мере возникновения и роста социалистического брожения, мелкобуржуазный утопизм или романтизм Уитмэна и Годэлльса был обречен на отмирание. Мелкобуржуазное крыло американских писателей вступает на путь социалистической критики капиталистической действительности. Впереди идет Франк Норрис, изобразивший в своей трилогии (главным образом «Спрут» и «Омут») борьбу фермеров с железнодорожными трестами, и вообще против крупного капитализма. Романы Норриса зажгли своим примером молодых писателей из мелкой буржуазии. О их влиянии свидетельствует Синклер: «Я был поражен таким новым откровением. Многие из более молодых писателей вместе со мной тогда загорелись от этих романов. Я говорил себе: вот сила, вот новый подход к действительности, вот как надо писать романы». Под влиянием (отчасти) Норриса, автора «Спрута», перешел от рассказов о сильных одиночках к социальному роману Джек Лондон, автор «Железной пяты» (много интересных черт для характеристики Лондона можно найти в этюде, посвященном ему Синклером) и, прибавим от себя,—сам Синклер, изменивший семейно-половому жанру своих романов—во имя широких социальных картин. Между тем, как одно крыло мелкобуржуазной литературы—Норрис, Дж. Лондон, У. Синклер—искало выхода из противоречий капиталистической действительности в «социализме», в котором было немало мелкобуржуазных ингредиентов, в виде пессимизма, филантропии, веры в спасительную силу

слова и т. п., другое—совершенно чуждое всяких социальных уклонов,—культивировало не социальный роман, а новеллу, облакая в эту форму переживания более пассивных мелкобуржуазных групп, которые или преодолевают тягостную для них социальную действительность юмором, или же, не имея сил ее преодолеть, упираются в более или менее безнадежный пессимизм. Генри представляет собой первый вариант—чувствуя вместе со своими героями часто всю тяжесть капитала, он, не отрицая капитализм, но не имея в то же время представления о социализме, превозмогал горечь жизни улыбкой, улыбку разбавляя печалью. Другой мастер новеллы, которому Синклер посвящает наряду с Генри этюд, А. Бирс всю жизнь воевал против капиталистической Америки—Америки «взятчиков и мошенников»—вплоть до мужественного протеста против мировой войны, и в то же время столь же неустанно и беспощадно шел походом против социалистов, ненависть к которым у него доходила до мании. Из неразрешимых противоречий жизни у него остался только выход (если это выход) в пессимизм, в превращение буржуа в вечную категорию, в общечеловека, а свойственные ему качества—жадность, жестокость, эгоизм и т. д.—он превратил в неизменные и неистребимые качества человеческой природы вообще. Еще отчетливее звучит эта пессимистическая нотка в рассказах третьего мастера новеллы—Шервуда-Андерсена, о котором Синклер, впрочем, упоминает лишь вскользь (в этюде о В. Моррисе). Ополчаясь против механизации жизни, против индустриализма, даже против пролетариата, Ш.-Андерсен, приправляя свой пессимизм зрелищной, ограничивается изображением жизни обывателя-одиночки, запертого в своей скорлупе.

В своей книге «Искусство Мамоны» Синклер, естественно, не говорит о себе самом, но является странным, почему он не нашел нужным в этой книге показать, как из-под этого пласта мещанской литературы, где гаснет былой юмор Генри и воцаряется угрюмость Шервуда-Андерсена, пробиваются ростки новой литературы — литературы

восстания и бунта, с одной стороны, негритянской, с другой—пролетарской.

Между тем, как во второй половине XIX в. негр был только еще объектом литературы сначала в романах Бичер Стоу (где проблема рабства трактовалась с точки зрения аболционизма Северных Штатов) и Симса (где она освещалась с точки зрения плантаторской философии южан), а затем в классических в своем роде повествованиях Чандлера Харриса о быте, нравах и верованиях негров, на рубеже XX в. негр становится уже субъектом литературы, появляется все больше негров—прозаиков и поэтов, среди последних Клод Мак Кей, член компартии, побывавший потом в Советской России. и также умалчивает Синклер о пролетарском крыле. Группируясь, гл. обр., вокруг журнала «Liberator», она состоит отчасти из подлинных пролетариев, отчасти из интеллигентов—социалистов, синдикалистов и коммунистов. Несколько лет журнал редактировал Майкель Гольд, еврей по происхождению, работавший в шахтах, на фабриках, на железной дороге, организовавший не одну стачку, между прочим стачку грузчиков-негров, в 1918 г. записавшийся добровольцем в Красную гвардию, но только в 1924 г. побывавший у нас. Некоторые из его рассказов—среди них пара с теплым отношением к неграм—имеются в русском переводе ¹⁾. Растут с каждым годом и кадры поэтов пролетариата. Здесь представлены все национальности—швед Карл Сэндберг, грузчик и батрак, автор «Стихов о Чикаго» и «Дым и стали», итальянец Джованити, написавший в тюрьме, куда попал за организацию стачки, свою поэму «Шаги», украинец Фримэн, член компартии, организатор американской секции пролетписателей и др. ²⁾.

В формальном отношении это пролетарское крыло американской поэзии продолжает традиции Уитмэна, пользуясь его свободным стихом, сближен-

¹⁾ М. Г о л ь д.—«Проклятые агитаторы» и др. рассказы. Изд. «Недра». Москва. 1925.

²⁾ Отрывки из произведений этих поэтов помещены в составленной П. С. Коганом антологии: «Революционная поэзия Европы и Америки», которая в скором времени выйдет в свет.

ным с прозой, облекая, однако, в эту форму иное содержание—не единую мирную промышленную демократию Америки, а нарастающее восстание пролетариата против капиталистической системы эксплуатации.

И когда вы прислушаетесь к этим бодрым, снизу идущим голосам, к этим голосам, которые звучат все громче и увереннее, вы отчетливо чувствуете, что эти пролетарские прозаики и поэты в сущности лишь выполняют завет, обращенный Синклером к американским писателям, осуществляя на деле те слова, которыми он закончил свою книгу «Искусство Мамоны».

«Идите навстречу новой нарождающейся жизни. Примите участие в бою

и выразите его в вашем новом искусстве, окажите этим услугу новой читающей публике, которую вы сами себе создадите. Ваш творческий дар не должен удовлетворяться тем, чтобы создавать лишь произведения искусства—вы можете и должны создавать вместе с тем новый мир, новые души людей, стремящихся к новым идеалам солидарности, новые импульсы любви и веры, не только надежду, но и твердую решимость к борьбе».

И потому тем более странно, что в своей книге об американской литературе Синклер не уделил внимания и места этим всходам в Америке нового словесного искусства.

2. ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ КНИГА ¹⁾

А. Дерман

Второй том «Дневника» В. Г. Короленко заключает в себе его записи с 30 мая 1893 года по 29 декабря 1894 г. На этот период времени приходится два значительных события личного характера в жизни писателя,—его продолжительное путешествие по Европе и Америке и смерть дочери,—и одно событие в русской жизни—смерть Александра III и перемена царствования. Этими обстоятельствами обусловлено отличие данного тома «Дневника» от предыдущего, да и от последующих, подготовляемых к печати, но знакомых автору этих строк. Во-первых, по форме своей записи настоящего тома являются в значительной части именно подневными, в которых Короленко старался закрепить быструю смену глубоких и разнообразных впечатлений; во-вторых, здесь читатель найдет немало страниц, посвященных изображению личной жизни, личных переживаний писателя, наряду с обычными для его дневников записями, отражающими факты и течения русской общественной

жизни. То и другое делает II том «Дневника» книгой исключительного интереса.

Она открывается записью, которая очень много даст внимательному читателю в смысле уяснения всего духовного склада Короленко и всего его творчества, если при этом читатель усвоит себе одну характерную особенность его личности: Короленко был необыкновенно сдержанный человек. Владевшие им чувства были глубоки и интенсивны, но, выражая их, он никогда не преувеличивал и всегда склонен был эти внешние проявления уменьшить.

Запись, о которой я говорю, относится ко времени его сборов к путешествию в Америку, когда он отвозил свою младшую дочь (ей было полтора года) к родственникам в Саратовскую губернию. Привожу ее почти целиком.

«В Сызрани опять садились переселенцы (каждый раз я застаю здесь целые партии переселенцев) из Черниговской губ. Их взял «Ратьков», плохонький Самолетский пароходишко. Набили на палубу, как селедок. Плач детей, усталые и как будто испуганные голоса женщин, на реке ветер и темно-

¹⁾ Владимир Короленко. Дневник 1893—1894 г.г. Том II. Государственное Издательство Украины. 1926 г. Стр. 352. Ц. з. р. 56 к.

та. Мне сделалось очень грустно, особенно потому, что я со своей девочкой... Она в первом классе, здорова и весела, но воображение настойчиво и невольно переносит ее для меня—в ту же обстановку и мне жаль этих чужих, точно свою. Думаю, всем родителям понятно это чувство. Я оделил деньгами сколько мог из этих плакавших на берегу детей. Они уже знают цену этих светленьких штучек, от которых теперь так сильно зависит их жизнь. Сколько из них доедет до места?

Вечер был сырой, мгlistый и очень темный. Пароходы казались просто кучками огней, и покачивало теплым, впрочем, ветром, от которого плеск и скрипение снастей стояли по всему излучистому берегу сызранской воложки. Когда я вошел на нашу пристань, возвращаясь с Самолетской,—тут горячился какой-то полный полицейский, ругая отлучившихся куда-то городских. Оказалось, что на пароходе Зевеке внезапно помешалась женщина. Она ехала с мужем и двумя детьми в Астрахань. Стояла у окна, где ее опануло ветром, и вдруг упала. Ей sprыснули лицо водой,—и она очнулась безумной. Их ссаживали на пристани при мне. Плохонький напуганный мужичонко, нагруженный вещами, небольшая, лет 8, девочка, худенькая и бледная, и сама больная (ее вели 2 матроса). Она была очень бледна и говорила каким-то ровным голосом:

— Христос воскресе, воистину воскресе. Ничего, ничего. Христос воскресе, воистину воскресе...

Я дал мужу 3 рубля, второпях сунувши их ему в руки. Он принял, заплакал, пытался поблагодарить, но нужно было итти... Их усадили в повозку и повезли в земскую больницу.

Я вернулся и застал свою девочку беспечно спавшею в 1-м классе. Я прижал к своим губам ее маленькую ручку. И странно: я испытывал в это время чувство глубокой жалости именно к ней. Думаю, что это была жалость, принесенная в сердце с Самолета и с пристани, но в значительной степени она относилась и прямо к ней. В такие минуты особенно ясно ощущаешь, что все мы, довольные и счастливые, роковым

образом, коллективно виновны перед всеми несчастными, в том числе и этот чистый, невинный и беспечный ребенок, лежащий среди довольства, обилия и ласки в то самое время, когда рядом плачут на ветру и в темноте такие же неповинные дети. И мне было жалко мою дочь... За что же на нее ложится часть этой великой вины, в которой никто из нас не участвовал сознательно?.. А между тем, не им ли, не этому ли поколению, теперь еще дремлющему в своем детском неведении, придется вынести всю тяжесть вопросов, которые мы мнили разрешить еще так недавно?.. И известная евангельская башня обрушилась ведь тоже не на виновных...

Странное, необычайное и удивительно сильное настроение в одном и том же роде приходится мне переживать вот уже второй раз на этой именно сызранской пристани. В первый раз это было ясным, прелестным днем, теперь—темною ночью. Но содержание в обоих случаях совершенно одинаково. И главное в них—моя дочь (тогда это была Соня, и именно в том же возрасте) и чужие дети в переселенческих таборах. Из этого—какое-то странное, шемящее предчувствие будущего, не скажу, чтобы угнетающее или пугающее, но торжественное и значительное, с примесью грусти. Впрочем, я совсем не суеверен и хорошо понимаю, что это во мне говорит не мистическая «тьнь будущего», а разные комбинации в настоящем... С каким-то чувством прочтут когда-нибудь эти строки мои дети, и будут ли им понятны наши ощущения? Хочется верить, что да, что их жизнь будет продолжением лучших ожиданий нашей... Хотя так часто теперь история отцов и детей повторяется навыворот. Я чувствую, что это не должно быть в моей семье, но ведь и все родители, вероятно, это тоже чувствовали и ошибались... Это—самое определенное из возможных несчастий для человека, имеющего детей—и убеждения!..»

Все мы, приученные сопоставлением творчества писателей и их жизнеописаний к такому узаконенному явлению, как двойственность личности писателя («Пока не требует поэта в священной

жертве Аполлон»...), с невольным изумлением обнаружим, пользуясь приведенной записью, что в личности Короленко такого рода двойственность не то, что отсутствует, а является, так сказать, обратно преобразенной: социальный пафос его произведений, столь характерный для всего его творчества, явно отстает от той силы чувства, которая проникала его жизнь в ее интимных, непубличных проявлениях. В применении к Короленко недостатком говорить о глубине и непосредственности чувства, но непременно надо помнить при этом и о продуманности его чувства и о прочувствованности его мысли, как о главных особенностях всего склада его натуры. О том и о другом с удивительной выразительностью и художественной законченностью говорит и приведенная запись. Она же дает драгоценный материал для характеристики его другой важной особенности: склонности, с одной стороны, глубоко и резко усвоить индивидуальное впечатление, с другой же стороны—обобщить его, сделать из него выводы широкого охвата, ввести в систему своего мировоззрения: как далеко, в самом деле, ушла мысль автора дневника, отправляясь от этого случайного эпизода, буквально на ходу воспринятого на сызранской пристани!

Чрезвычайно поучительны те страницы дневника, где Короленко подходит к явлениям, имеющим давнюю и притом традиционную, своего рода каноническую, репутацию. Глаз вдумчивого художника и острая, упорная мысль наблюдателя неожиданно воспринимает такие явления с новой свежей стороны, необыкновенно самостоятельно и своеобразно. Таких страниц в дневнике множество, но по необходимости приходится здесь ограничиться одним—двумя примерами.

Кому не доводилось встречаться с противоположением красоты дикой и нетронутой природы — безжизненной скуке—природе окультуренной, выглаженной, обезличенной? Эти вздохи по умирающей романтике, по девственной красоте, разрушаемой пошлой цивилизацией, давно уже приобрели характер узаконенного эстетического шаблона.

И вот что остается от него под пером художника, как раз создавшего столько классических страниц дикого и первобытного пейзажа.

Короленко—в поезде, по дороге из Лондона в Ливерпуль.

«... Здесь уже нет угла, не обработанного, не измененного, не сглаженного человеком, нет дерева, не посаженного или не пересаженного человеческой рукой. Когда вы смотрите вдаль, кажется, что вся она занята лесами: синее всюду могучая, зрелая, темная зелень. Вблизи—все только поля, но сплошь изрезанные по всем направлениям живыми изгородями из старых деревьев. Вот бежит дорожка,—это целая аллея. Вот—котэдж,—это беседка в саду. И всех этих изгородей, аллеек, куп разной зелени—такое множество, что она вся сливается в одну синюю, будто лесную даль... А речка... ни одна из этих речушек, ни один аршин их берегов—не оставлены в прежнем, естественном их виде: все это выровнено, направлено, регулировано человеком.

... Но есть ли красота в этом «отделанном» пейзаже? Есть, несомненно. И мне теперь начинает казаться, что романтизм «пустынной нетронутой природы»,—которым и я грешу в весьма значительной степени,—отчасти носит печать русского происхождения. По многим причинам наше влияние на природу сказывается тем, что мы разрушаем, а не преобразовываем. Где был могучий бор—остались пеньки. И мы говорим—вот влияние человека... Здесь не то: здесь природа преобразована, но не истощена, не разрушена. В этой стране явился отпечаток человеческого труда и духа,—сам могучий, как стихия, и страна превращена в один сад, обильный и цветущий. И когда над ним сверкает солнце, когда над ним ширится туча, когда несетя над ним гроза, когда синие потоки ливня закрывают ее холмы и равнины, чтобы опять уступить место золоту солнечных лучей,—та же божия красота сияет над ней, освещая кроме стихийных обычных явлений, еще и новую стихию—творчество человека, изменившего самый облик страны»...

Близко к той же мысли подходит Короленко и в записи, где изображена стихийная красота фосфоресцирующего океана, которому противопоставлена другая «стихия» — пароход. Чрезвычайно интересен, с точки зрения склонности писателя противопоставлять самостоятельное суждение штампу ходячих понятий — его отзыв о практической деловитости, продажности и рекламной шумихе, якобы исчерпывающих все содержание и весь характер американской прессы. К тому же разряду ходячих штампов относит писатель и горделивые отзывы об американской полуобразованности. Короленко сумел подойти к этому явлению с совершенно новой стороны. Рассказывая о неожиданном успехе, который имели среди пароходного общества его беглые карандашные рисунки, он замечает по этому поводу:

«Этой дешевой славой я обязан более всего американцам и американкам, у которых легко прослыть и ученым профессором, и академиком, и чем хотите. Для этого достаточно пачкотни в роде моей. Разумеется, эта дешевая слава не доказывает, что у них нет настоящих ценителей, знатоков и ученых. Но только, — у них целый океан толпы. Все, что у нас и не пытается пред'являть свое мнение в таких вопросах, — у них судит и рядит свободно. Плохо ли это? Не думаю. Это полуобразование, что бы там ни говорили, — много лучше полного невежества, и так как оно не исключает и настоящих вершин культуры — то и бог с ним! Гора не станет ниже от того, что к ней подымаешься по едва заметным отлогостям, — и мне кажутся бессмысленными крики против полуобразования, как будто возможно сразу какое-то целое образование!»...

Чрезвычайно своеобразное впечатление в отношении тех неожиданных мыслей, сближений и обобщений, какие здесь высказаны, производят те страницы дневника, где автор его (как это характерно для упорной склонности Короленко «продумывать» свои ощущения!), плывя в океане на пароходе, анализирует состояние человека, именуемое морской болезнью. Короленко почти с парадоксальной смелостью сво-

дит эту болезнь к болезни души и при том... социального порядка!

«Матрос, капитан — для них здесь работа, им близки все перемены ветра и волны, они с каждой такой переменной связывают свой образ действий. Море и его погода для моряка — то же, что земля с ее дождями и засухами для земледельца. Нам кажется, что мужик не наслаждается природой, но это неверно: он живет вместе с нею, для него то, что мы выделяем, обособляем в своем сознании, как наслаждение природой и ее внешними красотами, — для него это атмосфера души, которой он живет все время. В тех же отношениях находится моряк и море. Удалите привычного человека от земли или от моря, — и вы увидите, как они оба станут поэтами покинутой стихии. А пассажир, потерявший ощущение этой поэзии, вылетающий воображением за пределы своей каюты, ограничивающий свою душевную сферу пределами бортов парохода — самое скучное и несчастное существо, живущее от обеда до обеда... А между тем эта праздная жизнь без участия в какой бы то ни было работе, — повемному притупляет сознание. Мне часто приходит в голову сравнение: земля — корабль, несущийся в беспредельном океане. Сознание этого соседства — фон и поэзия религиозного чувства. Оттого оно, это чувство и наиболее интенсивно и легче всего утрачивается в «высших классах». Рабочие люди, «занятые на корабле» неустанным делом, носят его в себе почти бессознательно, сливая и перемешивая это ощущение с тысячами практических дел и мелочей. А «пассажиры» земли, ее праздные и свободные классы, — то отдаются ему со всем жаром свободной нервной системы, то оно в них тупеет, и ощущение всего света, как пространства в четырех стенах, — овладевает ими до отупения, до тоски и отчаяния. Тогда то «морская болезнь», называемая всякими именами, охватывает нас с особенной силой и так хочется покончить с этим скучным путешествием»...

Значительную часть второго тома дневников занимают записи личного и семейного характера, в частности — вызванные смертью дочери писателя. В на-

стоящей заметке мы оставляем их в стороне, потому что, будучи вырваны из связи их между собою, они в форме изолированных, по необходимости, цитат не дадут читателю мало-мальски верного представления о том важном процессе душевной жизни Короленко, какой нашел себе отражение в дневнике. Ограничусь лишь одной записью, в которой В. Г. запечатлел первое свое ощущение после получения телеграммы о поразившем его горе:

«14 сентября в 7 ч. утра в Париже ко мне постучали в дверь и подали телеграмму. Помню, что я задержал гарсона, пошарил в кармане жилета, висевшего на спинке стула, достал отсюда несколько монет и передал в дверь для разносчика. Не знаю, хотел ли я сознательно отсрочить чтение телеграммы (ответ на мой запрос, вызванный глухими известиями о болезни моей Лели) или только уже теперь я переношу на эти минуты утренней полутьмы и полудремоты весь ужас последующих минут, но только мне кажется, что мне было холодно, что я дрожал и мне было как будто жалко себя. Кто-то, невидимый в темном коридоре, подавший телеграмму, ждал, пока я лихорадочно искал денег и зажигал свечу, потом кто-то принял деньги и чьи-то шаги, тихие, замедленные, слышны были в коридоре, когда я вскрыл телеграмму и прочел, что моя девочка умерла. Помню, что мне не верилось. За что же они, незнакомые, кому я дал сейчас деньги,—за что они так страшно поразили меня этим клочком синей бумаги?.. Бедная моя девочка,—я сам своими руками увез ее, слепой, не зная, что везу на смерть. И она так плакала, прощаясь, так цеплялась ручонками... Ну, будет об этом. Мне казалось, что до этой минуты я еще не знал горя в своей жизни. Когда-нибудь, может быть, вернусь к своим ощущениям этих дней. Теперь еще трудно».

К этим ощущениям Короленко возвращался не раз, всегда и неизменно в свойственном ему духе, выше уже охарактеризованном: стремясь продумать до конца охватившее его чувство. Именно на этих страницах мы и встречаемся с редкими в общем у этого писателя по-

пытками дать свою философию в форме отвлеченных размышлений, а не конкретных образов, что было ему более свойственно.

Довольно много страниц отведено в настоящем томе ряду явлений русской жизни, связанных со смертью Александра III. Здесь и описание того, как «подготавливали» Россию к сообщению об этом событии, и того, как фактически встречено было обществом и народом сообщение о смерти, и характеристика Александра III и его эпохи, и изображение настроений, связанных с переменой царствования, и характеристика тогдашнего общества вообще, тогдашней прессы и т. д. За всем этим Короленко наблюдал с самым напряженным интересом, не довольствуясь отражениями этих явлений в письмах, случайных встречах и в прессе, стремясь своими глазами и ушами видеть и слышать происходящее в его подлинном, неприкосновенном различных условностями, виде. Временами при чтении этих страниц дневника невольно чувствуется, что целью писателя было не только выяснить для себя лично события этих дней, но и противопоставить неподкупное свидетельство наблюдателя-очевидца—морю казенных или условных причитаний, какими тогдашняя придавленная и глухая Россия встретила смерть тяжеловесного царя, и это неподкупное свидетельство современника закрепить для будущего.

Записи Короленко данной поры складываются в картину весьма определенную. Прежде всего он настойчиво подчеркивает полное равнодушие общества и особенно народа к смерти царя. В доказательство он приводит целый ряд иллюстраций. Он нарочно ходил по петербургским улицам, прислушивался к толкам, вызывал на разговоры, заходил в церкви,—езде видно было равнодушие и простое любопытство. «В Казанском соборе,—много свечей горело за упокой у распятия, поставленного в память «чудесного избавления 17 октября». Замечательно, однако, что свечи ставили больше всего культурные, видимо, состоятельные женщины,—купчихи, чиновницы... В 20 минут, проведенных мною в этот раз

в соборе,—я не видел ни одной «простонародной» фигуры, ставящей свою свечку».

О самом умершем царе Короленко отзывается так:

«Это был второй Николай I по отсутствию чутья действительности и по непониманию обстоятельств. Он знал одно: против всякого положения «либеральной эпохи»—он выдвигал противоположение, где только мог. Он выдвигал обиженного реформой помещика, упрямо противился образованию, устранил закон, писал «молодец!» на барановских донесениях о безобразной и незаконной порке обывателей и довел реакцию до той точки, где начинается уже пассивное сопротивление самой бессознательной среды: начали уже бить его земских начальников на сельских сходах, а число отдельных бунтов, вспышек и беспорядков возросло до таких размеров, каких не бывало в конце крепостного права. Бунт военных поселений—шутка перед нашими холерными беспорядками 1892 г. и—ничего подобного Россия не видала со времени Пугачова и волжской вольницы».

Естественно, что при таком отношении Короленко к окончившемуся царствованию, его удивляет и оскорбляет хор фальшивых словословий по адресу умершего царя. «...неискренность, условность и сервиллизм перед недавним властелином—сбивает с толку и заглушает самый голос жизни. Можно подумать, что Россия жаждет одного,—продолжения старого: мужик хочет, чтобы его били, земство,—чтобы его устранили, думы,—чтобы их отдали в опеку администрации, разночинцы,—чтобы их детей лишили права на образование, и вся Россия,—чтобы на нее окончательно распространили правила усиленной охраны, и без того устранившей законы в половине страны».

Днем позднее, в записи, посвященной «надеждам» общества на нового царя, Короленко скептически замечает: «Общество ждет и надеется. Чего ждет и на что же надеется? Само не двинув пальцем, само не смея не только требо-

вать, но и просить и не только просить, но хотя бы пассивно, достойной сдержанностью выразить свое отношение к тому направлению, которого представителем был Александр III,—оно тем не менее ждет либеральных реформ и надеется на то, что их даст «молодой царь». Самые овации реакционному царствованию покойного государя—многие желают оправдать побуждениями тактическими: видите, как мы смиренны, как мы лояльны, как мы преданы... Итак,—дайте! Но ведь *дать*—значит, кое-чем поступиться, а поступаются только под давлением обстоятельств и требований... Силы, которая бы *взяла* у неограниченной монархии свое, нет,—и, конечно, пока о конституции едва ли может быть и речь»...

В приведенных мною отрывочных цитатах заключается лишь слабый намек на богатое содержание замечательной книги. Мне пришлось оставить в стороне целый ряд тем и явлений, получивших яркое отражение на этих страницах дневника одного из самых глубоких наблюдателей русской жизни конца XIX и начала XX века. Здесь проходят перед нами целые картины русской общественной (преимущественно провинциальной) жизни, отдельные фигуры и портреты выдающихся людей и рядовых, но характерных для своей среды, обывателей. Административная «деятельность» губернских сатрапов, гневно набросанная картина обыска, цензурные анекдоты из жизни столичной и провинциальной прессы, и т. д. и т. д.

Это—не только увлекательная книга для чтения. Это отныне книга, необходимая и для историка нашей общественности, и для изобразителя нашего быта. С нею необходимо познакомиться каждому, кто ищет сознательного отношения к нашему прошлому.

Настоящий том, как и предшествующий, тщательно отредактирован, снабжен пояснительным вступительным очерком, необходимыми подстрочными примечаниями и алфавитно-предметным указателем.

3. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЛАРЕК

(по книгам, журналам и газетам)

Фрол Скобеев

О Федоре Гладкове и новейших достижениях техники

В повести «Огненный конь» (изд. «ЗИФ», 1926) читаю: «Марина смотрела... *зрелищными* глазами» (стр. 24).

В свое время глаза героинь могли только метать молнии, а теперь у Гладкова они уж греметь начали.

Что ни говори, а отечественная техника значительно совершенствуется.

Еще о технике

А вот т. Кораблев в повести «Четверо и Крак» (изд. «ЗИФ», 1926) заставляет своих героев-комсомольцев варить кипяток. На стр. 85 так и говорит, что они «утром... сварили кипятку».

К сожалению, он не указывает, как это делается, но надо думать, что такое кушанье готовится не иначе, как из воды, только не из той, которой пропитана его повесть, ибо из этой последней даже высококвалифицированный спец ничего не сварит.

Тайны Мадридского двора или охальная история

Очень замечательно пишет Даниил Крептюков. Вот небольшой, но благоуханный отрывок из его книги «Поджигатели» (ГИЗ, 1926):

«...старая тетка история гмыкнула себе под нос... Матюкнулась в неизмеримые, исторические пространства глупости людской... Потом поднялась с того места, на котором сидела. Толстую мякоть оголила... Вонючей жидкостью порснула фонтаном прямо в рожки... Потом мякоть вытерла ворохами бумаги, на которых были вписаны умные мысли...»

Оказывается, какая охальная эта самая тетка история, и чего Крептюков с ней связался—не понимаю, не пришлось бы ему жалеть об этом, когда и его «Поджигатели» пойдут в числе прочих «ворохов бумаги» и притом—в первую очередь.

Итальянизированный «Ревизор»

В № 76 «Вечерней Москвы» ознакомился с некоторыми принципами постановки «Ревизора» в театре им. Мейерхольда.

Оказывается, как сообщил Мейерхольд в беседе сотруднику газеты, «связь зрительных представлений Гоголя с формами, выработанными живописцами итальянского Возрождения, вынуждала» Мейерхольда во время его заграничной поездки изучать для постановки «Ревизора» «созданных итальянских мастеров, наиболее ценных Гоголем, с целью *выдержать стилистическую трактовку его образов в согласии с собственным зрительным каноном автора*».

Справился во второй ступени. Там сказали, что «Ревизор» написан в 1835 году, а Италию первый раз Гоголь посетил лишь в 1837

Видать, не в то место Мейерхольд заехал! Путешествие во вторую ступень было бы и дешевле и полезнее, тем более, что от «зрительного канона» (?) Гоголя в мейерхольдовской постановке остались одни рожки да ножки.

Новое о буржухах

Помирала одна буржуйка и, представьте, дорогие товарищи, у нее, как описывает Гумилевский в романе «Харита» (Изд. «Молодая Гвардия», 1926): «Из синих губ... медленно выкатывалась *мыльная пена*».

Однако автор не указал, какое она обыкновенно мыло ела, надо думать—туалетное, копеек по шестьдесят кусок.

О Львове-Рогачевском и формальном методе

От бессонницы раскрыл «Новейшую русскую литературу» (3-е издание!) вышеуказанного критика. Читаю:

«При занятиях по литературе мы должны сочетать марксистский метод с достижениями *формальной школы*» (стр. 3).

Очень хорошо. Читаю дальше. Вот и результат его работы над формой акмеистов:

«... все эти заковыристые (!) словечки не шевелят (!) сердца» (стр. 282).

Кратко, но вразумительно. Означенный формальный анализ мог быть произведен не иначе, как с помощью кухонного ножа.

Собачья жизнь

Мих. Козырев в своей «Повести о собаке» (журн. «Новая Россия», кн. 3, 1926) столь увлекся параллелью жизнеописания собаки Трезора и писателя Худосеева, что взял, да и написал:

«Худосеев отрицательно машет головой».

— Это ли не беззастенчивый плагиат собачьих функций!—сказал бы Трезор, прочтя такую фразу, и огорченно покачал бы хвостом.

Дамское рукоделие

«Вера вступила в Красную гвардию. Каждый день водили на ученье за город—учили, как обращаться с винтовкой... и кидать бомбы. Мишенью служили телеграфные столбы».

«... вдруг тревога:

— Наступают белые!..

«Партизаны... открыли огонь. Ложиться было невозможно—кругом вода (стояли глубокие лужи), но некоторые все-таки легли прямо в воду. Андрюша стрелял, держа винтовку подмышкой».

Читатель, ты думаешь—это октябреньки в солдатике играют? Ничего подобного! Это—описание гражданской войны, старательно состряпанное Славской и Горкиной в рассказе «Коммунарка Вера» (ГИЗ, 1926).

Экие, право, они вояки. Полагаю, что им чаще приходилось слушать шум примуса, чем гул орудий и треск перестрелки.

О межпланетных путешествиях

Межпланетные путешествия наши романтисты совершают куда чаще, чем полеты на аэроплане, ибо они бесплатны и безопасны—дальше письменного стола все равно не улетишь.

Тем не менее межпланетные романисты отлично знают быт этих самых мар-

сов и прочих юпитеров, а во вселенной они—как в пивной с приятелем.

Вот, например, Александр Ярославский в своем романе «Аргонавты вселенной» (изд. «Биокоосмист», 1926) пишет:

«Небо, беременное солнцами (?), раскинулось перед Горянским (героем), как зовущая, темноволосая женщина, и, казалось, говорило ему: «Иди!»... «Я приду,—думал Горянский,—я возьму тебя, моя космическая любовница»...

Ясно, что хорошим все это кончиться не может.

Мое предложение: при открытии межпланетных рейсов не допускать на промежуточных станциях буфетов с крепкими напитками. И так тошно.

Дождь на «Третьей фабрике»

«Вещь и вся будет суха. Это кашель» (стр. 7).

Так определяет В. Шкловский характер «Третьей фабрики» (изд. «Круг», 1926), но с этим нельзя согласиться: его книга полна жалоб, причитаний и хныканья. На стр. 103 ее имеется такая фраза:

«... одни в искусстве проливают кровь и семя. Другие мочатся».

Вот это определение будет вернее.

Кулинария в литературе

Что значит хозяйственная женская рука! Даже в литературном повествовании перо нет-нет да и начнет пошаливать в этой руке, описывая одно из блюд простого и здорового стола, что отнюдь не входит в задачи автора.

Так у Эльзы Триоле в «Земляничке» (изд. «Круг», 1926) читаю:

«Дома белые и желтые—белок и желток... кирпичные... как будто с ободранной кожей. Бульжники мостовой нежного цвета телятины. Пустые пространства заполнены гарниром, зеленью. И все это сверху посыпано золотыми макушками церквей!» (стр. 162—163).

Кулинарно, но несъедобно!

Необходима ясность

Б. Голубин в рассказе «Миколка» сообщает:

«... его авторитет колеблется. Мальчики начали отливаться на сторону Юрки»... («Мир Приключений», № 8, 1926).

Почему начали отливаться—понятно, но что они стали отливаться—вот этого никак в толк не возьму.

О ведрах, которые свистят, и о прочем

«... он... работал на *масштабных* (?) должностях» (стр. 5).

«... плавали трамваи, переполненные *разноцветной* (!) публикой...» (стр. 27).

«Кузьма все время *расплывался* (?) тощими, землистыми щеками...» (стр. 30).

«Кузьма... забрался в ухо, *затянутое паутиной*» (!) стр. 32).

«... жеребец... почувяв *ширину* (?) пустился... рысью» (стр. 60).

«... от... осеннего дождя... *промокнулся* (!) до костей» (стр. 79) и т. д. и т. д. Это из книги А. Завалишина—«Первый блин» (изд. «Недра», 1927).

Что касается ведер, которые свистят, то такие, оказывается, существуют на самом деле. Тот же Завалишин на стр. 6 этой книги утверждает:

«Пустые ведра весело *повсвистывали*...»

Есть от чего засвистеть и читателю. Только не весело. И книжка Завалишина тоже засвистит, пущенная в печатку.

Сплошная тошнота

Жюль Ромэн так хорошо издается и переводится в изд. «Academia» и вдруг:

«От этого предательского вида у меня *тошнит*» («Белое вино ля Виллет», 1926. Стр. 15).

У меня тоже.

О виршах пииты Уральцева

Венцеслав Уральцев в своей поэме «Ленингоры» (изд. автора, М. 1927) пишет:

«*Комзавод раскинулся, как мог:
Пусть дышит тело каждой порой!—
Лень разливается от ног...*» (стр. 8).

Автор точно не указал места, откуда именно она разливается, но и без этого стихи совершенно неприличны.

Чудеса под солнцем тропиков

«Под солнцем тропиков»—так называется книга В. Гончарова (изд. «Молодая Гвардия», 1926), и в ней, как в решете, непрерывные чудеса:

Одиннадцатилетний пионер Петька из Крапивецка летит в Австралию, ориентируясь лучше любого летчика на тысячеверстном пути и отлично понимая международный язык флагов. В Австралийских дебрях он организует пионеротряд чернокожих и там же встречает дикаря-анархиста, окончившего Лондонский университет и в продолжение двух месяцев терроризовавшего Париж. Попутно с этим Гончаров открывает удивительное воздушное течение, которое за тысячи верст приносит три летательных аппарата к одному и тому же месту.

Это—фабула.

А вот стиль:

«... он еще не чувствовал полной своей силы, вследствие остатков (?) паралича» (стр. 108).

«... я ... слышу шуршанье (?) их ветхих (стариковских) ног» (стр. 154).

Но окончательно убивает читателя появляющийся в четвертой части «задраенный (!) шоффер».

И разве не чудо—последнее и наибольшее,—что изд. «Молодая Гвардия» не задраило рукописи этой книги в редакционной корзине?

Об Эренбурге

Из нового романа Эренбурга—«Лето 1925 года» (изд. «Круг», 1926):

«Хлеб... остается *незастланным* (?)» (стр. 41).

«... ноги танцующих продолжали *сокращаться*» (?) стр. 181).

Ах, тяжело, живя за границей, писать по-русски.

Чудесная болезнь

Пока эта болезнь еще не получила в медицине своего специального названия, но Георгий Гаидовский в повести—«Стальные кони» (изд. «ЗИФ», 1926) на стр. 35 указывает ее симптомы:

«На станции... персонал, *зараженный* Бронзовым и рабочими, не ложился спать, *суетился, помогал* (в работе)».

Вот—первая, хорошая, болезнь, особенно по нашим временам. К сожалению, Гаидовский умолчал, как ею можно заразиться.

4. ПОД ЧАСАМИ

Н. Каржанский

1

Тусклое небо уныло слезится над городом. Сыро. Серо. Туманно. Безветренно.

Стою под часами—самыми обыкновенными часами, поставленными когда-то на углу двух улиц часовой фирмой Борель. Но Борель сошел со сцены, о Бореле ни слуху, ни духу—есть ли он на свете, нет ли, не знает никто. А часы остались, часы живут, часы стали средоточием здешней жизни. И каким! Это—пуп города, его центр, его альфа и омега. «Под часами»—это такое же точно урочище, как Кузнецкий Мост, Собачья площадка, Коровий Брод. Свидания—любовные и деловые—назначаются под часами. Даже на трамвае вы увидите надпись: «От вокзала до часов» и услышите звонкое кондукторово: «До часов—гривенник».

Стою под часами. Смотрю вверх, смотрю вниз.

Здесь смыкаются две улицы—Советская, бывшая Благовещенская, и Ленинская, именовавшаяся когда-то Кировской, а потом Пушкинской.

Еще рано, девятый час утра, но неумолимый газетчик, всему Смоленску известный Дьячков, с висячими усами и голосом, слышным за полкартала, уже кричит задорно и бойко:

— «Рабочий Путь!» «Р-рабочий Путь!»

На противоположном углу его старуха вторит ему звонко и лихо:

— Тройное убийство! Тр-р-ройное убийство!

Тройное—это немножко преувеличено: всего только двойное. Но читатель газеты заинтригован—газета раскупается.

Дьячков меня узнал—он меня помнит по «Рабочему Пути». Разговорились.

Заработок в Смоленске есть, хоть и небольшой, да вот беда: сын-комсомолец никак не может найти работу.

Подходит и старуха—разговор становится общим.

— Ну, а как там, в Москве, газетчики зарабатывают? — допытывается Дьячков.

Я рассказываю и прибавляю:

— А отчего бы вам не попробовать в Москву?

...Ах, об этом думал Дьячков не раз, да вот московская квартирная теснота пугает.

— Брось ты об этом думать!—перебивает старуха:—есть маленький кусочек хлеба, ну и сиди, ну и не рыпайся!

И вдруг, завидев новых прохожих, она стреляет в их сторону:

— Тр-р-ройное убийство!

Стою под часами.

Мимо бегут вагоны трамвайные.

25 лет тому назад французская фирма поставила здесь трамвай. Был он тогда одноколейный. Я хорошо помню это: остановится на раз'езде один вагон, и все движение застыло—на полчаса, на час, сколько влезет.

Так было до войны, так было до Революции и после нее. Годы 21-22 были особенно тяжки. Но мало-помалу зализываются старые раны, и года три тому назад Смоленский комхоз сделал гигантское усилие, проложил вторые рельсы, а на концевках устроил кольцевые повороты. Результаты налицо: движение идет без перебоев, в десять минут вы с вокзала добираетесь до часов, вагоны бегут, бегут без остановки и без дежурства на раз'ездах.

За три года, что я не был в Смоленске, резко бросается в глаза именно это изменение темпа жизни. Пульс города бьется быстрее и четче. Город вырос. Город приблизился к Европе. Дело, конечно, не в одном трамвае, но на улицах трамвай задает тон.

Граждане-акционеры, когда вы приедете к нам искать новых концессий, вы убедитесь, что комхоз не плохо хозяйничает: ваше детище в надежных руках.

2

Когда-то Смоленск стоял на великом историческом пути—«из варяг в греки». Могучая Ганза торговала через Новгород с Москвой, с Поволжьем, с Киевом, с Константинополем. Смоленск был одним из крупных складочных и

перегрузочных пунктов. По реке Западной Двине и ее притокам (Каспля, Удра) заморские товары придвигались до конца речек, дальше «волоком» тянулись до Днепра и через Смоленск перебрасывались на юг. Знаменитые гнездовские курганы, в 12 верстах от города, хранят в своих могилах память об этих героях «торгового фронта».

Долго рассказывать, как и почему, но ослабела, захирела, а потом и совсем прервалась эта торговля. Вместе с тем и сам Смоленск захирел, стал мелким провинциальным городишкой. В дальнейшем ему пришлось играть роль буфера между Москвой и Польшей: предусмотрительный Годунов хорошо подготовился к этому, построив знаменитые смоленские стены, частью уцелевшие и до наших дней.

Наполеоновский поток дважды прокатился по Смоленску...

Но обо всем этом забыл тот Смоленск, что я знал во дни моей юности. То был глубоко-дворянский, явно-чиновничий город.

В центре, около сада «Блонье», жил губернатор. Теперь там—Дом Крестьянина, и сотни мужиков, ночующих там, поминуют крепким словом своих помещиков, ну а также всех этих Сосновских, Суковкиных и прочих «начальников губернии».

Какие великолепные, вымуштрованные чиновники принимали посетителей в канцелярии губернатора! Как с'еживались и сощуривались они и какими становились неприступными, если сюда забредал поневоле поднадзорный студент, вроде пишущего эти строки.

— Его превосходительство, к сожалению, не может вас принять.

В дни дворянских с'ездов подтягивался Смоленск. Рекой текло угощение—это кандидаты в предводители угощали «избирателей»—дворянскую гольтьбу.

Об этих избирательных махинациях много в свое время бродило рассказов—может быть, и с прибавкой фантазии. В Бельском уезде есть один район, где обитало огромное количество самых настоящих, стопроцентных, доподлинных «потомственных» дворян, но—бедных, как церковные мыши. Жили

они, как крестьяне, собственноручно косили и пахали и теперь, конечно, являются прекрасными «трудовыми земледельцами», но тогда... полны они были великого гонора. Кстати же водились среди них и титулованные, вроде, например, многочисленного рода графов Комаровых... «помещиков» с количеством земли от 1½ до 3 десятин на двор.

И вот в высокопозжестные дни выборов предводителя напяливали на этих граждан мундиры дворянские, везли в Смоленск, кормили на совесть, и, главное, поили—только голосуйте, господа дворяне, черныя не подкачите!

Называли этих землеробов по-местному «пучками» или «пушкарями».

Но была это, конечно, гримаса дворянства, а настоящие подлинные дворяне и помещики—те были богаты и величественны. Энгельгардты. Князья Оболенские. Князья Урусовы. Засецкие. Князья Друцкие-Соколинские. Рачинские. Вонлярлярские. Глинки. Нелидовы.

— Вы в шестой?

— Да, конечно.

«Шестой книгой» называлась самая первостепенная геральдическая книга, куда были вписаны наиболее древние и именитые роды дворянские и, прежде всего, титулованные.

Сам Родзянко—«Толстяк», по выражению царя и Распутина—имел здесь свой кусочек. И немалый! До сих пор Северолес и Москвитоп питают заграницу и топят Москву родзянковскими лесами. Сам «Толстяк» изрядно помог в этом лесорганам: он провел в «сферах» постройку железной дороги от станции Дурово (ныне МББ дорога) прямо к центру лесного массива. Дальше дорога почему-то не продвинулась, но «Толстяку» больше ничего и не нужно было: добился своего, и капут. А открыли эту дорогу, кажется, в 1916 году, за несколько месяцев до Революции.

В исконно-крестьянской губернии, в сплошь чиновничьем и мешачьем городе полными и безраздельными хозяевами были дворяне, небольшая кучка дворян—по всей губернии каких-нибудь 400 семейств, их даже и теперь можно по пальцам пересчитать—

избранный круг, куда никого нового не допускали. Четыре полка стояло в Смоленске, с несколькимистами офицеров, но лишь немногие счастливицы допускались на балы у губернатора и у крупных помещиков, особенно титулованных. Причина? Да ведь это же была «пехтура», и подавляющее большинство офицеров вышли из небогатых разночинцев: из чиновничьих детей, из поповичей, из тех же офицерских сыновей, изредка — из мещан. Когда один пехотный офицер сговорился с мадмуазель З.—заключить законный брак—им пришлось обвенчаться тайно: она была из шестой книги, а он—сын «коллежского».

И когда предводитель дворянства давал свои балы, мелкое офицерство ходило под окнами и облизывалось.

То же и среди чиновников: самый маленький коллежский регистраторик мог быть «принят», если он вписан в шестую книгу. В этом случае и продвижение вперед было за ним обеспечено, и сладкое, всем дворянским недорослям желанное, местечко земского начальника могло ему улыбнуться очень и очень легко.

Только интеллигенция да коммерсанты чуточку делили с этими 400 их власть и хозяйствование. Но это несколько не изменяло общей картины, да и участие-то это было пустяковым и ограничивалось оно, чаще всего, мелкой, беспочвенной, хотя изредка и крикливой оппозицией. А Васька слушал да ел...

То же и в уездах: 100—150—200 тысяч крестьян, 5—7 тысяч мещан, тонкий слойшек чиновничества и замкнутый, четко очерченный круг «хозяев», включивший в себя десяток помещичьих семейств. Предводители дворянства, земские начальники, разные там «непрерывные члены» вербовались в первую голову из этого десятка. Земские гласные—тоже. Даже в городские управы протискивались они же—если только среди них находились шустрые. В Смоленске, где не мало было видных купцов, городским головой долгое время был крупный помещик Рачинский.

И вот Революция раскопала этот старый порядок. Где теперь эти блестя-

щие князья Оболенские, Энгельгардты, Потемкины?

Иных уже нет, а те далеке...

Вадим Платонович Энгельгардт, бывший член государственного совета, где-то скитается в эмиграции. То же один из Глинок и несколько Волыарлярских. И Оболенские.

История «Толстяка» известна достаточно. Его в эмиграции травили монархисты—никак не могли простить ему того, что все-таки же он «свергал».

Где же остальные из числа 400? Кто разбежались в Москву и другие города, кто приспособились кое-как. Бывший помещик и городской голова Р., не в обиду ему будь сказано, держал ларек на базаре и, говоря, торговал неплохо. Три-четыре из 400 оказались агрономами и устроились на места (не в Смоленской губернии). Кое-кто внезапно почувствовали тягу к кооперации. Два-три стали управляющими совхозов. Знаю одного сыровара. Есть в армии—«военспец».

Впрочем, я не задаюсь сейчас целью проследить, куда исчезли 400 (а с чадами и домочадцами и вся 1.000),—мой материалы на сей счет очень скудны.

Нас интересует другое: что случилось с губернией, с двухмиллионным крестьянским населением?

В 1917 году летом, в глухом уезде Смоленской губернии один крупнейший помещик—из числа 400—говорил мне после бурного, конечно же, противопомещичьих настроенного крестьянского с'езда:

— Дай бог всякого здоровья демократии, но без нас вам еще лет пять-десять трудно будет обходиться.

Что же теперь, на десятом году Революции? Как устроилась губерния без 400?

3

Стою под часами. Быстро бегут вперед вагоны трамвая—вверх и вниз. Скоро 9 часов, и непрерывной лентой тянутся снизу вверх служащие, мужчины и женщины. Вниз, наоборот, редко кто пройдет—все учреждения вверх. И трамвай, идущий снизу, от Днепра, через каждые несколько ми-

нут выбрасывает полтора десятка человек, а вагоны, спускающиеся под гору, едут почти пустыми.

Узнаю знакомых подгородных крестьян. Вот катынцы, вот хохловцы. И верховцы, и даже рудняне, и каспляне.

Раскланиваюсь со знакомыми. Беглый разговор. Откуда? Где? Как?

Один—в военкомате, другой—в милиции, в фин'отделе, а этот даже в губисполкоме. И на разные лады: кто с административным уклоном, кто с хозяйственным, иные по партийной линии, а кое-кому приходится иметь дело со счетами и калькуляцией.

И вдруг мне становится ясной и очевидной истина, над которой я раньше не задумывался: да, ведь, все мои знакомые крестьяне, что раньше и носы не смели сунуть в город, теперь здесь работают в фин'отделе, в наробразе, в губвнторге, вплоть до губисполкома.

И мне приходит в голову—пойти за цифрами, раскопать, сколько же крестьян работает там, где раньше восседали 400 и их протеже. Старая корреспондентская привычка.

Иду в губисполком. Меня обгоняют запоздалые совслужащие—они спешат и мельком заглядывают на часы: ведь, через несколько минут управделы заберут контрольные листы, на которых расписываются приходящие.

И вдруг мне приходит на память собрание, на котором я был всего только несколько дней тому назад. Глухая крестьянская волость, укрупненная (как здесь говорят, «укрупленная»), с 30-тысячным населением. Было собрание сельско-хозяйственного товарищества, и председательствовал на нем Борис Маркович, предвика. Он крестьянин соседней деревни, коммунист. Доверием населения пользуется безграничным—никто никогда не попрекнул его, что он зазнался, а в том, что он—хозяйственник. И какой! Каждое лычко своей волости досконально знает, и к чему это лычко сунуть—это ему тоже доподлинно известно.

Я сидел тогда на этом собрании и дивился: вот они, новые люди, выплывшие из низов, и теперь занявшие ко-

мандные высоты. Дело не только в том, как Борис Маркович вел собрание, временами становившееся довольно бурным: председательствовать, ведь, это—техника,—этому можно и «нарепертиться», как здесь говорят. Тут прямо-таки бросалось, било в глаза его умение быстро ориентироваться в хозяйственной стороне вопроса, умение безошибочно найти хозяйственно-деловое и при том самый выгодный выход из положения. Где интеллигент из города безусловно «зашился» бы, там этот мужик от сохи плыл уверенно и твердо.

И другое настойчиво виделось: Борис Маркович нисколько не подлаживался к крестьянам, он делал свое дело, как нужно, без всяких послаблений.

И другие воспоминания пришли мне в голову, пока я шагал в губисполком: десятки крестьян, не служащих, землеробов, рядовых членов волсовета, не лезущих в администрацию,—разбираются они в волостном бюджете, как в своем коровьем хлеву, помнят по волости каждую цифру и каждый клочок земли и на волостном с'езде будут биться за каждый рубль.

Мой собеседник 1917 года из числа 400 был убит крестьянами в том же году—единственный, кажется, кровавый случай из всей губернии. Если бы он был жив, то не сомневался, что он—умный человек был!—убедился бы, как легко 2.000.000 обходятся без помощи 400.

4

Несколько цифр.

Кто сел в губернии на место 400? В виках из 621 члена на крестьян приходится 471, на рабочих и батраков—36, служащих—79, интеллигентов—35.

В уездных исполнительных комитетах всего 198 человек (отмечу, что в том числе 12 женщин). Из них крестьян—110, рабочих—35, служащих—42, 11 интеллигентов, в том числе 7 учителей, 1 агроном, 2 врача.

В губисполкоме 14 крестьян.

О сельсоветах нечего и говорить—они все сплошь крестьянские, в том числе 39,5% бедняков и 54,6% серед-

яков. «Служащих», «интеллигенции» и кустарей—всех вместе 3%.

Из 192 выдвинутых 147 крестьян.

На место 400 дворянских родов стали крестьяне и рабочие. Рабочих значительно меньше, чем крестьян: причины этого вполне понятны—промышленность в губернии слаба.

Никакая помощь 400 не понадобится.

Без них обошлись. На поклон к ним не пошли.

Было бы исключительно интересно получить цифру о том, кто же состоит в советском аппарате в городе и в деревне, сколько в том числе крестьян, сколько представителей бывших родов дворянских.

В губпрофсовете нам сообщили, что сведения о советском аппарате собираются и разрабатываются, но будут готовы не ранее начала 1927 года. Нет этих данных и в губотделе союза советских служащих.

Зато мы имеем материал по Демидовскому уезду—одному из самых глухих в губернии. Всего в городе имеется 556 членов профсоюза.—из них крестьян—222. Мы полагаем, что и по Смоленску соотношение крестьян и некрестьян будет не далеко от только что указанной цифры.

А кто учится? Кто идет на смену этим кадрам совслужей?

В отделе народного образования мне сообщили характерные данные. На педфаке из 632 учащихся крестьян 471. То же и на медфаке: 97 крестьян на 250 студентов. Среди будущих кооператоров крестьян набралось более половины: на 116 человек их имеется 69. Правильно—это дело мужичкое! Значительно больше половины среди будущих агрономов: 275 из 425. Зато к музыкальному образованию у крестьян мало тяги: 15 из 195 учащихся. Вполне понятно—у них более реальный и хозяйственный подход к вопросу об образовании. И конечно—на среднюю профтехшколу школы мужички приналегали: на 738 учащихся их имеется 393.

Таким образом, огромная армия учащихся—крестьянская смена—подвигается к местам врачей, агрономов, учи-

телей. Пройдет 2—3 года и, по крайней мере, наша губерния будет достаточно насыщена этими деревенскими работниками, ибо они-то уж, конечно, не будут сидеть в городе, ожидая там работы, как это делает огромная армия маячащих в Москве агро- и медработников.

5

Как же живут они в городе, эти тысячи крестьян—служащих, учащихся?

Я зашел по делу к одной студентке педфака. Ее отец—середняк, малограмотный, еле расписываться умеет.

Ее подруга сняла койку в семье своего дальнего родственника—сторожа в кооперативе. Анюта—так зовут мою знакомую—за два рубля субарендовала у своей подруги полкровать. И, кроме того, ее батька обязан в зиму навезить хозяину 1¼ куб. саж. дров (березовых! точно условлено).

Вы думаете, Анюта питается в столовой? Конечно же, нет. Куда там! Батька раз в две недели привозит ей картошки, капусты, изредка сала, а еще реже—убоины, ну, конечно, крупы, печеного хлеба, муки (гороховой, любит кулеш) и разной там мелочи, вроде лука и соленых огурцов. Она сама готовит себе обед—сговорилась с хозяйкой, что имеет право ставить свой горшок в печку.

подавляющее большинство крестьян-студентов устроились примерно таким же образом. Неудивительно: квартиры в Смоленске дороги—никак не по мужичьему карману. Мой знакомый, студент из уездного города, сын получающего спецставку ответственного работника, платит в месяц 30 рублей за квартиру со столом и мойкой белья, при чем он не имеет, конечно, отдельного помещения, а спит вместе с четырьмя другими студентами в одной комнате.

Анюта и за весь-то год вряд ли тратит этих три червонца, разве вот только на книги: жаловалась, что учебники «допекают».

А как быстро меняется внешний характер крестьянской молодежи! Положительно, не по дням, а по часам. Вот несколько данных по воинскому набору Смоленской губернии нынеш-

него года—рассказал мне один военный врач. Прежде 50% призываемой молодежи при осмотре оказывались вшивыми, теперь таких нет вовсе. Раньше трахомных была пятая часть, теперь это имеет место лишь в единичных случаях. Уменьшился сифилис. Значительно возрос общий уровень развития.

Конечно, это относится не только к красноармейской, но и вообще к крестьянской молодежи. Так растет новая деревня вообще.

В одной волости сидели мы как-то вечером в вике с товарищем Юдиным—его деревня верстах в семи, шел дождь, было грязно, топь непролазная, и он остался в вике ночевать. Служит он тут же—заведует воинским столом. В своем деле он—большой спец: лет 20 одну и ту же работу делает.

Всего в волости вернулось 70 человек демобилизованных. Разговаривали мы о них—добрую половину их я знаю, если не лично, то по семье.

— Ну, а как развиты эти 70?—спросил я.

— А вот что скажу тебе: десятка полтора есть таких, что сразу можно на работу поставить.

И начали мы с ним толковать: можно ли заменить этими ребятами весь виковский аппарат. Оказалось, что можно, да еще как! Членов правления кооперативов отыскивали, в вик членами надежных людей посадили, милиции смену дали, учителей повыперли и на их место ребят поназначили, вот только председателей не нашли ни в вик, ни в оба кооператива. Тут уж не приходится удивляться: и Бориса Марковича, и Ивана Даниловича, и Федора Макаровича трудно заместить—уж жаль мужики бывалые и опытные.

Но возвращаюсь к Смоленску.

Как они проводят свои свободные часы, эти тысячи крестьян, ставших горожанами.

Интересный вопрос. Следовало бы его как-то изучить.

К сожалению, я не имею на этот счет никаких материалов. Но одно знаю твердо: в церковь их и калачом не заманишь.

В белогвардейских газетах от поры до времени звонят самые достоверные

«соборы»: церкви-де на Руси-матушке полным полно, валом валит народ, никогда так усердно не молились.

В минувшее воскресенье взбрело мне в голову побывать в церквях Смоленска. Я помню хорошо времена былые: в соборе 1½—2 тысячи молящихся, в церквях по несколько сот.

А теперь?

В соборе служил обновленец епископ Алексей. Пел неплохой хор. «Прозодежда» церковников была пышна и блестяща, как и раньше—прежние довоенные парчевые ризы, и кресты, и чаши, и все прочее. А народу набралось человек 40—50, в том числе несколько стариков с военной выправкой, 5—6 чиновников прежнего времени, старухи.

Другой епископ, тихоновского толка,—Илларион, кажется,—служил в Вознесенской церкви. У него «клиентуры» чуть побольше: человек, пожалуй, 80. Общий облик примерно тот же, что и в соборе.

В двух церквях, куда я попал к концу службы, я нашел человек по 15—20.

Таким образом, неумолимые цифры дают—10% довоенной «выработки».

В Касле, крупном селе Демидовского уезда, верстах в 40 от Смоленска, церковным старостой ходит мой товарищ по деревенской школе, Василий Кузьмич. Он же был старостой и до войны: только в 14—16 годах имел от церкви законный «отпуск»—воевал. Под осеннюю «Казанскую»—местный престольный праздник—народу во «всенощной» было человек 50—десятая часть того, что бывало раньше. И поведал мне Василий Кузьмич, что и доходы церковные теперь—в той же «плепорция»: тоже в десять раз слабже.

А в глухих селах и того слабже. Поповским разглагольствованиям о высоких налогах и топких добытках я, пожалуй, и не поверил бы—не прицениваются ль? Но пустым церквям веришь поневоле.

В Ярцевском уезде одна глухая колоколенка долго звонила в воскресенье прямо под носом у меня, в 40 шагах от избы, где я ночевал. Зашел я к заутрене. «Штату» в церкви было четверо: поп, дьячек, сторож и церковный ста-

роста. А клиентка—всего одна: пожилая женщина, вросшая коленями в холодный пол. Так и не встала в те минут пятнадцать, что я в церкви простоял. Позднее я узнал, что это была работница из соседнего совхоза,—вероятно, член профсоюза.

А мимо церкви народ валил с молоком в соседнюю сыроварню—сдать продукт сыровару Алексею Григорьевичу. Я вспомнил белогвардейские рассказы о том, что «вера стала углубленнее», и подумал:

«А не подвалит ли любителей к обедне?».

И вот обедня: всего в церкви, кроме «персонала», я насчитал пять человек, в том числе и вросшую попрежнему коленями в землю работницу из совхоза.

Не густо, господа Суворин и Струве!

И до того мало ходят крестьяне в церковь, что один поп в Бельском уезде пустился на хитрости. Читает он обычные «поминания» за обедней, читает тихо и степенно:

— О упокоении рабов божиих Ивана, Петра, Сидора, Карпа.

И вдруг, возвысив голос, вопиет зычно:

— И обрати внимание на раба божия Терентия!

Потом опять тихо и сонно:

— Захария, Клавдии, Елизаветы, Тимофея, Софью.

И опять велегласно:

— И обрати внимание на новопреставленную рабу божию Акулину.

Мужичкам это понравилось, и многие стали делать заявку на это самое «обрати внимание». Но, оказывается, за «обрати внимание» поп берет двугривенный с покойника, тогда как за остальных мертвецов—пятачек со двора, гуртом со всей «поминальницы». Поэтому с «обрати внимание» бывает 2—3 за обедню.

6

Часы показывают 3.

По уличному движению видно, что рабочий день скоро окончится.

Еще с полчаса тому назад прошли знакомые наборщики Егорыч и Наза-

рыч и другие—они шабашат в 2. Канцелярии кончают работу, кто в 3, кто в 4.

Теперь открылось обратное движение—из города к вокзалу. Посмотрите на публику: снизу идет пять человек, вниз—10. То же заметно и по трамваям.

Что это значит?

Крестьяне - учащиеся, крестьяне - служащие на добрую половину живут за городом, в своих деревнях, и все теперь спешат на вокзал к поездам.

Есть такие чудесные пригородные поезда—здесь их зовут почему-то «самоходами». На 30—40 верст по всем дорогам, во все стороны. И кого только ни встретишь в этом «самоходе»? Все возрасты, полы, профессии. Все, конечно, знакомы друг с другом, а то и родня или сваты. Разговоры о коровах и о корме сменяются глубокомысленными рассуждениями о наробразе и военкомате, о завах и управделах. Ну, конечно, и о высокой политике: сессия ВЦИК. Лига Наций. Чемберлен, Пилсудский,—особенно Пилсудский.

Остановки бесчисленны—через полторы-две версты—и каждый раз добрая полсотня настоящих и будущих советских не выскакивает, а прямо-таки выстреливает из вагонов,—некоторые еще на ходу поезда. Исстеганы бесчисленными дорожками все пути от остановок «самохода» до соседних деревень. А, прибежав домой, будущая женщина-врач, а, может быть, и профессор, а то и вторая Кюри, торопливо облачается в серый домашний зипун и в рваные отпки и, подобрав юбки, лезет в грязный хлев коров доить, корму на ночь задавать. Вечером, при свете тусклой лампы-коптилки, она будет немецкие вокабулы зубрить: знает, что без этого в медработе «высоко не протиснешься». А завтра утром опять—коровы, «самоход», гулкие коридоры медфака, кружки, лекции, анатомический театр.

Далеко не все может быть уловлено на сухой скелет анкеты? Правильно. Тут надобен и другой подход: и беллетристы, и бытовики должны присмотреться к этому явлению — *мужик в городе*. Что нового несет с собой этот преобразенный город?

Богатая тема для литературы, театра (не только драма, но, может быть, и комедия), для публицистики.

Каждого литератора, статистика, каждого вообще ловца здесь, думаю, ждет

крупный и интересный, а, может статься, и неожиданный улов.

Ноябрь 1926 г.
Смоленск.

5. Б Е Р Л И Н

Борис Кушнер

С востока на запад, от нас в Европу, Берлин—первый мировой город. Населения четыре с половиной миллиона душ и полное оборудование мировой столицы. После долгой вагонной качки от наших границ, Берлин—как гостеприимно широкие ворота, как триумфальный въезд в область западной культуры.

До войны Берлин рос в темпе развития германской промышленности. Побивал американские рекорды. Незадолго до войны превзошел Париж и стал самым большим городом на европейском континенте. В настоящее время, разумеется, он снова во многом и намного отстал от Парижа. До второй половины прошлого века Берлин был вовсе мал и ничем не примечателен, даже в пределах германских стран. В теперешнем своем виде он на девять десятых отстроился в течение нескольких последних десятилетий. Он новее всех прочих крупных городов Европы. И даже в Америке считался бы одним из самых новых.

Старины Берлин не любит и не уважает ее. Не хранит памятников средневековья, ни даже того, что уцелело от начала и середины прошлого столетия.

Только в самом центре, между старым рыбным рынком, бывшими королевскими конюшнями и монетным двором, на острове, образованном рекою Шпрее и Медным Рвом, там, где широкой дугой перекинулся всякий железно-кованый орнамент Девичьего Моста, сохранились еще кривые расщелины по-средневековому узких улиц, в роде Петриштрассе. Проулучки и набережные носят странные, пахнущие романтикой, названия. Над нижними этажами нависли выступающие вторые и третьи

этажи. На фасадах следы убогого позднего барокко. Среди облупившейся, как чешуя, спадающей штукатурки прогнулись в последнем напряжении все еще не истлевшие деревянные балки. Они скрестились на груди домов, как орденские нашивные кресты или как руки угрюмо застывших Наполеонов. Быстро исчезают, сносятся без жалости и эти последние несмелые остатки древности. Среди них зияют пустоты и бреши. И тонкий журавль железного под'емного крана на постройке одновременно, как будто, крошит и разваливает старое и тянет новое вверх крепкой каменной порослью. На пустыре, на пригорке над рекой, последним разоблаченным привидением мерцает и скалится сквозной пустотой заброшенный, давно ненужный остов старинной фабричной мануфактуры.

Рабочие и промышленные районы Берлина вымощены аккуратной, хорошо уложенной брусчаткой, кварталы же торговые и буржуазные сплошь залиты асфальтом. Здесь все в асфальте—улицы, площади и дворы. Все, кроме тротуаров. В Германии тротуары не заливаются асфальтом. Они выложены здесь большими каменными плитами или мозаикой из мелких камешков.

Асфальт берлинский днем и ночью полируют и накатывают 35 тысяч автомобилей. Неутомимо и настойчиво, из месяца в месяц, из года в год, работают эти полотеры внутреннего сгорания, каждый о четырех ногах. Результат их работы представляет собою самую, быть может, феерическую достопримечательность современного Берлина. Полированный асфальт блестит, как черная полированная крышка рояля. В ясные дни на поверхности его, между колес

машин и ног прохожих, вспыхивают и снуют солнечные зайчики. Вечером в черном асфальте встает второй отраженный Берлин. Уличные фонари вытягиваются вниз в длинные тонкие стержни, свободно висящие в пространстве. На обоих концах этих стержней ярко горят светящиеся тела. Отражаются все источники света—витрины, подвижной огонь реклам, блуждающие огоньки такси, автобусов, трамваев и прочих средств передвижения.

В малоезжих улицах асфальт стоит, как освещенная вода каналов, и тихие жилые кварталы преобразуются на ночь в небывалую Венецию. Площади чопорно и ровно вымощены черными зеркалами. На живых артериях, переполненных движением, на бойких перекрестках свет дрожит и зблется в глубине панели. Асфальт кажется влажным, мокрым, как после дождя. Под давлением шин и под ударами ног разбрызгивает искры.

Лучшая из всех улиц—Тиргартенштрассе. Одну сторону ее образуют высокие липы огромного парка, раскинувшегося в самом центре столицы, по другой кокетливо стоят, прикрывшись цветниками и декоративными садиками, особняки миллионеров и виллы разных посольств. Тиргартенштрассе соединяет центр города с его богатейшей и буржуазнейшей частью. В часы уличного полнождья машины идут по ней сплошным потоком по три в ряд в ту и в другую сторону. Асфальт выложен до того, что не только фонари, но и липы отражаются по самую свою маковку.

Аккуратные берлинские шоферы не выбрасывают руку на поворотах, как это принято у нас. Каждый автомобиль снабжен небольшим автоматическим семафорчиком. Ночью, подымаясь на повороте, семафорчик зажигает красный огонек. Огоньки ракетами вспыхивают и летят на закругления по спирали. Одних автомобильных огней в Берлине достаточно было бы, чтобы освещать улицы.

Осенью 1923 года, накануне революционных выступлений германского пролетариата, общее собрание берлинских фабзавкомов почти единогласно голосовало за всеобщую забастовку. Всеобщей

забастовка не вышла благодаря противодействию социал-демократии, однако многие фабрики и городские предприятия не работали. На железнодорожных линиях, примыкающих к берлинскому узлу, рабочие волевыми и вели систематический саботаж. Поезда приходили и уходили вне всяких расписаний. Буржуазный Берлин сильно лихорадило, а берлинские рабочие, желтолицые, высохшие на инфляционной господовке, по-особому сверкали глазами и говорили необычайные слова. Возвращаясь домой с работы на своих велосипедах, они отпускали на центральных улицах шаркающей по панели разодетой толпе такие обещания, что тонконогие женщины в мехах шаркались в сторону, а тучные спекулянты спешили домой и торопясь принимали срочные меры для отъезда в какую-нибудь соседнюю, менее подверженную революционным волнениям, страну. К вечеру забастовала гигантская электрическая центральная станция в Моабите. Весь шикарный Запад до самого неба ушел в чернила осенней ночи. Дома стояли безглазые. Подъезды кафе, кинотеатров и ресторанов, лишенные электрических слов и восклицаний, погрузились в глухое безмолвие. В гостиницах гостям выдавали вместе с ключом от номера парафиновую свечку в подсвечнике и коробку спичек. Вокзалы—никто не мог сказать с достоверностью, отходят ли с них поезда или нет. Железнодорожные виадуки еще продолжали грохотать, но в черной мгле нельзя было различить, шум ли это от движения поездов, или отдаленный гул нарастающих революционных событий. Сплошными рядами пятиэтажные дома, как черные караваны каменных верблюдов, мерно шагая, ушли в беспредельное пространство пустыни. Безглазые, бесфонарные, безрекламные улицы умерли. И лишь одни автомобильные фары остались жить на этом свете.

В шикарной аллее Курфюрстендамм забастовочная ночь чудила, как и везде. Раздвинула, разогнала неизвестно куда шпалеры домов, стволы деревьев вытянула вверх так, что в черноте нельзя было различить, чем они

кончатся. Уничтожила все. Только один асфальт не поддался. Блестел лощенный, белый от света, как лунный диск, как река расплавленного металла. Он шуршал, трепетал и искрился под тысячами автомобильных фар. Фары есть фары. Особого пристрастия к асфальту у них нет. С одинаковой старательностью освещают они все, что попадает в струю их света. Каменный край тротуаров и узорные коколи фонарных столбов, стволы деревьев, чугунные столбики и гнутые прутья, ограждающие газоны. А, главное, человеческие ноги. В этот вечер нервные, торопливые, так неуверенно мелькающие между развевающихся пол-одежды. На углах, на перекрестках не патрули стоят, а лишь полицейская форменная обувь, да тяжелые кобуры маузеров понуро висят на зеленых полицейских задах. В эту ночь прохожие не останавливали друг друга, так как во мраке нельзя было отличить своего от чужого. Только автомобили жили на свету и узнавали в лицо своих знакомых.

Так неудавшаяся забастовка выявила световую силу автомобильных фар.

На главных улицах Берлина, на больших площадях машины, автобусы, трамваи с трехзначными номерами маршрутов режут и теснят друг друга и расплескивают с панелей оторопелых прохожих. В иные часы уличное движение грозит стихийно разлиться в неудержимое половодье. Того и гляди, что автобусы полезут на тротуары, прохожие застрянут между трамвайных колес, все сгрудится, перепутается и в век не разберешь, что к чему и кто куда. Поневоле пришлось пуститься на разные хитрости по части регулирования движения. На Потсдамер Пляц соорудили большую башню. На вышке ее за стеклами стоит полицейский и на четыре стороны зажигает круглые огни—красные, синие и белые. На оживленных перекрестках посредине мостовой вделаны в землю светящиеся электрические полушария в толстой железной оправе. Кое-где поставлены переносные семафоры, похожие на железнодорожные. При них полицейские теряют свою военную выправку и бра-

вый усмирительный вид и принимают облик вполне миролюбивых стрелочников. При в'езде на Будапестерштрассе воздвигли, было, даже столб-маяк с на-стоящим мигающим морским фонарем на верхушке. Он, впрочем, не прижился, этот маяк, и его сняли. Теперь на месте его стоит белый столб-волнорез с красным пояском. На трамвайных про-водах, на проволоках, протянутых над перекрестками, висят трехцветные че-тырехгранные фонари. Формой они по-хожи на железные ананасы, неизвестно зачем и как созревшие в берлинском, совсем неананасовом, климате. Двена-дцать цветных огней каждого из этих фонарей зажигаются и гаснут, чере-дуясь в нужной последовательности. Чтобы контролировать сложный ритм зажигания и управлять им, на тротуа-рах поставлены зеленые электрические тумбочки. Внутри у них тикает меха-низм, в крышку вделаны измеритель-ные приборы. Вставляющимся сбоку ключом полицейские по надобности то пускают в ход механизм тумбочек, то останавливают его.

То, что проносится по асфальту и шагает по тротуарам, это, отнюдь, не главный поток движения берлинского населения. В основной своей массе со-общение между районами поддержи-вается железными дорогами: надзем-ной и подземной. В Берлине более 200 вокзалов. Дальние поезда, напра-вляющиеся с запада на восток и с во-стока на запад, останавливаются по-следовательно на 5 городских вокза-лах. Если считать и пригородное дви-жение, то каждый из вокзалов этих пропускает до тысячи поездов в течение дня. Дальние поезда стоят здесь две—три минуты, городские и пригородные не более 20-ти секунд.

Асфальт, машины, автобусы, желез-нодорожные поезда, все это знакомые нам вещи—у себя дома видели. Разница только в количестве, в масштабе, да в том еще, что нет здесь ничего рваного, битого, ломаного и залпленного. Все чистое, аккуратное, новое и целое. Со-вершенно невиданные и несвойственные нам вещи начинаются под землей. Узкие подземные тоннели закругляются вглубь черными поворотами. Чуть мерцают

желтые электрические огни, маячат серый камень стен и железобетон сводов. Рельсы блестят и шевелятся впереди, как усы подземного чудовища. Шум надземного уличного движения проникает сквозь своды и гуляет по гулким тоннелям, как гром катастроф, как грохот обвалов. По черным руслам тоннелей непрерывными струйками сбегает желтокрасные электрические поезда и вливаются в светлые озера подземных вокзалов. Перроны наполнены убегающей и прибегающей толпой. Среди мутно-серого подвижного ее однообразия, как тихие острова, цветут и светятся киоски с газетами и книгами, с табачными изделиями, сладями и прохладительными напитками. В часы наибольшего движения поезда пролетают, едва задерживаясь, через каждые 2 минуты. Их стук и лязг кажется тихим рокотом в грохоте стальных сводов, заливающих подземку шумом городских улиц.

Воздушная вентиляция под землей поддерживается вертикальными окошками-колодцами, врезанными в стены тоннелей и выходящими прямо на тротуар. Их прямоугольные отверстия прикрывают толстые, двойные, железные решетки, вделанные в панель. Подземный поезд, скромно и учтиво рокошущий на своих подземных вокзалах, проскакывая мимо вентиляционного люка, выпускает в него такой стремительный ураган дикого свиста и лязга стали, что непривычный прохожий очертя голову бросается в сторону и с бьющимся сердцем долго озирается на взревшую зверем у ног его решетку.

Так с утра и до глубокой послеполуночи перекликаются городские улицы с подземкой, глуша друг друга тысячами сильными голосами.

В некоторых районах города подземному поезду надоедает черный мрак и неумолчный истошный рев железобетонных перекрытий. Тогда он отважно забирает в гору, пробивается сквозь толщу мостовой и благополучно вылезает на свет божий. По улицам ему, однако, бегать нельзя—простора нет, да и полиция не позволит. Поэтому прямо из-под земли он лезет на высокий железный виадук и по нем уже

мчится дальше между верхними этажами домов.

Районы Берлина расположены относительно стран света так же, как и районы других европейских столиц—Парижа и Лондона. Центр города, как водится, торговый. Здесь же большинство правительственных учреждений. С севера, с востока и с юга надвигаются рабочие кварталы и фабрично-заводские окраины. На западе живет буржуазия и обыватели среднего достатка.

Торговля, как известно, самое подвижное и оживленное на свете занятие. В торговом центре города сильнее всего уличное движение и суета. Здесь же сконцентрированы по преимуществу и места увеселений. Берлинский служилый люд не может, за дальностью расстояния, попасть домой на завтрак и на обед. Кормятся по ресторанам. В центре города количество их совершенно необозримо. От самых шикарных, где представители привилегированных классов поливают устриц лимонным соком и дорогим вином, и до самых дешевых, в которых мелкий служащий и рабочий городских предприятий, стоя за высокими круглым столом без скатерти, торопливо проглатывает свою ежедневную колбаску с картофельным салатом или картофельный салат без колбаски.

Как отварную картошку посыпают сверху петрушкой для запаха, так берлинские дома, улицы и сооружения посыпаны яркой рекламой, бьющей в нос, подобно газированной сельтерской воде. Характер рекламы типичен для каждой страны и соответствует степени развития ее производительных сил и общему уклону ее экономики. Английская промышленность большую часть продукции сбывает на колониальных рынках. Там ее рекламируют дредноуты и солдаты его величества короля английского. Что касается внутреннего рынка, то здесь английская реклама рассчитана на потребителя, имеющего твердые хозяйственные привычки, установившиеся навыки, на солидных людей, опирающихся на традиции и взвешивающих свои поступки. Поэтому английская реклама не кричит о товаре, а описывает его, обстоятельно пере-

числяет все его завлекательные качества. Обычная форма английской рекламы—афиша. Берлинская реклама не словоохотлива. Она не убеждает и не уговаривает. Старается лишь вдолбить в сознание проходящего название фирмы и фабриката. Этого с нее достаточно. Преобладающая здесь форма—яркий плакат и красочная вывеска. Текста как можно меньше. Одно название или короткий стишок. Весь Берлин знает двустигшие про огнетушители.

*Фэйр брайтет вяхь нихт аус
Хаст ду минимакс им хауэ.*

С наступлением темноты начинается действие электрическое. Последнее изобретение—бегущая ленточная электрическая надпись. Пока вы стоите у трамвайной или автобусной остановки, она успевает сообщить вам политические новости дня и преподнести целую кучу полезных советов по части приобретения бесполезных вещей. На глухой стене высокого дома гигантская бутылка из электрических лампочек наклоняется над таким же бокалом и широкой струей проливает в него искрящееся шампанское. На другом углу, на фоне ночной мути, по светящейся коробке чиркает спичка и закуривается папироса. Огненный дымок кольцами подымается кверху и гаснет. Есть места и улицы, где электрические надписи горят непрерывными шпалерами, без пустых промежутков. Там ночью светлее, чем днем. Теней там вовсе нет—вещи и люди равномерно освещены со всех сторон. В берлинских электрических надписях обычный ламповый пунктир быстро вытесняется буквами из цельных электрических трубок, наполненных как бы жидким апельсиново-матовым или электро-голубым светом.

В Берлине все стремится рекламой напомнить о себе. Кроме разве только одних универмагов... Эти слишком почтенны и самонадеянны. Солидные фирмы их известны не только в Берлине, но и по всему свету. Для них реклама—выброшенные деньги. Вот самый большой из них, патриарх всего племени—Вертхайм. Он стоит огромный, днем—серый и черный—ночью, как целый горный хребет, выирает на площадь

и на две улицы. В росте своем никак не может остановиться—и сейчас еще достраивается в длину, сшибая смежные здания.

Развлечений в Берлине, культурных и некультурных, заведено на все вкусы и на всякого потребителя. Есть Спорт-Палаяст, вмещающий 6 тысяч зрителей. Тут и борются и состязаются и 28 представителей различных европейских и американских наций взялись шесть дней под ряд ездить по трзку на велосипедах. Действия на длительность сейчас модны в Европе. Какой-то чудак в Париже решил не есть 40 дней и 40 ночей. Лег в стеклянный гроб, приставили к нему сторожа и начал он не есть. Десять дней выдержал. На одиннадцатый разбил свой гроб и, загнавши сторожа в угол, побежал стремглав в ближайший ресторан. Немцы по части воздержания от пищи показали более высокую марку. Ихнему «мастеру голодания»—Иолли удалось проголодать 45 дней. Все это время он пролежал в стеклянной будке в ресторане «Крокодил», худел, обрастал волосами и тихо ворочал головой со стороны в сторону. Кругом за стенами будки проходила, шаркая, толпа любопытных. Интересовались, нет ли жульничества и действительно ли Иолли ничего не ест. Побил Берлин по части сурового искусства голодовки более изнеженный Париж. Зато Париж взял реванш по части изящных искусств. Об'явился в нем чудак, который смог протанцовать 80 часов без передышки. Сколько дам закружил до обморока—счета нет. Теперь, говорят, этот удивительнейший рекордсмен тренируется и хочет в Лондоне протащовать залпом 100 часов под ряд.

Количество кинотеатров в Берлине очень велико. Зрительные залы многих из них прекрасно построены, образцово оборудованы и вместительны, как настоящие человеческие элеваторы.

У вокзала Цоо стоит гранитный «Уфа-Палаяст». Самый большой кинематограф в Европе. Он обвел свои контуры апельсинным, синим и белым светом и над входом написал огненными буквами название демонстрируемой картины. По коньку крыши бежит подвижная электрическая надпись. Перед на-

чалом и после конца каждого сеанса у его под'езда в нетерпении набухает огромная толпа, как у ворот большой фабрики.

Насупротив мечтательными темносиними глазами узорчатых окон глядит на площадь «Глория-Палаяст», театр, принадлежащий той же компании «Уфа». Тут же на площади и «Капитоль» сыплет свои переливчатые звезды. У него по обе стороны экрана стоят две хрустально-маговые колонны. Они светятся в антрактах таким неестественным светом, что, раз побывши в этом зале, не скоро его забудешь.

Берлин—город пятиэтажный. Он непохож на наши российские советские центры, которые строятся наподобие пирамид. У нас обязательно к середине города взбиваются высокие многоэтажные здания, чем ближе к окраинам, тем пониже, до вовсе вросших в землю одноэтажных приземистых деревянных хибарок. Деревянные хибарки в германской природе вообще не встречаются. Немцы из дерева домов не строят. Только каменные. И даже в деревнях по большей части двухэтажные. В Берлине, сколько ни приближайся к окраине, дома все продолжают оставаться пятиэтажными. До края, до самого того места, где за последним пятиэтажным домом начинаются пригородные поля и пустыри. Домов с меньшим числом этажей в городе очень мало. Встречаются они преимущественно в старых кварталах. Можно часами идти по берлинским улицам любого района и все считать: пять да пять. Как правило, улицы на окраинах шире. Прямые и неизвестно, где кончаются—иногда тянутся на несколько километров.

Вдали от центра исчезают такси и автомобили, трамвайная сеть становится реже, автобусы проносятся торопливо, как испуганные, отставшие от стада, одиночки. Пешеход чувствует себя затерянным в пустыне асфальта и камня. Шаги его гулко перекаываются по перекресткам. Тут даже детом над обожженной мостовой, между раскаленных домов, веет холодная осенняя грусть. Жители этих районов не любят ходить по своим улицам, а жители иных частей города и вовсе их избегают.

Оживленно здесь бывает только по воскресениям, да во время значительных забастовок, да еще в заверченные волчком дни революционных вспышек. В будни только черные железные перила балконов нависают в неподвижной пустоте прямолинейных уличных перспектив.

В воскресенье здесь погулять не плохо. Можно услышать, как молодой рабочий, сидя у окна, старательно выводит на губной гармонии мелодию «Интернационала». В витрине невзрачной книжной лавочки можно увидеть портреты вождей: Ленина, Зиновьева, Троцкого, книжки Радека и Бухарина. В скудной тени сквера митинг красных фронтовиков под открытым небом и под опекой двух зеленых полицейских фигур. Полицейские мирно прогуливаются вокруг митингующих—не то для соблюдения порядка, не то для того, чтобы самим хоть краем уха слышать волнующие и рискованные в буржуазном Берлине речи ораторов.

Когда печаль и серость повседневщины нарушается каким-либо политическим событием, когда классовая борьба, загнанная в губные гармоники и в витрины лавченок, прорывается на улицу, весело тогда в этих районах. Обрадованно колыхаясь, сплошными колоннами идут рабочие демонстрации. Черные балконы уплывают над ними назад, улыбаясь задору революционных песен. Красные знамена и плакаты об'являют буржуазному строю пролетарские лозунги и в них многократно повторяется имя Советского Союза.

Хорошо поют немецкие рабочие свои революционные песни.

Случается, что проходят и нерабочие демонстрации. Союз Республиканского Знамени, народная партия, националисты. Эти шествуют с трехцветными знаменами под звуки военных флейт, с вооруженным отрядом впереди и с собственными санитарами позади. Да кроме того, на всякий случай, их охраняет еще и полиция. Едет сзади на грузовиках, оборудованных мягкими скамейками, с винтовками за плечами. Где проходит такая демонстрация, там улицы замолкают и глядят насупившись. Ребятишки прекращают свой го-

мен и стоят у панелей, с недоверием оглядывая марширующие ряды. Манифестанты проходят быстрым шагом, торопясь к центру. Каждый из них доволен и вздыхает с облегчением, когда ряды их выходят из жестокой суровости рабочих кварталов и попадают в шумливое оживление буржуазных улиц. Здесь есть кому оценить их знамена и звонкость их шага и военную дисциплину их рядов.

Берлин — большой фабрично-заводский центр. На фабриках и заводах его заняты сотни тысяч рабочих.

Буржуазный запад и торговый центр с трех сторон охвачены производственным рабочим Берлином. От самого Шенеберга, где ползучими деревьями и стриженными кустами цветут овальные и круглые площади, ковываются в небе невысокими трубами пивоваренные заводы и шоколадные фабрики. Нечастыми одиночками, перешагнув через Хаэенхайде, доходят трубы до юго-восточной части Берлина, до Нового Кельна. Это уже чисто рабочий район. Здесь множество небольших и мелких предприятий, особенно по точной механике. Новый Кельн — цитадель коммунизма. Не только для Берлина, но и для всей Германии. Велики уже и сейчас популярность и слава этой красной окраины. Жить в Нойкельне — значит состоять на учете полиции. Работать в Нойкельне — значит быть на особом счету у буржуазии.

К северу от этих знаменательных мест скромное русло реки Шпрее неожиданно вспухает пузырем-разливом, превращается в многоводное широкое водяное пространство. На разливе устроена Восточная Гавань. Она состоит из гранитной набережной, полдюжину десятка вращающихся кранов, длинного ряда аккумуляторных, одинаковых и занумерованных каменных складов, высокого безоконного хлебного элеватора, нескольких мельниц, нескольких фабричных корпусов, к гавани никакого отношения не имеющих, двухэтажного моста с надземной дорогой на втором этаже и из суровой панорамы на север. На севере вблизи, поодаль и совсем вдалеке толпятся фабричные трубы. Пускают серый дым

высоко в небо, или опускают его на спины окружающих домов ветхим прожженным и расплывающимся покрывалом.

На северо-западе производственная стихия берлинских окраин достигает наибольшего своего индустриального напряжения.

Против толстой, снабженной необычным набалдашником, трубы Сименса и Гальске торчат разнокалиберные трубы машиностроительного завода Фройн и красильного предприятия Гебауэр. Оба последних срослись так плотно, что не понять, где один кончается, где начинается другой, и которому из двух принадлежат те трубы, которые высются далеко в глубине двора. Справа зайдешь, кажется, что трубы — гебауэровские, зайдешь слева, ясно видно, что они — фройндовы. Из всех труб замечательны две. Светложелтые, яркие, перехваченные железными обручами. Одна высокая, другая пониже. Обе сильно заострены вверх. На самой вершине становятся совсем тонкими, как корабельные мачты. Никогда не видал неба над фабрикой, проколотого такими острыми гвоздеобразными трубами.

Отсюда близко проходит главная, горячо пульсирующая артерия, становой хребет, основная золотоносная жила района, улица — Старый Моабит.

И весь район — Моабит.

Асфальтовый завод, фабрика амуниции, оружейная фабрика, машиностроительный завод с обширным двором, обнесенным кирпичной стеной. Из-за стены высится сооружение для переноски по двору тяжестей. Издали похоже на радиостанцию и на оборудование угольной шахты. Вернее, не похоже ни на что.

Против ворот машиностроительного завода со странным под'емником начинаются заводы Всеобщей Электрической Компании, занимающие целую улицу.

На углу стоит большой корпус Турбинной фабрики.

Сравнить его ни с чем нельзя. Больше всего похож он на огромную оранжевую в лондонском ботаническом саду Кью-Гарденс. Под стеклянной крышей.

за стеклянными стенами лондонской оранжереи стоят, во весь рост вытянувшись, тропические пальмы. Широколиственные вершины неподвижны во влажной и душной теплоте. С прямого ствола на ствол аксельбантами перекинулись толстые лианы. Очень зелено в оранжерее, очень приторно от слишком большой и чужой красоты. Хорошо, выйдя наружу, смотреть издали, узнавая сквозь зеленую толщу стекла теневые тропические силуэты. Турбинный завод Всеобщей Компании солиднее, больше и выше кью-гарденской оранжереи, но очень похож на нее. Между узкими железными полосами, идущими от самого низа до карниза крыши, чернеет тонкой сеткой едва заметный железный переплет. В переплете волнистые зеленоватые стекла. Крыша вся сплошь стеклянная. В капитальных торцовых стенах прорезано по такому большому сплошному окну, что сама стена кажется только оконной рамой. Так и высится безэтажная стеклянная громада ростом в семь этажей. Зеленоватые стекла обманывают—расплавляются машинные тени за ними, и кажется, будто это силуэты тропических удивительных растений. Вспоминается пряный вонючий воздух оранжереи, напоенная испарениями духота и волнующая привлекательность чужой красоты. Сквозь волнистые стекла не видно внутренности фабрики. Только смутно просвечивают, как на рентгеновском снимке, тeneвые громады сооружений и станков. Равномерный низкий скрежещущий гул слышен далеко по улице.

Странно думать, что паровым турбинам нужно для рождения столько же света и солнца, сколько бедным пальмам, заброшенным в туманную низину лондонского предместья.

Высоко над темной и таинственно спокойной водой канала нависли загибающиеся хоботы железной прозрачно-кружевной эстакады центральной электростанции Моабит. Пока не закончены новые громадные сооружения в Руммельсбурге, Моабит является самой мощной станцией в Берлине с установкой на 72 тысячи киловатт. Над паровыми топками ее возвышаются девять труб, толщины сверхестественной. В

новом здании трубы вделаны прямо в крышу корпуса и торчат над ним наэлектризованные, как будто на облысевшем черепе гиганта последние волоски встали дыбом.

Трубы станции Моабит в упор глядят на высокую четырехугольную башню из темно-фиолетового блестящего кирпича. Башня выросла на хребте большого здания—это управление берлинской Западной Гавани. Все здания, постройки и службы на территории гавани сделаны из такого же кирпича, как и башня над управлением. Это придает всему в целом характер строгой организованности и своеобразной красоты. Грандиозным сооружениям так же к лицу строиться из однородного материала, как к лицу женщине, чтобы платье, чулки, шляпа и даже зонтик были одного цвета.

Западная Гавань лежит на канале, который соединяет Шпрее с Одером и является частью прямого стокилометрового водного пути из Берлина в ближайший морской порт Штеттин.

Центр гавани занимает громадный хлебный элеватор, прищуривший жалюзи своих широких и низких окон. Вокруг элеватора мелкое сравнительно с ним, но многочисленное племя складов. Перед складами пасутся порталные и полупортальные краны числом 20.

Самые разнообразные грузы прибывают на склады Западной Гавани. И южно-тропические фрукты, и зерновые продукты, и строительные материалы, и машины, и автомобили. Неумный и вездесущий Форд заарендовал один из складов и расположил в нем свою автомобильную сборочную мастерскую. В глубоких подвалах под элеватором в золотисто-желтом электрическом свете тяжкими массами от потолков до земли свисают пронзительно зеленые гроздь бананов. В таком виде прибывают они из-под тропиков и выдерживаются здесь, пока не наступит срок продажи, и автомобили. Тогда соответствующее помещение начинает подогреваться. Температура доводится в нем до определенного предела, и нагретый воздух увлажняется посредством особых оросительных колонок. В этой искусственно троп-

пической атмосфере бананы быстро дозревают, и, как только приобретут свой характерный нежно-желтый теплый оттенок, тотчас же их увозят продавать.

Между каналом и проводами электропередачи скользит шоссеная дорога. Убегают от дымной тяжести индустриального Берлина к промышленному чуду, которое называется—Сименсштатт. Фабричный городок Сименса.

Оставляя в стороне от шоссеной дороги солидные многоэтажные фабричные корпуса, вы въезжаете на широкую улицу. Посредине ее бежит трамвай, скрывая рельс в мягкой зелени подстриженного газона. На этой улице, приветливой, чистой и свежей, как улицы буржуазного берлинского запада, дома пятиэтажные, совсем берлинские.

Необычного и фабричного в электрическом этом городе лишь то, что все дома одинаковой архитектуры, и что по улицам бегают электрические платформы, развозя нужное по фабричным складам и мастерским. Весь город представляет собой замкнутое целое. Улицы, дома, и стриженный газон, и фабричные корпуса, и автомобильный завод Протос—все принадлежит электрическому концерну Сименса. Кроме одной только водопроводной станции, стоящей с края и принадлежащей Шарлоттенбургу.

К Сименс-городу примыкает громадный, густой и тенистый парк. На опушке его детская площадка, спортивные площадки. В глубине его покой и лучший отдых, о каком только может мечтать усталый от работы человек.

Если ехать на берлинской подземке на север до самого конца, то приедешь на Зеештрассе. Это широчайшая улица с бульваром посредине. По бульвару не трамвай бежит, не люди ходят, шагает по ней многосаженными шагами на ходулях железных столбов тридцатитысячная электропередача от центральной станции Моабит.

Под передачей раскинулись шумливые рынки и зеленые базары с белесой плотностью капустных листьев, с рыжими кудрями морковки, с неприятным запахом овощной прели, с усталыми

голосами рабочих жен, печально и старательно комбинирующих свой ежедневный скудный набор.

За Зеештрассе, дальше на северо-запад, недалеко уже и до конца города. Мостовая улиц незаметно переходит в твердую и звонкую, как стекло, шоссеную дорогу. Бежит дорога мимо фабрики Флор, изготовляющей под'емники и лифты, к городку Тегель.

Тегель знаменит паровозостроительным заводом Борзига. Существует завод лет около ста. Работает всякую всячину—и установки для добывания растительного масла при посредстве бензина, и аппараты для изготовления маргарина, и цельнотянутые стальные бутылки. Его основная и главная профессия однако—паровозы. Маневренные «жукушки», паровозы без огня для огнеопасных мест, работающие запрессованным в них паром, тяжелые товарные тихоходы и многосильные высокие, почти беструбые, быстроходные паровозы для скорых пассажирских поездов. Их паровые котлы необычайно длинны сравнительно с диаметром, и наружу выпущена масса мелких арматурных трубок, подобранных к парособирателю веерообразным пучком с каждой стороны. Эта машина на глаз дает впечатление необычайной легкости, силы и стремительности. Когда паровоз совсем готов, на него тревожно смотреть в высокой, светло застекленной сборочной мастерской. Кажется, углов своей рамы, висящей где-то выше человеческого роста, расшибет он оконный переплет, раздвинет стену и улетит, гремя и пронзительно отплевываясь паром, куда—неизвестно. Не паровоз—аэроплан!

Войдя во двор завода, видишь сверкающую чистоту и вымощенность, и яркую свежую зелень аккуратненько разбитых и подстриженных, заботливо орошаемых газонов. На газонах, как памятники промышленной истории и технического гению, стоят: первый паровой котел, построенный заводом, и паровая машина № 2. Нагляден контраст между этими железными привидениями прошлого, вмурованными в зелень газона, и другой частью двора. Там, опираясь плечами о противопо-

ложные корпуса, скользят мостовые краны, волоча многотонные тяжести.

Где кончаются заводы, фабрики и муниципальные предприятия, где слепые стены последних городских домов возвышаются, как прибрежные скалы неприветливого материка, там начинаются летние жилища, дачи берлинской рабочей бедноты. Пригородные пустыри разбиты на участки по несколько квадратных сажен каждый. На этих участках рабочие семьи воздвигают шалаша-беседки из всяких отбросов строительного материала, какие только попадутся под руку. Обрезки теса, лоскутья голя, ржавые и дырявые листы кровельного железа—все идет в дело. Находятся искусники и затейщики, старающиеся придать своему шалашу замысловатый вид буржуазной виллы с башенкой, с крыльцом, или, даже, с настоящей оконной рамой, если удастся ее где-нибудь раздобыть. Эти летние жилища похожи на нищенские одеяла, кое-как спитые из ветхих обесцвеченных лохмотьев и небрежно натянутые на грязные и слишком изнуренные тела. Участки при шалашах старательно, но немело и беспорядочно, взрыты. Понаделаны грядки, клумбы, посажены овощи и всякая ползучая зелень для красоты. И каждое «владение» обязательно огорожено. Роль изгороди играет сложная путаница из прутьев, жердей и обрывков проволоки.

Поля, занятые этими дачными рабочими поселениями, тянутся на целые километры и кольцом окружили город почти со всех сторон.

Грустно издали смотреть на эти становища. Жалко испорченных полей, усилий и рвения, затраченных на эту свалку чахлой зелени и строительного мусора.

Самый яркий день на этих взрошенных пустырях—1-ое мая. Красное так жарко горит на совсем еще нежном зеленом фоне. От шалаша к шалашу, от закутка к закутку протянулись гирляды красных флажков. Над каждой дырой, означающей вход во «владение», протянут кусок красной материи. На нем соответствующий лозунг, зависящий от того, кто хозяин—социал-

демократ или коммунист. Над макушками шалашей треплются красные знамена. Чтобы собрать такое количество красных лоскутьев, матерчатых и бумажных, жителям этих дачных полей в течение всего года нужно помнить и заботиться о первомайском празднике. Вечером зажигаются бумажные фонари и лампы. Вся земля на километры вокруг Берлина клубится и светится красной мигающей пеной.

Скверно летом в раскаленном зное западной столицы. Жаркие камни отражают бензиновую вонь 35-ти тысяч автомобилей. Тысячи поездов развешивают на всех вокзалах и над всеми виадуками дымовые султаны паровозных труб. Более четырех миллионов людей дышат и потеют и портят воздух всеми способами, находящимися в распоряжении живого организма. В высокое, голубое, всегда стерилизованное небо природой устроена с земли хорошая тяга. Но и небо не успевает в летний день унести весь смрад, все зловоние.

Природное расположение и старательная трудолюбивая немецкая культура наделили Берлин живописнейшими окрестностями. Озера, леса, искусственно насаженные на месте давно исчезнувших дремучих и девственных чащ. Парки, более зеленые и тенистые, чем леса.

Летом очумевшие поезда, пыщащие жаром и потеющие машинным маслом, дикими толпами мчатся к Ваннзее, Шляхтензее и к прочим прохладительным местам. По воскресеньям половина населения Берлина выбрасывается сюда под кусты и на лужайки, а вечером подбирается и возвращается в город обратно, чтобы с понедельника с утра вновь всем стоять на работе, не замечая зноя, не чувствуя зловония, не зная ничего о зелени прохладительных мест.

В большом, прекрасном парке Тиргартен, тотчас за Бранденбургскими Воротами, из-за первых рядов пышно-разросшихся лип справа наискосок виден купол германского парламента. Под фронтоном парламента большими буквами выведена сомнительная надпись:

«Немецкому Народу», а от кого—не сказано.

Перед парламентом площадь, величиной в пол-Марсова поля. С одной ее стороны стоит медный Бисмарк, с другой—мраморный Мольткэ. Посредине—Колонна Победы. Как называется эта площадь?

— Площадь Революции?

— Площадь Восстания?

— Площадь 9 ноября?

Ничего подобного—Королевская площадь! Германская республика и при социал-демократическом правительстве не считала, а теперь и подавно не считает, возможным посягать на исторические предания славного монархического прошлого. Все, что было императорским, так императорским и осталось. Все, что называлось королевским, именуется королевским и поныне ¹⁾.

Колонна Победы от подножья до самой вершины украшена французскими пушками, взятыми в 1870 году под Седаном. Золотая богиня победы с вершины колонны глядит в перспективу Аллеи Побед. Вместо деревьев, образующих всякую обычную аллею, здесь с обеих сторон двумя густыми и длинными рядами насажены мраморные памятники — императорские предки, королевские отпрыски, князья церкви—целая армия покойных угнетателей и истлевших рабовладельцев. Памятники сделаны очень плохо.

Французская буржуазия видела в успехах Берлина, в быстром росте его досадное напоминание о седанском разгроме. Потеряв лотарингскую руду, эльзасские калильные соли и утопив в крови Коммуну, буржуазный Париж сумел удержать в своих руках мировую гегемонию только в одной лишь области так называемого художественного вкуса. И эту гегемонию он использовал, как надежное оружие в борьбе со своим врагом и соперником. Берлин был объявлен городом без

вкуса и стиля. Приговор имел успех, так как суждения Парижа были обязательны и недискуссионны. Каждый путешественник, посетивший Берлин, принужден был громко говорить о его тяжеловесности, претенциозности, бесстильности. Кто этого не делал, тот сам немедленно об'являлся человеком, лишенным эстетических предпосылок. Даже самая чистота довоенного Берлина, то, что немцы мыли дома свои и мостовые водой и мылом, служило поводом для насмешек и колких острот. Подлость и пошлость берлинской Аллеи Побед много помогла французской буржуазии в деле развития этой отрасли антигерманской пропаганды. Этой Аллее, продукту величайшего империалистического чванства, создали скандальную мировую известность. Превратили ее в символ Германии, а заодно уж и всего германского народа.

Все, что лежит к западу и к югу от Тиргартена, все это Берлин-Вестен. Самая новая часть столицы. Город буржуазии—крупной, средней и мелкой. Вне всякого сомнения, один из самых удивительных городов, какие существуют на свете. Здесь каждая улица стоит того, чтобы поговорить о ней. Такие они широкие, что от тротуара к тротуару можно раскинуть любую московскую площадь. Прямолинейны, как натянутый шнур. И многие из них такой длины, что можно родиться на одном конце ее, прожить долгую жизнь и умереть, не побывав ни разу на другом и не зная, что там стоит и что делается.

Главные улицы в Вестене редко устраиваются, как у нас, на три панели—одна для проезда и две для пешеходов. Обычно их больше: 5, 7 и даже 8. Делают специальные панели для трамвая, для верховой езды. Трамвайную панель засевают зеленым стриженным газоном, дорожку для верховой езды засыпают толстым слоем мягкой непылящей земли, проезды заливают асфальтом на бетонном основании, а тротуары выкладывают узорчатой мозаикой из черных и белых камешков.

Во всем Вестене сплошь каждая улица без из'ятия и без исключения обсажена деревьями. Деревья тянутся в ряд вдоль тротуаров и образуют

¹⁾ Когда статья эта была уже написана, я прочел в газетах, что буржуазное правительство Лютера оказалось более стыдливым, чем все социал-демократические правительства первых лет революции, и на восьмом году республиканского строя все же переименовало, наконец, Королевскую площадь в Площадь Республики.

аллею. Иногда на каждом тротуаре насажено два ряда деревьев, и улица превращена в аллею тройную. Иногда, сверх того, ряды деревьев бегут еще и посредине улицы вдоль верхней дорожки и трамвайного газона. Тут уж и улица—не улица больше, а длинный узкий зеленеющий парк.

Перекрестки во многих местах разделаны в небольшие площади. Тут уже зреет, цветет и зеленеет—без удержу. Деревья тут особых декоративных пород. Тонкие, длинные, гибкие веточки густо свисают, как бахрома испанской шали. Кусты распластаны в ровные стенки и вычурные изгороди.

Главная артерия западного Берлина—улица Курфюрстендамм. Она протянулась от громадной гранитной церкви Кайзер-Вильгельм - Гедехтнисс - Кирхе, бесформенной, как выветрившаяся скала, до самой окружной железной дороги и Луна-Парка. Изрядная ширина этой бесконечной в длину улицы разделена на пять панелей четырьмя рядами густолиственных деревьев и двумя рядами цветников и палисадников у фасадов домов. Вся улица, как нарядный сад для буржуазных увеселений и гуляний. Тут можно все найти, что богатая буржуазия должна иметь под рукой для постоянного своего обихода. Магазины мод, спортивные магазины, цветы, автомобили, кондитерские лучшие в Берлине и лучшие в Европе, рестораны, в которых обедают, другие рестораны, в которых завтракают, и еще третьи рестораны, в которых пьют пятичасовой чай. Днем по Курфюрстендамм женщины ходят с собачками, вечером без собачек. По вечерам на Курфюрстендамм каждый день иллюминация. От под'ездов варьетэ, театров, кинозал, от витрин, в которых ослепительное освещение оставлено гореть на всю ночь, нижние ветви деревьев становятся яркими, плотными и блестящими, словно их покрыли зеленым вагонным лаком.

Рассеянные тени ползут по панелям и забираются до верхних этажей домов. Трамваи и автобусы на свету расцветают бледно-желтыми тюльпанами, а в

тени деревьев проскальзывают черными силуэтами.

От проституток, сутенеров и шиберов даже у буржуазии дыхание спирает.

Чем дальше по Курфюрстендамм, тем реже становятся ночные кабарэ, и тем меньше света на улицах. Наконец, остаются одни лишь электрические фонари, как бесменная ночная гвардия, уходящая с постов только в дни всеобщих забастовок. Отсюда начинается Халензее, а еще подальше Груневальд. Тут и ночью и днем тишина и красота. Тут только особняки и виллы. Тут можно на наглядных примерах убедиться, что улицы вовсе не являются обязательной принадлежностью города. Встречаются здесь места, где вовсе нет никаких улиц, но это и не площади, не перекрестки и не сады, не парки. Вообще под обычную классификацию городской топографии не подходят. Широкие пространства между домов разделаны в замысловатые узоры из клумб, деревьев, стриженных газонов, пешеходных тропинок, просторных проездов, садилов, палисадников, цветников. Похоже очень на полированную поверхность старинных столов, отделанных богатой бронзовой, перламутровой и иной цветной инкрустацией.

Главная достопримечательность этих мест—цветочный запах. Можно додышаться до головокружения. С ранней весны и до осени воздух крепнет и свежееет здесь сильным пьяным запахом. Запахи сменяются по сезонам. В иные недели улицы истомлены медвяной сладостью. Не то левкой, не то резеда. Случается, веет запах свежий и бодрящий. От него шаг пешеходов становится шире и свободней и, придя домой, хочется сделать что-нибудь существенное. Когда цветут табак и туберозы, воздух по-осеннему грустен и горьковат. Думается о странах, в которых никогда не был, и о друзьях, которых никогда не имел.

Как трудолюбивы должны быть немецкие рабочие, как производитель должен быть их труд, чтобы могли они для своей буржуазии построить такой удивительный город.

Книжное обозрение

1. К. ШИЛЬДКРЕТ. „Скованные годы“ В. Гольцева.—2. П. ИВАНОВ. „Сухая гильотина“ Г. Якубовского.—3. П. НИЗОВОЙ. „Крыло птицы“ А. Шафир.—4. а) Л. ГУМИЛЕВСКИЙ. „Харита“; б) ЕГО ЖЕ. „Черный яр“ А. Р. Палея.—5. А. ЖИД. „Фальшивомонетки“ Б. Анибала.—6. Б. САВИНКОВ. „Воспоминания террориста“ С. Басова-Верхоянцева.—7. „ЦЕНТРОСИБИРЦЫ“ Г. Рыклина.

К. Шильдкрет.—«Скованные годы». Роман. Изд. Московского Т-ва Писателей. Отпеч. в Туле. Год не обозн. Стр. 224. Ц. 1 р. 40 к.

В литературе наших дней можно отметить немало случаев, когда термин роман» употребляется автором недостаточно точно. «Скованные годы» К. Шильдкрета представляют собою не роман, а скорее—большую повесть, посвященную эпохе русской реакции девятисотых годов. В этой книге читатель не найдет развитой романической интриги, развернутого изображения «страстей» и прочих аксессуаров, обычно применяемых в романе.

Перед нами сначала проходит суровое и безрадостное детство Адика Краева. Ребенок испытывает нужду, наблюдает ссоры батрачки-матери с безвольным и слабым отцом, лишившимся заработка за участие в рабочем движении. Вскоре Адик идет в услужение к купцу Благину и познает жизнь путем жестоких побоев и всевозможных издевательств. Не выдержав, мальчик убегает и становится подпаском в глухой деревушке, в которую он случайно забрел. Рано пробуждается в нем ненависть к существующему порядку, к угнетателям народа, к различным представителям власти и «закона».

Настоящая, сознательная жизнь наступает для Адика тогда, когда ему удается поступить на завод: он превращается в «товарища Андрея», становится участником революционного движения. С открытыми глазами переживает Андрей неудавшуюся забастовку и, накапливая злобу, видит, как

разгуливают казачьи нагайки по спинам рабочих.

Во время расстрела рабочей демонстрации гибнет его старый отец, Николай Краев. Самого Андрея арестовывают, и он испытывает всю мучительную скованность тюремного заключения. После длительных скитаний по этапам, его отпускают в Сибири под гласный надзор полиции. Однако молодой Краев снова принимается за нелегальную работу и снова подвергается аресту. За убийство смотрителя—и Андрея, и его товарища по революционной работе, Веру, приговаривают к повешению. Старая, одинокая мать умирает еще раньше. А Катя Краева, отдавшаяся губернаторскому чиновнику в надежде добиться облегчения участи брата, отправляется на поселение в Сибирь.

Таково основное содержание рецензируемой книги. Следует отметить, что детство Андрея и процесс развития его личности обрисованы К. Шильдкретом широкими и уверенными мазками. Там же, где автор стремится развернуть широкую картину «скованных» лет русской социально-политической жизни, он не всегда оказывается на должной высоте. В конце книги многие события скомканы и нагромождены одно на другое. Образы людей нередко возникают и, промелькнув, исчезают, не оставив у читателя отчетливого впечатления. Пример неразвитого и малопонятного эпизода (убийство филера) можно найти на стр. 182—183.

Но в целом книга написана довольно умело и живо. *Виктор Гольцев.*

Петр Иванов. — «Сухая гильотина». Роман. Изд. «Земля и Фабрика». 1927. 286 стр. Ц. 2 р. 25 к.

Автор повести «От станка к баррикаде», Петр Анисимович Иванов, в своем новом романе революционных приключений сделал значительный шаг вперед по пути овладения литературной формой. В живых содержательных диалогах развивается действие «Сухой гильотины». Но богатейший материал наблюдений (тюрьма и ссылка в эпоху реакции после 1905 г.), который находится в распоряжении автора, старого профессионального революционера, — иногда не подчиняется художественной обработке. Огромная идейная сущность и насыщенность бытового материала повести спорит с художественной формой. Роман относится к той переходной форме на путях к новому реализму, которую нащупывали Дм. Фурманов, Лариса Рейснер и др.

«Сухой гильотиной» названа царская ссылка. Ссылка являлась экзаменом на революционную стойкость. Литературный показ этого экзамена, точная формулировка социальной и политической сущности царской ссылки — в этом заслуга автора «Сухой гильотины». Перед читателем проходят типы разлагающихся и разложившихся революционеров, колеблющихся, случайно попавших в ссылку обывателей, развинченных эсеров и стойких активистов большевистской складки (Веселовский, Вера, латыши). Склока и развал организации ссыльных, пьянство, уголовщина показаны отчетливо в ряде бытовых сцен. Только немногие революционеры с крепкой закалкой умели работать, «теряясь в массе окружающих бездельников». Автор сумел вскрыть и обрисовать различные слои, составлявшие колонии ссыльных. Трудовая установка и волевая закалка подлинных революционеров показаны без прикрашивания и нарочитости. В книге зарисован также, в ее первой части, путь к ссылке, шедший через тюрьмы и этапы, здесь даны также интересные моменты внутритюремной борьбы, как рытье подкопа, суд над провокатором и убийство последнего, побеги и др... Выразительны сцены

тюремного быта, живописны уголовные фигуры, особенно тюремного «аристократа», с его своеобразным делением арестантов на низших и высших. Среди разнообразного социально-бытового материала следует отметить картину террора черной сотни в Одессе, сцену с румынским эсдеком, убийственную характеристику театра румынских крепостников, наброски рабочего и матросского быта. Неровный стиль изложения местами достигает высоты острой изобразительности, приобретает силу широкого, убедительного мазка.

Увлечательность повествования не оставляет сомнения, что книга найдет своего читателя и дойдет до него. Для учащейся молодежи и комсомольцев «Сухая гильотина» представляет особый интерес, книга прекрасно иллюстрирует историю революции, ее важный период, эпоху испытаний революционной стойкости.

Г. Якубовский.

П. Низовой. — «Крыло птицы». Повести и рассказы. Моск. Т-во Писателей. 1926 г. 255 стр. Ц. 1 р. 50 к.

Рассказы П. Низовой можно разбить на 4 группы: бытовые деревенские, партизанские сибирские, дорожные эскизы и психологические этюды.

В деревенских рассказах преобладает объективизм, сдержанность, четкость. Автор обнаруживает тонкую наблюдательность. Хорош бессюжетный рассказ «В луговых просторах», удачна «Новь». Здесь — живая деревня, деревенский сход, деревенская улица с разговорами и пляской у ворот. Новь тяжело пробивается. Солдатки гонят самогон. Егор Трохин, тип деревенского кулака — родной брат тургеневского Хоря, не хочет отказаться от своей «домостроевской» власти, но жизнь разрушает под ним почву. Старый быт и старая семья разваливаются. Появляется новый тип крестьянина. Отпускной красноармеец Василий — доморощенный новатор и самоучка — вводит технические усовершенствования у себя на мельнице.

Хорош и деревенский пейзаж, проникнутый мягким грустным лиризмом. Но главное в деревенских рассказах —

люди. Очерченные немногими верными штрихами художника, они наполняют рассказы движением и жизнью.

В партизанских рассказах человек, наоборот, на втором плане. Затерянный в снегах Забайкалья, он лишь случайный гость, маленькая фигура на фоне стихийно-могучей природы. Природа Забайкалья своей необычайностью и суровой силой пленит и побеждает автора, который, стараясь передать всю ее красоту и величие, расплескивает образы и слова... Эти рассказы («Крыло птицы», «В горных ущельях», «Золотое озеро») носят черты автобиографичности и характеризуют целый период в творчестве Низового. Лучший и наиболее сильный из них — «Крыло птицы».

Дорожные зарисовки из жизни крестьян-переселенцев («На промыслах», «В чужой земле») сделаны живо и художественно.

Психологические этюды о дьяконе, испытывающем «весеннее томление», и о мечтателе-скрипаче — изящные безделушки, совершенно невяжущиеся с характером всей книжки.

Рассказ «Тени» сласав в одних местах, истеричен и несколько мистичен в других.

К психологическим вещам может быть отнесен и рассказ о бывшей графине — «Маргарите с Плющихи» и «Охотничье сердце». Первый построен на контрастах настоящего с прошлым и, несмотря на проскальзывающую тенденцию, не лишен жизненной правдивости. Второй — раскрывает психологию крестьянина-охотника. Действие происходит в деревне Северного края. Рассказ тщательно обработан.

Книжка, несмотря на художественные достоинства, не оставляет цельного впечатления.

Анна Шафир.

Лев Гумилевский. — «Харита». Роман. «Молодая Гвардия». 1926. Стр. 232. Ц. 1 р. 20 к., в переплете 1 р. 35 к. **Его же.** — «Черный яр». Роман. «Мол. Гвардия». 1926. Стр. 192. Ц. 1 р. 50 к.

Наша литература для юношества, по сравнению со все усиливающимся на нее спросом, количественно бедна. Качественно она еще беднее. Плодовитый

Лев Гумилевский вряд ли способствует улучшению качества этой литературы. Его романы внешне занимательны и местами даже увлекательны, но их построение вызывает ряд резких возражений, тем более настойчивых, чем осторожнее мы должны относиться к той юной, доверчивой и впечатлительной аудитории, для которой они предназначены. Самое неприятное в романах Гумилевского — необычайное нагромождение почти чудесных совпадений. В романе «Харита» (таким экзотическим именем зовут главную героиню романа, деревенскую девочку с Приволжья) девочка, по ошибке родственницы одного эпмана, ищущего потерянную дочь, попадает в Москву к этому эпману, у которого останавливаются белогвардейцы и заговорщики. Заговорщики этих ищет ГПУ при помощи брата Хариты, Алешки. Старуха-нищенка, нашедшая Хариту, оказывается бабушкой белогвардейцев, сами белогвардейцы — земляками Хариты и Алешки, из одного с ними села. Алешка покупает молоко у незнакомых крестьян, один из которых оказывается его односельчанином, давно пропавшим и ныне работающим в каком-то совхозе вместе с родным отцом Алешки, тоже давно исчезнувшим. В романе «Черный Яр» отец и сын таким же образом находят друг друга, при чем оба «воскресают» — отец один раз, а сын даже дважды. И хотя Гумилевский, разумеется, передовой автор, и даже в своих романах неоднократно разоблачает религию и суеверия, — однако его книжки являются не менее вредными, чем старые волшебные сказки: они дают неверное представление о жизни и способны пробудить нездоровую мечтательность. В жизни случай (т. е. то, чего пока нельзя предвидеть) играет определенную роль, и, гипертрофируя эту роль до крайности, делая случай главной пружиной событий, автор тем самым извращает представление о подлинной живой жизни. Он далек от умения сделать ее интересной по тому материалу, который она дает в действительности — умения, которым так хорошо владел, например, Майн-Рид. Есть, конечно, еще выход, чтобы создать увлекательный юношеский ро-

ман или повесть—научная фантастика. Гумилевский, чтобы добиться увлекательности, идет по линии наименьшего сопротивления: он крайне искусственно комбинирует факты из окружающей жизни, насильственно притягивая их к схеме своего замысловатого сюжета. Отсюда все эти нелепые совпадения, наталкивающие на мысль о незначительной роли человеческой воли и о колоссальном значении случайности. Романы Гумилевского легко могут заронить в юные души семена фатализма. Это главный грех Гумилевского, а есть и другие: не всё, например, продумано как следует, так, в романе «Черный Яр» крестьянин Шукин («воскресший»), неизвестно почему, оказывается страшно культурным человеком и говорит таким книжным языком, какой и в городе редко услышишь. Вот, напр., отрывок из его тирады: «И зачем бы я, предав вас суду, отнял у этой глухой, темной деревни единственного культурного работника? Вы здесь нужны, и вы останетесь здесь. Годы войны ушли. Ошибки поняты. Много можно простить тому, кто понял, что ошибался и т. д.

А, между тем, Гумилевский, очевидно, мог бы писать лучше. У него хороший, четкий язык. Он неплохой живописец человеческих фигур.

А. Р. Палей.

Андре Жид. — «Фальшивомонетчик». Роман. Перевод и предисловие А. А. Франковского. Изд. «Академия». Л. 1926. Стр. 625. Ц. 2 р. 50 к.

В однообразном и мутном потоке переводной литературы, уносящей в своих водоворотах бедного российского читателя, роман Андре Жида является тем спасительным кругом, ухватившись за который можно выбраться на берег настоящей литературы.

Толстый том «Фальшивомонетчиков» еще раз подчеркивает устойчивость традиционной формы романа, в частности—психологического, в котором наряду с повествованием, ведущимся от лица автора, широко используются пояснительные авторские отступления, дневник героя и переписка отдельных персонажей.

Мало, или совершенно не занимаясь описаниями пейзажей, физиономий и одежд своих героев, что так любят романисты, Жид сосредоточивает свое внимание на психологии известного круга лиц, вовлекаемых в сферу сюжета лишь по мере необходимости.

Благовоспитанное и благопристойное французское буржуазное общество, прикрывающее свою фальшь и порок дырявым фиговым листком приличий, распад семьи, одинаково успешно разлагаемой отцами и детьми, ничтожество литературной среды и ловких дельцов от литературы, мертвенность школьного пансиона—все это развернуто автором на большой картине психологии нравов и быта современной Франции.

Соединяющий все нити повествования, романист Эдуард, который предпочитает женщине своего племянника, литературный спекулянт граф Пассаван, имеющие своих «цыпок» и занимающиеся сбытом фальшивых монет юные подростки из хороших семей, чьи веселые развлечения кончаются убийством товарища по пансиону—вот герои этой книги, по которым можно судить о буржуазной Франции наших дней.

Написанный в очень ровной и спокойной манере, роман Андре Жида своеобразно варьирует тему о фальшивомонетчиках: герой его—Эдуард работает над книгой, которую предполагает назвать «Фальшивомонетчики», распространением фальшивых монет занимаются изображаемые Жидом подростки, эпиграфом из Шекспира он начинает VI главу о незаконнорожденном,—зачатом «монетчиком фальшивым», кроме того, фальшь сквозит и в отношениях персонажей к самим себе и друг к другу. Вот, вероятно, почему сюжетом своей книги Эдуард назвал борьбу романиста «между тем, что приносит ему действительность, и тем, что он мечтает сделать из этой действительности» (стр. 300).

В своем повествовании Андре Жид попутно делает много весьма интересных и справедливых замечаний по существу работы художника и структуры романа.

К недостаткам «Фальшивомонетчиков» следует отнести то, что не один, а несколько их персонажей поставлены

на первый план, благодаря чему в известной мере разрушается перспектива, и книга лишается необходимой глубины, кроме того, второй половине ее недостает той занимательности, с которой прочитывается первая.

Но в целом роман безусловно интересен и тем более для нас, русских, что творчество автора отмечено влиянием Достоевского, отразившимся как на общем строении романа, так и на отдельных его образах.

И у нас в СССР, среди переводной литературы, такие книги встречаются не часто.

Перевод «Фальшивомонетчиков» сделан А. А. Франковским не плохо, издана книга со вкусом. Довольно удачен рисунок худ. Акимова на обложке, хуже — в тексте.

Борис Анибал.

Джон Харгрэв. — «Редактор Харботл». Роман. Перевод с английского А. В. Кривцовой. Редакция Евгения Ланна. ГИЗ. 1926. Стр. 332. Ц. 1 р. 80 к.

Роман Харгрэва интересен по двум причинам: во-первых, как произведение, написанное под явным, художественным и философским, влиянием Толстого, во-вторых, как документ об интеллектуальных исканиях мелкого буржуа послевоенной Англии.

Если Толстой сохранял художественное равновесие, синтетически сочетав философский момент с единым и сложным развитием сюжета, то Харгрэв это равновесие нарушил, тенденциозно перегнув палку в сторону философскую. Слабо развитый сюжет, развернутый по примитивному хронологическому принципу, совершенно теряется под массой философских отступлений, типичных толстовских «внутренних монологов», диалогов и рассуждений, составляющих главную сущность романа.

В краткой первой части («Бремя») дан конфликт, нарушивший обычный ход жизни героя. Быстро следующими друг за другом событиями (гибель на войне двух сыновей редактора, призыв в армию самого Харботла, уход жены) создается катастрофическая ситуация, дающая мотивировку и толчок даль-

нейшему ходу событий или, вернее, чередованию мыслей в романе.

«Путь» — название второй части романа, где Харботл, сбитый с толку постигшими его ударами, оставляет свой осиротевший дом и, обремененный сумкой и «грехом инерции» (в котором он обвинял себя и все человечество, не сумевшее предотвратить войну), отправляется искать «панацею от всех бед», некую истину, долженствующую об'яснить и обновить мир.

Эпизод этой части романа: встреча героя с различными людьми, повествование этим людям о постигшем его и всех несчастьи, высказывание собеседником своего мнения по этому вопросу и пр. — поражают своей трафаретностью. Вариации незначительны.

Харгрэв заставляет своего героя пройти сквозь строй людей самых разнообразнейших характеров и воззрений. Человек, боящийся мыслить, человек, не умеющий мыслить, циник, сектантка-ханжа, ученые (биолог и этнограф), эпикурейка, спирт, вегетарианец, самоновейшая пантеистка и, наконец, мистики, масоны и кабаллисты, — все они проходят мимо Харботла во время его паломничества. Постоянный скепсис («Все это прекрасно, но не очень-то я в этом уверен») не позволяет редактору остановиться долго на каком-нибудь из этих учений, что доводит его до отчаяния. «Я не знаю. Вот мое бремя греха. В этом я убежден. Вполне убежден в своей неуверенности». Он доходит до бредового состояния. «Я емь я. Я — бог... «Бог спотыкается в процессе становления». Наконец, он находит искомую истину, которая достоверна так же, как точен случайно найденный им географический атлас (идеал достоверности). Это «идея всемирного патриотизма», долженствующая спасти запутавшееся в условиях современной цивилизации человечество, стирающая границы между государствами, основанная на коренной перестройке жизни. Путь к выполнению этой идеи лежит через распространение истинного рационалистического знания, правильного и трезвого мышления и воспитания в духе «всемирного патриотизма». Знаменателей

бред-апофеоз, данный в последних главах романа, где Харботл видит устремленных к одной цели,—равенству людей и истине,—«пастырей человечества»: Коперника и Галилея, Спинозу и Дарвина, Лао-Тзе, Будду и Христа. В бреду он видит и будущее: обновленную землю, где нет границ, современных городов и железных дорог (одноколейка, прорезающая всю Европу и Сибирь, почему-то оставлена в неприкосновенности), где в лоне девственных лесов, в школах «всемирного патриотизма» учат детей любить друг друга, как когда-то учили кадетов воевать.

Хорошо, что человек смертен, что Харгрэв заставил своего героя умереть до проведения своей идеи в жизнь. Более тактично он не мог поступить. Ибо в противном случае мы имели бы еще одну вариацию мелкобуржуазной утопии. И так уже поиски Харгрэва-Харботла замечательны по своему характеру и направлению. На пути к истине он проходит сквозь всевозможные учения, тщательно избегая лишь учений социальных, а научного социализма и подавно. Сам он говорит, что он «почти социалист», но этим дело и ограничивается. Естественно поэтому, что, ища *причину* противоречий современного буржуазно-капиталистического общества, он находит ее в неправильном мышлении. Харботл лишь замкнул порочный круг, в середине которого написаны произнесенные им слова: «Все мы прокляты. Ничего нет. Заблудились...».

Единственное достоинство Харгрэва в том, что он, во-первых, хороший психолог, во-вторых, правдив в своих описаниях и, в-третьих, искренен в своих устремлениях. Поэтому можно только приветствовать перевод его романа, этого живого и правдивого документа о поисках отчаявшегося мелкого буржуа современной Англии.

В общем неплохой перевод иногда грешит против чистоты русского языка. Не по-русски звучит, например, такая фраза: «Мэри Женриетта Дженкинс обручается Альфреду Хуберту Ходжу» (стр. 117). До сих пор обручались с кем-нибудь, а не кому-нибудь.

В. Голубеншефер.

Б. Савинков. — «Воспоминания террориста». Изд. «Пролетарий». Харьков (1926). Стр. 373. Ц. 2 р. 25 к.

«Воспоминания террориста» — это выпущенные отдельным изданием записки Савинкова, печатавшиеся в 1917 и 18 г. в журнале «Былое». Охватывают они ряд лет, когда партия с.-р., оставаясь по существу мелкобуржуазной, все же в борьбе с царизмом стояла на революционной платформе.

Однако не ищите в «Воспоминаниях» широкого освещения деятельности партии. Здесь речь идет только об очень ограниченном круге лиц, с которыми автору приходилось соприкасаться по делам боевой организации с.-р. А больше всего — это повесть Савинкова о себе самом. Здесь бросаются в глаза те основные задатки в его натуре (прежде всего отсутствие твердых внутренних устоев), которые свели громкого когда-то террориста на степень средневекового кондотьера, перебегающего то на ту, то на другую сторону. Когда-то социал-демократ, в 1905 г. Савинков работает в терроре с эсерами, при чем сам сознается: «плохо верил в революционный под'ем рабочих масс». После разоблачения Азефа отрекается от революции и отдается упадочным настроениям, пишет «Коня бледного», книгу, насыщенную обывательщиной и мистикой. При громах Октябрьской революции Савинков опять оживает, но только затем, чтобы стать в ряды ее врагов. Поздно пришло к нему раскаяние. Да и надолго ли? Не знаем. Смерть пресекала его путь.

Человек бесспорно отважный, но еще более ослепленный собственными достоинствами, Савинков и не чувствует, что все время за ним стоит кто-то другой и направляет его действия: Азеф, упадочники, Колчак, Врангель...

«Воспоминания» помечены 909 г. Значит, составлялись они как раз в период упадочных настроений автора, что сильно отразилось на даваемых им характеристиках: он всемерно старается наделить своих товарищей мистическими чертами. О Каляеве говорит: «К террору он пришел своим особенным, оригинальным путем и видел в нем не только наилучшую форму

политической борьбы, но и моральную, быть может, религиозную жертву. Бенефская в освещении Савинкова—верующая христианка, ради спасения души признавшая террор.

А вот о Сазонове. Был с ним у Савинкова разговор перед покушением на Плеве.

— Скажите, — спрашивает Савинков, — как вы думаете, что мы будем чувствовать после... после убийства?

— Гордость и радость.

— Только?

— Конечно, только.

Разумеется, так и должен был ответить «революционер старого, народо-вольческого, крепкого закала». Но Савинкову не по себе. Он с радостью сообщает: «Сазонов впоследствии мне писал с каторги:—Сознание греха никак не покидало меня».

Но всего возмутительнее о Доре Бриллиант. В Кремле только что грохнула бомба Каляева, разорвав на части в. к. Сергея. Узнав об этом, Дора разрыдалась (снаряд был изготовлен ею). «Я старался ее успокоить, но она плакала все громче и повторяла:

— Это мы его убили... Я убила его... Я...

— Кого?—переспросил я, думая, что она говорит о Каляеве.

— Великого князя.

Конечно, все это отвратительный, ханжеский вздор, навеянный на Савинкова Мережковским и К^о.

Довольно характеристик. С большими поправками приходится принимать и факты, приводимые в «Воспоминаниях». Так, известно, что Трепов был назначен генерал-губернатором Питера только после 9 января 1905 г. (спустя дня три). Тогда лишь и возник перед питерским отделом б. э. (группа Швейцера) вопрос о постановке на него покушения. Перед тем же она приготовилась к нападению на Муравьева, министра юстиции. Не убила его только потому, что Муравьев в это время вышел в отставку (получил назначение итальянским послом).

У Савинкова все наоборот: боевики, следя за Треповым, случайно наткнулись на Муравьева и пр. Ни слова не говорится о намеченном питерской б. о.

плане покушения на царя в Царском Селе. А ведь вряд ли Савинков не узнал об этом впоследствии от Швейцера. Замалчивание одних фактов и неумеренное развертывание других в желательном автору направлении—тоже характерная черта «Воспоминаний».

Не буду останавливаться на мелочах—в какой последовательности и на кого шли «боевики». Но вот уж очень значительный факт: Савинков ни словом не обмолвился о той растерянности, какая охватила верхушки с.-р. перед лицом московского восстания. Ни звука о том, что по вине «Боевого комитета» (т.-е. Азефа и самого Савинкова) семеновцы беспрепятственно проследовали в Москву на усмирение. В совершенно извращенном виде передается запоздалая попытка взорвать Николаевский мост (нынешней Октябрьской ж. д.) и т. д.

«Воспоминания» снабжены прекрасным предисловием Феликса Кона. Конечно, прав тов. Кон: савинковщина характерна для с.-р., и напрасно они отреклись от отца ее. Но бесспорно и то, что рядом с Савинковым встречались в то время в партии с.-р. и подлинные революционеры—Натансон, Брагинский и др. (не говоря уж о Каляеве, Сазонове). Временно они могли заблуждаться. Но в слушный час для рабочего класса они не отшатнулись от него и примкнули к коммунистическому движению. С. Басов-Верхолянец.

«Центросибирцы». Сборник под редакцией В. Д. Вилевского-Сибирякова Н. Ф. Чужака-Насимовича и П. Ф. Щелока. «Московский Рабочий». 1927 г. Стр. 158. Ц. 1 р. 60 к.

Центросибирь—это Центральный Исполнительный Комитет советов Сибири. Центросибирь возглавляла советы Октябрьских дней в Сибири, а равно всего периода, который предшествовал союзнической интервенции.

Героические страницы борьбы за советы в Сибири в 1917—1918 г.г. тесно связаны с именами довольно значительной группы погибших товарищей, которые известны сибирским рабочим и крестьянам под кличкой «центросибирцев».

Памяти сибирских борцов, памяти погибших в борьбе за советы т.т. Н. Н. Яковлева, Федора Лыткина, Н. А. Гаврилова, Сергея Мазо, Бориса Славина, Якова Бограда, Адольфа Перенсона, Ады Лебедевой, Вейнбаума и др. посвящена эта книга.

Вступительная статья т. Виленского-Сибирякова подробно останавливается на истории борьбы за советы в Сибири в 1917—1918 г.г. На первом общесибирском съезде советов, где над эсерами и меньшевиками одерживает победу большевистское ядро, организуется Центросибирь. Начинается укрепление советов и захват ими власти во всей Сибири. Эсеры Гоц и Руднев поднимают в Иркутске юнкеров для борьбы с советами. Юнкерское восстание длилось восемь дней и было ликвидировано рабочими и солдатами. На 2-м съезде советов Сибири принимается своего рода конституция Сибири и избирается Совнарком, в составе которого

имелся даже народный комиссар по иностранным делам. Последним посланы ноты представителям правительства С.-А. Соединенных Штатов, Англии, Японии, Франции, Италии и Китая. Но вскоре от нот пришлось перейти к оружию, к жестокой борьбе в городах и тайге.

О павших в этой борьбе вспоминают в своих статьях т.т. Е. Ярославский, Виленский - Сибиряков, Чужак-Насимович, Я. Шумяцкий, М. Рютин, М. Парнякова, В. Бик, А. Гендлин, В. Деготь и др.

В сборнике—много ярких эпизодов из героической борьбы центросибирцев.

Весь сборник читается с неослабным интересом.

В нашу литературу о гражданской войне, о первых годах революции, о борьбе за советы—книга «Центросибирцы» является ценным вкладом.

Г. Рыжлин.

В ТРЕТЬЕЙ (МАРТОВСКОЙ) КНИЖЕ ЖУРНАЛА БУДУТ НАПЕЧАТАНЫ:

Ал. ТОЛСТОЙ. Древний путь (рассказ). **Федор ГЛАДКОВ.** Старая секретная (повесть, окончание). **Бор. ПИЛЬНЯК.** Очередные рассказы (I. Олений город Нара. II. Поокский рассказ). **Бор. ПАСТЕРНАК.** Лейтенант Шмидт (поэма). **Софья ФЕДОРЧЕНКО.** Народ на войне. **Вяч. ШИШКОВ.** Пурга (повесть, окончание).

СТИХИ: Ал. Жарова, Ник. Тихонова, И. Садофьева, С. Кирсанова, И. Приблудного, Е. Эркина, Э. Багрицкого и др.

СТАТЬИ: П. Романова, К. Федина, С. Городецкого, И. Оксенова, Вяч. Полонского, Карла Радека, Г. Лелевича, Г. Якубовского, П. Преображенского и др.

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ.